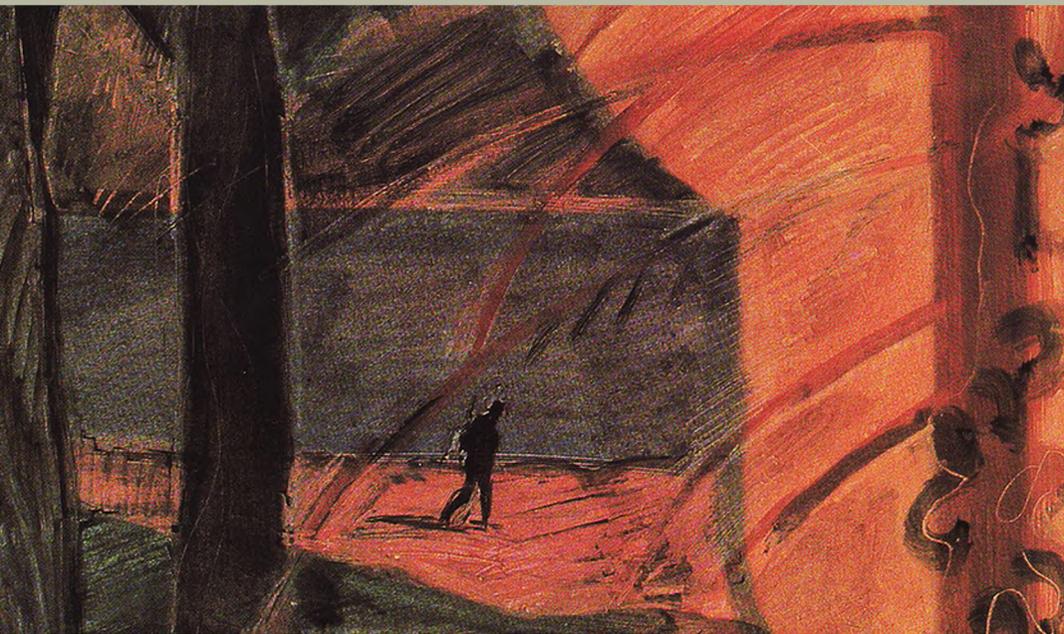


Борис Василевский



ВЕСНА НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ  
ДЕТСТВО В ДЕРЕВНЕ  
ОТРОЧЕСТВО В ГОРОДЕ

---

Борис Василевский



Борис Василевский

ВЕСНА НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

ДЕТСТВО В ДЕРЕВНЕ

ОТРОЧЕСТВО В ГОРОДЕ

---

ПОВЕСТИ

Москва  
Книжница  
2014



Борис Василевский

ВЕСНА НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ  
ДЕТСТВО В ДЕРЕВНЕ  
ОТРОЧЕСТВО В ГОРОДЕ

*Повести*

Оформление *Ольги и Егора Калашниковых*  
Макет *Татьяны Белкиной и Людмилы Фирсовой*

Издательство выражает благодарность семье Бруни  
за любезное разрешение использовать в оформлении обложки  
картину Ивана Бруни «Пейзаж» (1968)

**Василевский, Б.А.**

В-192      Весна на железной дороге. Детство в деревне. Отрочество в городе : повести / Борис Василевский ; [оформл. О. и Е. Калашниковых]. — М. : Книжница, 2014. — 304 с. : ил.

ISBN 978-5-903081-34-9

Борис Василевский (р. 1939; член Союза писателей с 1975) после окончания филфака МГУ работал учителем в пос. Уэлен на Чукотке. Книга объединяет под одной обложкой повести, написанные в начале 1970-х – конце 1980-х годов и образовавшие своего рода трилогию. В советские годы тексты печатались с купюрами и до сих пор были рассеяны по периодическим и книжным изданиям разных лет.

Проводящего лето в деревне городского мальчика и молодого «романтического героя», уехавшего в Сибирь «узнавать *совсем иную* жизнь», интересуют не пионерские дружины и соцсоревнования, а вечные вопросы о смысле человеческого существования, о жизни и смерти. На глухой железнодорожной станции он видит не «великую стройку коммунизма», а однообразный убогий быт, пьянство и драки соседей по общежитию, среди которых вдруг возникает интересный ему человек — бывший зек, отсидевший за убийство...

УДК 82-31  
ББК 84(2Рос)6

© Василевский Б.А., 2014  
© Бруни И.Л. (наследники), 2014  
© Калашников Е.В., оформление, 2014  
© Калашникова О.В., оформление, 2014

---

# ВЕСНА НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

## 1

Чуна — это железнодорожная станция на полпути между Тайшетом и Братском. Имелся на этой станции — в 57-м году Андрей еще застал его — маленький деревянный вокзальчик с двумя-тремя служебными комнатками, окошечком кассы и залом ожидания, всегда пустым. К вокзалу примыкала небольшая площадь, называемая базарной, потому что стоял на ней длинный стол, на котором местные хозяйки к приходу пассажирского раскладывали соленые огурцы, яйца, вареную картошку в кульках, молоко и домашние пироги. Таким образом площадь оживлялась два раза в сутки — с дневным поездом, следующим до Красноярска, и ночным, идущим в Усть-Кут. Два раза в неделю проходил скорый Москва–Лена. В остальное время, и днем и ночью, через станцию, оглашая долгими гудками окрестные сопки, шли товарняки. На платформах лежали сосновые и лиственничные бревна, огромные части каких-то разобранных до неузнаваемости машин, стояли бульдозеры, речные катера и, словно дрессированные цирковые звери, громоздились друг на друга самосвалы.

Тайшет соединялся с Усть-Кутом всего лишь одной колеей, и поэтому товарняки подолгу простаивали на запасных станционных путях, пропуская встречный поезд или просто дожидаясь своей очереди. Долго, почти час, стояли и пассажирские. Дневной прибывал как раз к обеденному перерыву. Андрей покупал на базаре пол-литра молока, неподалеку в магазинчике — хлеба, садился куда-нибудь в тень и смотрел, как пассажиры с московского, некоторые в пижамах, сновали около торгующих теток и торопливо возвращались к поезду, опасаясь, что он вдруг тронется, а потом успокаивались и гуляли вдоль вагонов.

Когда поезд уходил, разбрелись по домам и торговки, и на опустевшей площади снова не оставалось никого, кроме дремлющих в тени коз с деревянными треугольными колодками на шеях. И только однажды привычная эта тишина и размеренность были нарушены самым неожиданным образом. Сначала Андрей заметил, что теток словно ветром сдувает: они разбежались, спешно похватав с прилавка свое добро. Удивленный, он посмотрел на подходивший поезд и увидел, что весь он составлен из теплушек, вроде тех, что показывают в фильмах про войну, и из этих теплушек, не дожидаясь, пока поезд остановится, прыгают молодые ребята. Андрей хотел было посмеяться над осторожными тетками, как вдруг возле одного из вагонов начала собираться толпа, там что-то кричали, а потом добрая сотня человек промчалась через площадь и исчезла за домами. Следом за ними бежал военный. Спустя несколько минут толпа появилась снова, клубясь вокруг двух парней, которые тащили под руки, почти несли третьего с разбитым в кровь лицом. Андрей видел, как кто-то из толпы забежал вперед, еще раз ударил его и отскочил. Тут же и военный поднимал руку, что-то крича, но его совсем не было слышно среди шума... Поезду этому моментально дали отправление, ребята попрыгали в свои теплушки и в ту из них, куда втолкнули окровавленного, вскочил и военный. Сразу же на площади объявились и тетки, которые, оказывается, далеко не убежали, а, попрятавшись за углами, все видели и долго еще обсуждали это событие...

...Кроме вокзала и базарной площади в Чуне было два депо, паровозное и вагоноремонтное, две столовых, клуб. Была еще какая-то имеющая отношение к строительству железной дороги контора, поэтому в Чуне постоянно останавливались партии вербованных, приехавших на путевые работы. Некоторое время, пока их тут еще раз оформляли, прописывали, снабжали спецодеждой, они жили в вагончиках, загнанных в тупики. Потом приходил паровоз и увозил обжитой поезд к месту работы, на разъезд. С одной из таких партий попал в Чуну и Андрей.

Они выехали из Москвы в первой половине мая, когда там почти уже наступило лето, а на четвертый день пути, проезжая Барабин-

скую степь, увидели по сторонам дороги островки чахлых берез, где еще держался снег. Снег лежал и на сопках, окружающих Чуну, и чернота деревьев на них была совсем зимняя. Дул холодный ветер. Но все-таки это была, наверное, весна, потому что, отправившись осматривать поселок, обнаружил Андрей за железнодорожными путями, среди брошенного ржавого железа, незнакомые цветы — на низких стеблях, но с довольно крупными сиреневыми лепестками и ярко-желтой серединой. Таким образом, в один год он встретил весну два раза, даже три, если вспомнить, что на Урале, когда они проезжали его, цвела черемуха.

Это соображение поразило Андрея, как поразила и разница местного времени с московским, как вообще поражали его тогда не совсем новые, дотоле неизвестные ему вещи, но те, о которых он уже знал из книг или от кого-то слышал. В самом деле, странно: ведь знал же он, к примеру, о том, что в Сибири холодные зимы, однако рассказы попутчиков о тутошних морозах действовали на его воображение. Он верил заранее, что едет в край необыкновенный, и эту веру ему хотелось подтвердить себе как можно скорее. Действительные же перемены, случившиеся тогда в его жизни, он принял как должные, так что потом, несколько лет спустя, ему пришлось изумляться сразу двум вещам: и тому, что произошло с ним, и тому, что он в то время этого не заметил.

## 2

Попутчиков своих Андрей на всю жизнь запомнил. Много их потом было, и скучных, и занимательных, которых одинаково забываешь, едва простившись, но тех, первых, помнил Андрей вплоть до имен, выражений лиц и сказанных слов, хотя и не было ничего особенного в этих словах и лицах.

Ехали с ним в купе пожилые муж с женой да одинокая женщина лет сорока, а боковые места, у противоположного окошка, занимала молодая пара — Надя и Костя. Из другого купе приходил и сидел целыми днями еще один старик. В первые день дороги оба они — и холостой и семейный — распили бутылочку и начали порываться

в вагон-ресторан, но старуха своего не пустила, сняв с него брюки. Сперва он послушно лег, потом вдруг вскочил и побежал в трусах по вагону. Жена догнала его и попыталась одеть, но теперь уже старик не давался, сучил ногами. Наутро он еще лежал, как пришел одинокий — звать опохмеляться. Семейному снова не выдали брюк — видно, старое, испытанное было средство, — а идти в трусах он, проспавшись, не решился. Зато в остальные дни старики не пили больше, и, лежа на своей полке, Андрей слышал их мирные беседы. Не первый раз они уже вербовались.

— Нехитрое это дело — шпалу менять, приноровиться надо. Пока ящик зачищаешь, напарник костыли вытаскивает, прокладки выбивает. Клещами ее выволок, новую туда загнал, костыли обратно забил — порядок!

— Главное, чтобы напарник хороший был. С хорошим напарником звена два за смену свободно сделаешь.

— А вот разгонка рельс побестолковее, потяжелее будет.

— Да-а, разгонка пыли, трамбовка дыма...

— Еще мошкá одолевает, скажи? Пока работаешь, килограмм верный съешь.

— Как это — съешь? — свешивался с полки Андрей.

Старики поднимали просветленные воспоминаниями лица.

— Рот откроешь, она сразу набьется. Поневоле ее и глотаешь.

Одинокая женщина, судя по ее замечаниям, тоже не в первый раз ехала. Были у нее ослепительно желтые волосы и полные красные губы. Говорила она хрипло, по-мужски, курила папиросы, да и вообще манеры у нее были мужские. Все звали ее просто Вале́й, без отчества, так и Андрею пришлось называть.

Молодые обыкновенно молчали, сидя друг против друга, сблизив головы над столиком, смотрели в окно. В соседнем купе ребята, все старше Андрея, играли в очко и пели: «Опять по пятницам пойдут свидания и слезы горькие моей семьи», — и Андрей думал, что этой песней и картами они тоже хотят подтвердить себе необыкновенность новой жизни. Один из них, Герман, то и дело выигрывал, и остальные почтительно спрашивали:

— У тебя, Гер, талисман какой, что ли?

Герман сгибал в локте руку, кивал на вздувшиеся под рубашкой мускулы и смеялся:

— Вот мой талисман!

Соперников в этой компании ему не было, и тут появился вдруг откуда-то, может из другого вагона, немолодой уже человек, тоже вербованный. Щуплой фигурой походил он на подростка, и сходство это, как понял потом Андрей, еще более увеличивалось из-за выражения его глаз, больших и светлых. Не появилось в них с годами ни мягкости, ни доброты, ни робости, ни спокойной силы — но по-прежнему, как у подростка, смотрели они с отчаянным и жестоким бесстрашием.

Почти мгновенно с его появлением в соседнем купе образовалась драка, и, когда Андрей кинулся туда разнимать, он увидел, что Герман, размахивая кулаками, пытается дотянуться до светлоглазого, а тот, прижавшись спиной к стенке, со спокойным и даже насмешливым лицом отпихивает его ногою. Они-то и были главные противники, остальные же в беспорядке толклись и возились вокруг. Из какого-то дальнего купе прибежал на шум смуглый и худой парень с челкой, протянул из-за угла руку, ударил, сам не зная кого, и убежал. Андрей, увещевая, потянул было симпатичного ему Германа за рукав, но тот не услышал его и не почувствовал. В тесном купе и развернуться было невозможно, как следует, и от этого все пинали и толкали друг друга с еще бóльшим озлоблением. Удрученный, Андрей воротился в свое купе и обратился с упреком к Косте, отчего тот не помогает ему разнимать, но Костя ответил неожиданно насмешливо и грубо:

— Спешу, ажно яйца вспотели... Вот если бы они пришли сюда, — добавил он, — и начали приставать к старикам, к тебе или, чего доброго, к жене, тогда другое дело, а так — пусть хоть поубивают друг друга.

Андрей все еще недоверчиво посмотрел ему в глаза, но ничего, кроме спокойного презрения к происходящему, не увидел. Он позабывал этой уверенности и спокойствию. Себя-то он непременно заподозрил бы в трусости.

Драка прекратилась внезапно, как и возникла. Старики были недовольны шумным этим соседством.

— То ли дело — наш парень, — говорили они. — Тихий, смирный, лежит себе, читает...

Но похвалы эти не нравились Андрею, особенно слово «смирный», и в такие минуты ему хотелось нарочно пойти в соседнее купе, пить там, играть в карты, орать песни и драться...

Да, случались потом в жизни Андрея встречи позначительнее, впечатления поярче, которые не хранил он в памяти особенно долго, а вот пьяного старика в трусах, казалось, навсегда потерявшего человеческий облик, но вновь странным образом его приобретшего, и свирепого Германа, и рассудительного Костю, и преданный, восхищенный взгляд его жены Нади в тот момент, когда наставлял он Андрея, — все это для чего-то всю жизнь помнил. Помнил он и девушку, так отчаянно рыдавшую на перроне в Москве, и парня, который ее обнимал, утешая: «Ну, ничего, ну, так уж получилось, вот ты поедешь, а потом вернешься, и все будет хорошо», — и сам вдруг заплакал. Она раскрыла сумочку, ища платок, и уронила ее под вагон. Парень полез доставать, задел за что-то, и на белой его рубашке осталась черная полоса. Девушка стала ее оттирать, но пуще размазала и вновь принялась всхлипывать. Тогда в уме Андрея возникла целая трогательная история, а через день он уже видел ее в тамбуре с каким-то вербованным, и вскоре она с вещами перебралась в его купе. И вообще к концу пути в вагоне объявилось очень много «семейных», которых один из стариков — тот, проходящий — назвал презрительно-загадочным словом «феврали». Они только что выгрузились в Чуне, сбились в кучу, слегка растерянные и настороженные, и слушали, что говорил встречающий представитель. Когда тот сказал, что жить придется в вагонах, все заволновались, зашумели, и поженившиеся в дороге громче всех, потому что в условиях договора семейным обещались какие-то преимущества перед одинокими, — Андрей уж не помнил точно, как там было сказано, но кажется, «квартира». Теперь выяснилось, что преимуществом этим было всего лишь отдельное купе в теплушке. Оттого-то они и волновались, все, кроме двух, довольно скромного вида парня и девушки, которые, взявшись за руки, сто-

яли спокойно и молча среди этого шума. На них и указал Андрею старик, определив:

— Вот эти — будут жить, а те все — «февраль».

И не успел Андрей переспросить, что он имеет в виду, как старик присел и, неприлично разведя колени, растопырив руки и вытаращив глаза, присовокупил:

— Дедушка, на́ меня, я — «февраль»!

Теперь общий смысл его речи стал ясен Андрею, а кто такие «февраль», узнал он позже, в Братске, услышав эту же присказку от одного бродяги. Оказывается, называли так в старину сезонников, приходивших из России в Сибирь на заработки. Старались они поспеть к весне, к навигации, а так как путь был далекий, то отправлялись из дому задолго, в феврале...

Но отчего он все эти мгновения, лица, жесты, обрывки фраз, словом, мелочи — так хорошо запомнил? Андрей не задавал бы себе этого вопроса, столь, казалось, простого и легко разрешимого, когда бы не одно странное обстоятельство: тогда же, по приезде в Чуну, довелось ему впервые в жизни увидеть смерть, и она была им сразу же, начисто и на долгое время забыта.

Теплушки были небольшие, на два отделения, между которыми, посередине, помещалась железная печка. Подготовили их, видно, совсем недавно — внутри еще пахло краской. Расселившись, вербованные сходили в баню, на медосмотр и потом в контору, где всем поставили штамп в паспорте: «Принят. Ангарстрой», — и выдали вторую половину подъемных. Андрея по близорукости не взяли путевым рабочим, и он испугался, что его отошлют обратно в Москву. «Ну зачем же? Подыщем вам что-нибудь здесь, в Чуне», — сказали ему. Успокоенный, любуясь штемпелем, он вышел в коридор, где толпились вербованные, и увидел Германа, который тоже разглядывал свой паспорт, говоря: «Залепили все-таки».

— Хлоркой можно, — посоветовал кто-то.

— Что — хлоркой? — не понял Андрей.

— Свести, — подсказал тот же голос.

— Для чего?

— Чудак, — хмуро сказал Герман. — Мотать отсюда к такой матери.

От недавней — не той, дорожной, а новой уже — драки синяки его еще не прошли, особенно большой был под глазом, и от этого, наверное, казался взгляд Германа странно печальным.

Дел у них в Чуне больше не было, но начальство чего-то медлило, не отвозило на обещанный разъезд, в тайгу, и еще несколько дней ребята шатались по поселку, пропивали оставшиеся деньги. Один Андрей уже работал. Его оформили в ЖКО учеником плотника, и каждое утро он отправлялся искать прораба — сначала в его сарайчик, на котором постоянно висел замок, потом в контору, потом просто по улицам. К концу дня прораб отыскивался. Это был плотный лысый мужчина с массивным лицом, которое с первого же взгляда поразило Андрея. На этом лице почти не было носа, то есть был, но совсем крохотный, как у младенца, так что в сравнении с другими чертами его все равно что не было. По этой причине прораб сильно гнусавил, а лысая его голова с выпирающими лицевыми костями уже сейчас, при жизни, производила впечатление готового черепа... «Хорошо. Завтра что-нибудь подыщем», — говорил он замогильным голосом, и Андрей возвращался к себе. Нового жилья ему еще не дали, и он по-прежнему жил вместе со всеми в вагонах. Однажды он проснулся среди ночи оттого, что кто-то, наклонясь над ним, повторял: «Вставай, там человека задавило!» Он взгляделся и увидел того, светлоглазого, — Андрей знал уже, что звали его Николай. По затверженности, с которой произносил Николай только эти слова, понял Андрей, что был он пьян.

— Никого не задавило, Коля. Успокойся и иди спать, — мягко сказал Андрей, потому что уже наслушался за эти дни и научился особенно не доверять диким и пьяным их фантазиям. И в то же время он был тронут, что неукротимый этот и загадочный человек пришел со своими страхами именно к нему.

Николай молча повернулся и пошел прочь, не оттого, что послушал совета, а как бы не слыша его вовсе, и тогда Андрей поверил. Впрочем потом, много спустя, сообразил он, что поверил сразу и «Успокойся, никого не задавило» говорил, скорее, себе.

Наскоро одевшись, он выскочил из вагона и, привыкнув к темноте, различил невдалеке человеческие фигуры. Еще не видя того, вокруг чего они стояли, Андрей почувствовал, что стоят они именно вокруг. Он подошел. Человек лежал на земле лицом вниз. Одна часть его тела находилась между рельсами, а другая, верхняя, с внешней стороны. Руки были выброшены вперед, и пальцы вонзились в твердую землю. Поначалу человек казался невероятно большим, но вскоре заметил Андрей, что части тела лежали не рядом, а на расстоянии друг от друга.

Стоявшие все были свои, из вагонов. Среди них Андрей увидел Валу, с которой ехал в одном купе. Кроме нее, женщин не было. Говорили тихо.

— Это он, наверное, под пассажирский попал.

— Пьяный небось был.

— Убили, а не «пьяный»! — неожиданно сказала Валя своим резким, хриплым голосом, не умеряя его, как другие.

— А ты почему знаешь?! — сердито возразили ей, и Андрей почувствовал, что возражают и сердятся по той самой причине, по которой и он говорил: «Никого не задавило».

— Тут и знать нечего. Убили и подкинули!

— Ладно, не болтай. И вообще — шла бы ты отсюда! — раздраженно произнес голос, и еще в этом раздражении уловил Андрей какой-то бессознательный протест против того, что женщина стоит здесь и смотрит на это страшное, унижительное и вроде бы даже постыдное превращение мужчины.

Люди все подходили, — видно, Николай шел из вагона в вагон.

— В милицию надо...

— Уже пошли.

Среди огоньков, горящих на путях, один плыл, покачиваясь и приближаясь, и скоро стало ясно, что это фонарь в руке обходчика. Вместе с обходчиком пришел милиционер. Луч света упал на лицо раздавленного, и оказалось, что оно не совсем уткнулось в землю, а повернуто и как бы прижимается к ней щекой. Это был Герман. Свет переместился дальше, туда, где раньше только смутно белело, а теперь отчетливо выхватилось из темноты то самое, разворочен-

ное, унижительное и постыдное, что хотя и изучалось в школе на уроках анатомии, но все равно никогда не связывалось с человеком — связывались еще всякие там кости, мышцы, сухожилия, а это нет. Тот, кто светил, наверное, тоже что-то почувствовал, быстро увел фонарь.

— Ваш? Как фамилия, имя? — спросил милиционер.

Фамилии Германа никто не знал.

— Кирпичников, что ли?

— В конторе можно спросить.

— Ладно, установим, — сказал милиционер. — Видел кто-нибудь, как его...?

Нет, никто не видел.

— Вечером видали, пьяный был.

— Убрать надо, — напомнил кто-то решительно. — Утром женщины встанут...

Обходчик ушел куда-то и вернулся с тачкой.

— Ну, помогите кто-нибудь, — бодро сказал милиционер, нагибаясь над телом.

И тут все, кроме Андрея и Вали, начали расходиться. Андрей знал, что никакая сила не заставит его дотронуться до Германа, и смотрел зачем-то до конца, как милиционер с обходчиком погрузили сначала одну, потом другую части тела, накрыли мешковиной и увезли. Тогда и он пошел было, но, оглянувшись, увидел, что Валя еще стоит.

— Пойдем, — позвал он.

— Пойдем, — согласилась женщина, но не прежним своим резким голосом, а вдруг поразившим его шепотом.

Они дошли до ее вагона, и Андрей хотел двинуться дальше, но она удержала его: «Постой...»

— Что?! — спросил он громко, противясь ее шепоту.

— Мне на двор надо.

— Ну и что?!

— Я боюсь...

Не удивившись, в каком-то оцепенении, Андрей подождал, пока женщина отходила за вагон, помог ей потом взобраться по при-

ставной лестнице и снова вознамерился идти к себе. Но вдруг он вспомнил про Николая и пьяное его отчаяние. Оцепенение слетело с него, и он кинулся вдоль темного ряда теплушек, заглядывая в них и спрашивая, тут ли Николай. Наконец, чей-то голос ответил, что тут и давно спит.

— А чего тебе?

И Андрей подробно объяснил, как Николай разбудил его и сказал про Германа, что был он выпивши и вообще не в себе и что надо смотреть, как бы и с ним чего не случилось.

— Да спит, спит он давно, — заверили из темноты, и, успокоенный, вернулся он в свой вагон.

Наутро неуловимый прораб сам разыскал Андрея и объяснил, что есть работа. С загадочным видом привел он его к своему сарайчику, возле которого ждали двое ребят, незнакомых Андрею. Прораб отомкнул сарайчик, погромел внутри и вынес три лопаты и лом.

— Идите с ними. Они знают, — так же загадочно прогнусил он.

Они разобрали инструмент и пошли. Ребята, явно чем-то недовольные, молчали. Они быстро миновали поселок и начали подниматься по очень пологому склону, сплошь усеянному высокими пнями. Нетронутый лес виднелся километрах в полутора. Место было унылое.

— Куда мы идем? — решил спросить Андрей и услышал:

— На кладбище.

Посреди голого склона возвышался песчаный бугор, на котором уцелели или специально были оставлены несколько сосен. Кладбище было здесь. Ребята выбрали сторону, пригретую солнышком. Никому из них не приходилось раньше копать могилу, но, посоветовавшись, они решили, что метра два в длину и полтора в ширину хватит.

— Зараза Пташка, — пробурчал один. — То ему доски пили, то кирпичи грузи, то могилу рой...

Они очертили прямоугольник и все вместе стали снимать дерн. Втроем они толкали друг друга и договорились копать по двое, а

третьему — подменять. Верхний слой снялся легко, но глубже земля еще не оттаяла, пришлось долбить.

Могил на кладбище было немного, и все заброшенные. Выделялась среди них деревянная пирамидка со звездочкой и еще одна, видно, свежая могила, заваленная венками из еловых веток и бумажных цветов. Ребята постепенно разговорились и поведали Андрею, что похоронен тут месяц назад машинист один, удавившийся из-за несчастной любви. Парень, говорят, был очень хороший, и друг его все рыдал: «Вася, лучше бы ты удавил эту стерву!» Когда хоронили, все паровозы на станции гудели минут десять... А пирамидка — это они точно не знают, это вроде бы зеки побег делали и какого-то охранника пристрелили...

— Вашего-то — что, тоже убили?

Андрей хотел было честно ответить: «Не знаю», но почему-то сказал: «Да».

— Конечно, убили. Вербованные...

— А вы — не вербованные?

— Мы по направлению, из стройучилища. Печники мы.

— Уже второй год кантуемся в этой Чуме. Берем больше, кидаем дальше...

Метров после полутора копать стало легче, мерзлота кончилась, пошел влажный темно-желтый песок. Когда яма стала вровень с головой, один из ребят сказал:

— Хватит, наверное. Вот если бы Пташку закапывать, я бы метра на два с половиной вырыл, с радостью.

— Чтоб не выскочил, — добавил другой.

Все они поминали про этого Пташку, — видно, были у них с ним какие-то счеты.

— А кто это? — спросил Андрей.

— Прораб наш. Что лопаты давал.

— Отчего же — Пташка?

— Прибаутка такая есть. Сидят, значит, старик со старухой, оба гундосые. Вот старуха и говорит:

Была ба я пташкой,  
Умела ба лятать...

А старик ей отвечает:

А чем ба ты клявала,  
Ядрена твоя мать?!

Долго смеялись...

Подходя к вагонам, встретил Андрей Николая с несколькими ребятами. Обрадованный, он остановился и начал: «Ну как ты? А я вчера беспокоился, даже искал тебя...» — но Николай прошел мимо, мрачно глядя перед собой. Через десяток метров Андрей оглянулся и увидел, что Николай стоит, тоже оборотаясь в его сторону, с камнем в поднятой руке, и кто-то из ребят удерживает его руку. Эта непонятная, незаслуженная враждебность огорчила Андрея.

В вагонах говорили о смерти Германа. Одни говорили, что на теле были обнаружены ножевые раны, значит, его сначала убили, а потом бросили под поезд. Другие возражали, что если его убили, то здесь же, рядом с вагонами, — не тащили же потом издалека, — но тогда был бы слышен какой-нибудь шум, крики. На это первые отвечали, что убивали как раз, когда шел поезд, он и заглушил шум. Тут же и бросили. Третьи говорили, что никаких ран нет, если бы они были, то кого-нибудь уже забрали бы, это точно, и попал он сам, пьяный, а мог даже и трезвый: выскочил из вагона, а пути-то — вот они! Наверное, и начальство так считало, потому что наутро вагончики вдруг толкнуло, и пробежал вдоль них человек, забрасывая внутрь приставные лестницы. Потом весь поезд тронулся, потянулся мимо станции, на другой ее конец, через круг, и вернулся на прежнее место, дверями в противоположную от главного пути сторону.

Действительно, никого не забирали, и все уже стали склоняться, что Герман попал сам, но тут исчез Николай. То есть не исчез, а просто уехал: кто-то видел его в проходившем на запад пассажирском, выглядывал он, будто из открытого тамбура, улыбался и махал кепкой. Теперь все поверили, что Германа убили, и убил именно он, Николай. Поверил и Андрей и только одного не мог себе представить: чтобы страшный этот мужчина-подросток улыбался да еще

размахивал кепкой. Понял Андрей и смехотворность своего беспокойства за этого человека, и его злобу, и камень. Понял тогда и еще одну вещь, — впрочем, не тогда, не тогда, а, как уже говорилось, много позже. Тогда-то он сразу все это забыл, ни родителям не написал, ни друзьям — но не оттого вовсе, чтобы не беспокоить. Про сопки, холода, разницу во времени, цветы среди железа, снег в мае писал, а про смерть Германа и не помянул, будто и не поразила она его совсем, будто каждую ночь видел вот по такому, распростертому на рельсах телу.

Потом он как-то сложно это себе объяснял: якобы не было у него в то время «главной мысли» насчет того, как бывает в жизни, — надежной, устоявшейся мысли, владея которой мы безбоязненно подбираем впечатления, чтобы тут же, сказав себе: «Ах, вон это что!», забыть, подтвердить свою мысль и забыть, а тогда у него такой спасительной мысли еще не было. И стариков, и «февралей», и многое другое он мог пока просто так помнить, без мысли, но не смерть же тащить, понятия не имея, откуда она, почему и зачем... И вот наступил момент, когда он позволил себе вспомнить, и вся эта история начала в нем воспроизводиться — как воспроизводятся теперь на экране телевизора решающие моменты спортивной игры, — медленно согнулась рука, и гулкий голос прогрохотал: «Вот он, мой талисман!», потом опять тот же голос: «Бежать отсюда к чертовой матери...» — и долгий и какой-то тоскливый взгляд Германа, — в этом месте Андрей задержался, прокрутил еще раз и понял: он знал. Герман знал, что его могут убить, — его и убили. А того мальчика, восемнадцати лет, тем более могли убить, и сам он все для этого делал: волновался, бегал по вагонам, просил следить, — спасло же его, выходит, то, что он и не подозревал ничего ровным счетом, и не боялся... Андрей усмехнулся. Не боялся, однако лез, искал, заговаривал. Так вот оно как: не только смерть, впечатление от разрезанного пополам тела парализовало его память, но и страх перед тем щуплым светлоглазым человечком — страх глубокий и ранее неизведанный, так что если бы Андрею тогда на него указали, он, конечно, проверил бы, но и малейшего признака не отыскал бы при самом добросовестном исследовании...

И еще одну маленькую деталь он в связи с этой смертью припомнил: в Москве, в конторе, где вербовались (называлось все это, впрочем, солидно и строго — «оргнабор»), пожилая женщина, оформлявшая документы, сунула Андрею листок с адресом и попросила сообщить, когда приедут на место, — как их встретят, устроят и т.д. Наверное, это ей было нужно для работы, и Андрей честно собирался написать, ждал только, когда все определится. Потом произошла эта история, и он вдруг с каким-то злорадным и мстительным чувством решил описать смерть Германа, во всех подробностях, и послать той, ни в чем, конечно, не повинной женщине. Несколько дней он лелеял эту мысль в своем воображении, а затем просто скомкал и выбросил бумажку.

Вскоре вербованных отправили дальше, на таинственный разъезд, и Андрей, стоя один на платформе и глядя, как они машут ему из окон и открытых дверей вагончиков, почувствовал, что эти люди еще как-то связывали его с прежней, московской жизнью, но что с их отъездом связь эта оборвалась и вот теперь-то начинается действительно новая жизнь.

### 3

Как он жил в Чуне в первое время? Наконец придумал ему Пташка работу — поставить забор вокруг своего сарайчика, который оказался складом. Хранились в нем топоры, лопаты и прочий инструмент, а также зимняя и летняя спецодежда, накомарники, верхонки, керосиновые лампы, конфорки для печей, матрацы и постельное белье. Коротко прораб объяснил, что надо врыть столбы, прибить к ним прожилыны, а к прожилинам доски, сплошь, и вдвоем они наметили, где копать ямы. Остальное Андрей делал и додумывал сам. Забор понадобился Пташке высотой в два с половиной метра, — следовательно, решил Андрей, столбы нужно было заготовить четырехметровые. Он напил их из бревен, сваленных тут же, возле сарая, сверху заострил и вырубил углубления для прожилин. Первую яму он вырыл обыкновенную, круглую, но потом сообразил, что легче копать прямоугольные, со ступенькой внутри.

Столбы он ставил так, чтобы углубления оказывались с внешней стороны. «Если прожилины прибить изнутри, они отвалятся, когда начну приколачивать доски», — рассудил Андрей. Он был немного горд, что откуда-то в нем все эти соображения берутся.

На прожилины он хотя и не совсем ровно, но в общем сносно расщепил несколько толстых досок. Потом пилил горбыль. Спустя примерно месяц все было у него готово — столбы, прожилины, доски, — оставалось только прибивать. Разыскав Пташку, спросил он гвоздей, но тот прогнусавил, что никто не тратит на заборы хорошие гвозди, да и нет их у него. С обычным своим значительным видом привел он Андрея к забору, побродил с минуту вокруг и поднял кусок толстой перекрученной проволоки. Потом достал из склада молоток и зубило, тут же, на рельсе выпрямил проволоку и разрубил ее на отрезки сантиметров в пятнадцать. «Вот вам и гвозди», — сказал прораб. Уловив сомнение в глазах Андрея, он взял доску, несколькими ударами приколотил ее, вручил Андрею молоток с зубилом и ушел. По причине своего дефекта Пташка, видно, не любил разговаривать без особой нужды, а когда разговаривал, по этой же причине мерещилось Андрею в его словах что-то вроде иронии. Впрочем, ирония точно была, это потом выяснилось.

Склад находился на окраине поселка, рядом с заросшим травой железнодорожным тупиком. Здесь всегда было безлюдно. Прораб навещался редко. Андрей работал один, никто не наблюдал за ним, не помогал советами, не понукал. С утра он бродил по путям, отыскивал проволоку и заготавливал гвозди. Потом прибывал горбыль. Иногда он просыпал и на час-два позже приступал к своему забору, но вечером честно отработывал это время. Обедал он поначалу в столовой, недалеко от базарной площади, именно здесь, как ни странно, ощущая деловую, рабочую атмосферу: приходили в столовую люди в замасленных комбинезонах, в телогрейках, в шинелях железнодорожников, мыли руки, смеялись. Все друг друга знали. Торопливо поев, они уходили — туда, где кипела работа, — Андрей же с какой-то грустью возвращался в свое уединение.

Платили ему триста рублей в месяц, выходило по десятке в день. На эти деньги можно было завтракать в столовой, обедать и ужи-

нать, но твердо рассчитывать Андрей не умел, кроме того, он покупал книги в маленьком, без вывески, полутемном магазинчике возле вокзала. Часть из них у него потом сохранилась — с надписью на форзаце «Чуна, 1957» и пометками на полях, — и он узнал таким образом, что читал тогда «Записки княгини Волконской» (ведь она тоже уехала в Сибирь), «Казаков» Толстого (и Оленин уехал, не в Сибирь, правда, но все равно из Москвы), а к «Крейцеровой сонате» отнесся с пренебрежением. Еще он покупал уже читанные книги, радуясь им и как бы изумляясь, что они есть и здесь, в новой жизни... Да, и очень скоро получалось десять рублей не на один, а на два дня. Тут представлялось два варианта: или он каждое утро брал чай в столовой и пил его с хлебом, за который платить было не надо, а днем обедал, или в один день у него был чай, обед и легкий ужин, а в другой — только чай. Обычно он предпочитал почему-то второй вариант: ел через день. При физической работе, особенно вначале, когда копал он ямы и возился со столбами, это было довольно тяжело, и как-то, получив свои триста рублей, Андрей взял на обед два первых и три или четыре вторых. Потом он медленно добрал до забора и сел в его тени. Тут, как нарочно, случился Пташка.

— Почему не работаете? — спросил он.

— Объелся, — просто ответил Андрей.

— Как? — не расслышал прораб, и Андрей погромче, но так же просто и без всякого вызова повторил:

— Объелся.

Он поднял голову и увидел, как сочувствие не сочувствие, понимание не понимание, но слабый отблеск чего-то человеческого промелькнул на неподвижном, на смертоподобном Пташкином лице. Ничего не сказав, прораб ушел.

Жил он снова в товарном вагоне, одиноко стоявшем в тупике на той же окраине. Вагон был теперь побольше, четырехосный, без перегородок внутри. Койки стояли по углам. Соседями Андрея оказались печники, с которыми он копал могилу. Одного звали Борис, другого — Аркадий. Они тоже работали под началом Пташки, складывали печки в тех самых теплушках, куда поселяли вербованных.

У печников Андрей научился не ходить в столовую, когда кончаются деньги, а брать в магазине буханку черного хлеба и съесть его с водой и солью. Так-то выходило все гораздо проще, так и десятки могло хватать не на два дня, а на целых четыре. Впрочем, не всегда хватало, потому что у ребят часто не было денег, и Андрей покупал хлеба на всех. Сам же он никогда не мог у них попросить и отказывался, даже когда предлагали. То есть он был не отказался, если бы они предложили еще до еды, просто бы отрезали и дали, как и он делал, но обычно они уже начинали и вдруг спрашивали: «Может, ты хочешь?», и тут уж он не мог не отказаться с равнодушным видом. Андрей лежал на койке, глядя в книгу, и чувства его мешались: он был доволен, что отказался, и презирал жрущих печников, и презирал себя, потому что все-таки думал о еде, и вновь утешался тем, что если и думает, то, по крайней мере, никто этого не замечает. «Оттого они и не навязывают тебе, — оправдывал он печников, — ведь им и в голову не приходит, что человек не попросит, если хочет».

Впрочем, печники, при ближайшем знакомстве, оказались не столь похожими, как подумал Андрей на кладбище, и относиться к ним одинаково нельзя было. Из их разности он и для себя кое-что потом, поразмыслив, извлек. Оба они были детдомовские, вместе учились и приехали в Чуну, — словом, держались друг друга. Сначала Андрею нравился Аркадий — он был подружелюбнее, пообщительнее. Борис большей частью молчал. Один его глаз, широко открытый, смотрел с угрюмым спокойствием, другой был всегда полуприкрыт, уставлен в землю — как у жителей острова Лапуту из «Путешествий Гулливера», — отчего эта половина лица казалась печальной. Возвращаясь с работы, он обыкновенно брал у Андрея какую-нибудь книгу, заваливался на койку и читал до темноты. Аркадий спал.

Но главное различие между печниками заключалось в том, что Борис никогда ничего не предпринимал для того, чтобы раздобыть еду, — и это Андрею нравилось, — а друг его начинал рыскать по окрестным домам, где когда-то калымил или сейчас договаривался насчет калыма, и занимал денег или хлеб. Раз он даже отправился на станцию, серьезно уверяя, что там всегда можно найти какую-

нибудь мелочь. Андрей понял, что его воображению отчетливо представлялась монетка среди пыльных досок перрона.

Однажды в сумерках, когда при мысли о близком сне без ужина тоскливое чувство голода особенно обостряется, Аркадий вдруг поднялся и объявил, что знает, где можно достать картошки — хоть целое ведро. «А вы пока печку растопите», — предложил он, уходя. Это было справедливо: если один для всех старается, то и другие должны что-то делать. Однако Борис не шевельнулся, не встал и Андрей. Вскоре вернулся Аркадий, в самом деле, с ведром, полным картошки и уже залитым водой, — оставалось только на печь поставить и ждать, пока сварится. Но печь-то была не растоплена. «Да что ж мне — больше всех надо?!» — возмутился он и тоже лег. Все молчали. И вот, полежав малое время, Аркашка не вытерпел все-таки и, ругаясь, начал топить. Дальнейший ход событий совершенно ясен был Андрею: картошка сварится, Аркашка поворчит, а потом великодушно позовет их, и неизвестно, как Борис, а он, Андрей, точно откажется — так будет честно. Вообще-то Аркашка действительно вроде бы для всех старался, но тогда бы ему лучше не возмущаться или не подавать виду и затопить молча, а возмущившись открыто, топить уже не стоило. Вышло, что правда — ему больше всех и надо, что не может он терпеть голода, потому и бегаёт, и просит, и унижается. Андрей же хотел доказать себе власть над этим ощущением и доказал... Но всей меры Аркашкиного унижения он не предусмотрел. Вода уже довольно долго булькала в ведре. как вдруг Борис встал, не торопясь подошел к печке, ткнул щепкой в картошку и невозмутимо сказал: «Готова». И, оборотясь к Андрею, пригласил: «Давай». Аркашка смолчал, а Андрей, неожиданно для себя и так же не торопясь, поднялся...

Потом он вспоминал, что как раз в те дни решал проблему, как себя вести в жизни, каким быть, и представлялись ему два основных характера, один из которых на внутреннем, условном своем языке называл он «гордым и замкнутым», а другой «открытым и свойским». Оттого-то он так подробно и разбирался с этой проклятой едой, ибо в отношении к ней голодный человек ярче всего определялся. Одинаково чувствовал Андрей в себе способность, войдя

в вагон и застав приятелей над буханкой хлеба, не обратить внимания, молча пройти в свой угол и лечь там с книгой или, напротив, крикнуть с порога что-нибудь бесцеремонное, удалое, вроде: «Братцы, оставь покурить, а то так жрать охота, что ночевать негде!» И все, что касается еды, в этом случае становилось бы просто, а остальным в себе — казалось ему одно время — он мог бы и не поступаться, но вот выходило, что не так уж просто, что надо выбирать целиком натуру, целый строй человеческой души, и, однажды крикнув «по-свойски», можно было, в конце концов, так унизиться, так потерять над собой власть, что любой мало-мальски выдержанный человек будет тобой помывать и над тобой же смеяться. «Нет уж, — вывел Андрей, — нечего и сомневаться, только “гордым”, владеющим собой в любых условиях, иначе и весь эксперимент сразу же — к черту!»

Пока что все шло как надо, пока он настолько владел собой, что, наверное, и невозмутимый Борис изумился бы и не понял, Андрей это чувствовал и потому никому не признавался — у него все это время были деньги, целых двести рублей лежали в сберкассе на той же базарной площади. Сто рублей ему мама сунула перед самым отходом поезда, так что некогда было возмущаться и протестовать, и сто прислали родители уже сюда, в Чуну, объяснив, что на первых порах ему могут понадобиться. Но Андрей их не тратил, было бы это нечестно из соображений того же эксперимента, было бы нечестно и по другой причине...

Кстати, был он неправ, полагая, что с отъездом его друзей-вербованных порываются все связи с прежней жизнью и остается одна новая, или прав только на очень короткое время, пока не стал известен его окончательный адрес и начали приходить из Москвы письма. В обед Андрей минут на десять раньше оставлял свой забор, чтобы успеть на почту до закрытия. В первый месяц он получал иногда письма два-три в день, а одно-то уж обязательно. Девушка на почте уже помнила его и фамилию не спрашивала, когда появлялся он возле ее окошка. Андрей засовывал письма в нагрудный карман ковбойки, чтобы прочитать после обеда, не наспех. Родители в каждом письме одно и то же писали, вернее, спрашивали — несмотря

на то, что он им как-то на все вопросы обстоятельно ответил, — как он устроился с жильем, с питанием, хватает ли денег, что прислать, в чем состоит его работа и не забыл ли он, что ему обязательно надо учиться «дальше»? Его интересовало, кто писал письмо, отец или мать, он путал их почти одинаковые почерки, но по очередности подписей «папа, мама» заключал, что писала всякий раз мать.

С друзьями он вначале не собирался переписываться, но они сами нашли его, через родителей, и Андрею ничего не оставалось, как отвечать. Не собирался он переписываться, может быть, из обыкновенного романтизма, впрочем, это стремление отъединиться у него и раньше замечалось, еще в школе, особенно в последние годы: в первый же день каникул он вдруг исчезал, никому не звонил, не являлся в условленное время, чтобы вместе идти на лыжах или в кино, а потом признавался, что все дни ездил в библиотеку и читал для чего-то Руссо. На вопли энтузиастов, что он только о себе думает и зачем не сказал, они бы тоже с удовольствием почитали, Андрей пожимал плечами: неужели они не понимают, что вместе это было бы совсем не то? Виноватым перед друзьями он себя не чувствовал, он их любил, а в такие дни отъединения, казалось, любил еще больше.

Он и в Сибирь уехал, никому ничего не сказав и не объяснившись. И здесь, в первое время — копал ли он землю, обтесывал столбы или, сидя на рельсе, выпрямлял и рубил проволоку — внезапно вспоминались ему и представлялись особенно трогательными их отношения, поездки на Смоленскую к любимой учительнице, в ее старый деревянный домик, то и дело сотрясавшийся от проходящего мимо метро. И чай с вареньем, и жуткие остроты семи или восьми мальчишек и девчонок, игра: «“Эти гордые лбы винчианских мадонн я видал не однажды у русских крестьянок...” Чье?», и разговоры о литературе, совсем не так, как на уроке, и чтение вслух...

— Нет, вы только послушайте: «Теперь приходилось обходить сад не по земле, а по высокому забору, такому узкому, что временами Степан долго думал, куда ему поставить лапу...» Очень люблю я у Паустовского этот рассказ, — смеясь говорила Екатерина Алексеевна.

Да, именно ей, своей учительнице, были они обязаны дружбой, именно она их соединила, и, не будь ее, они, конечно, дружили бы и знали тот же каток, и кино, и вечера во главе с классным руководителем, и дни рождений, и «культпоходы», и не прекрасное, одухотворенное товарищество было бы у них тогда, а какая-нибудь «компания». Словом этим все сказано.

Но имелся в этих веселых и беспечных чаепитиях еще один момент, значение которого Андрей только потом, и чем дальше, тем больше, начал понимать. На стене у учительницы, и как раз против дивана, где все они любили помещаться и всегда кидались, чтобы захватить, висел небольшой рисунок, изображающий бескрайнюю, плоскую, уходящую вдаль снежную равнину. Она занимала почти все пространство рисунка, и очень немного места оставалось для неба. Видно было, что это сумерки и сейчас наступит ночь: на горизонте равнина синела, и темнела, и сливалась с небом. На переднем же плане, из снега, словно в саванне какой-нибудь, выросал кактус, и, как бы для пущей достоверности, у основания его намело сугроб. Мимо кактуса шла цепочка следов — глубокие овальные ямки с залегшими в них тенями. Крупные вначале, они уменьшались, уводя вдаль, и там, вдали, обнаруживалась фигурка бредущего по равнине человека, готовая раствориться в надвигающейся ночи... Все они знали откуда-то, что рисунок этот принадлежал сыну Екатерины Алексеевны, художнику, который был гораздо старше их, — был бы старше, если бы не что-то смутное и трагическое, о чем учительница никогда им не говорила, но с чем они, не осмеливаясь вторгаться с расспросами, связывали про себя ее совершенно седые волосы...

Странный и угнетающий тот рисунок Андрей всегда помнил и с возрастом все тоньше понимал, для чего кактус нелепый и обреченный, и контраст его воздетых, будто в отчаянии, механических сочленений со спокойной безнадежностью сумерек и равнины, но и тогда, когда не понимал, впечатление все равно было сильное и тревожное. Оттого, может быть, тревожное, что слишком безысходны здесь были тоска и мрак, существование которых они, конечно, допускали, но не в таком непомерном, всеобъемлющем значении, и

если бы рисунок изменить в соответствии с тем, как они знали, то на горизонте не темнело бы, а брезжило хотя бы слегка, и снег бы там алел, а тьма перенеслась бы сюда, на передний план, так что путник шел бы от тьмы к свету. В этом случае на переднем плане не только сугробы, но хоть пропасти можно было бы нагромоздить. Вот так они знали. И когда на уроке Екатерина Алексеевна разъясняла им, к примеру, образ Данко или Сокола, гибель которых не была напрасной, но «много смелых сердец зажгла призывом гордым к свободе, к свету», Андрей не мог не вспомнить рисунок, где не было света и не обещался он совсем, а гибель предполагалась именно безвестная и глухая. В такие минуты Андрей оглядывался на лица друзей, стараясь угадать, думают ли они о том же, и ощущал себя словно в каком-то заговоре... Впрочем, с чего же — в заговоре, а если в заговоре, то только с самим собой, потому что не было в спокойном голосе учительницы ни малейшей фальши, ни вызова, ни иронии, и чувствовал Андрей, что она все это — и «гордый призыв», и безысходность рисунка — каким-то высшим пониманием соединяла. Они же — размышлял он позже — в то время не смогли бы еще соединить, и Екатерина Алексеевна лучше них это знала, знала также, что никто не властен помочь человеку, кроме него самого, познать до конца и соединить такие вещи. Потому и не говорила об этом и смеялась беззаботно вместе с ними проделкам кота-ворюги.

Но хотя и не говорила, момент этот все-таки был, и с рисунка именно начался для него процесс «познания и соединения». И наступило время, когда Андрей увидел своих друзей все в той же комнате, на диване, а на ожившем вдруг рисунке — он, и они смотрят, как он уходит. Да, это он брел в сумерках, по снегу, навстречу гибели и ночи, но оттого, что все смотрели, имелся в этой безысходности еще и вызов... Впрочем, это ему уже здесь, в Сибири, представилось, и не сразу.

Теперь же Андрей с каким-то смешанным чувством читал их письма: кроме нежности, охватывавшей его в дни отъединения, испытывал он снисходительность, тоже бывавшую в такие дни, только раньше она быстро исчезала, а сейчас упрочивалась, потому что, говорил он себе, это не из «Общественного договора» выписывать и

не «Конфессон» проглотить в каникулы, и жизнь его так переменялась, что они совершенно не могут себе представить, у них же — все по-прежнему, все очень хорошо известно. «Вот, готовлюсь в институт, да боюсь математики», — писал один, и Андрей пожимал плечами: институт, математика, треволнения... «Сибирь — настоящая школа жизни, и ты правильно поступил, что уехал. Суровый климат, мужественные люди...» — писал другой, и Андрей усмехался: какая жизнь, какие люди? Он и людей-то здесь, кроме Пташки гундосого, почти не видит. «Я думаю, тебе надоели упреки взрослых, что мы не самостоятельны, не знаем жизни, вот ты и уехал», — предполагал третий, и опять же иронически Андрей отвечал приятелю, что тот прав: именно это и послужило причиной его отъезда.

Но отчего он, в самом деле, уехал?

Вопрос этот очень занимал в то время Андрея, и не праздно: если человек за день, за час, за минуту не подозревает о решающем событии в своей жизни — событии, которое произойдет по его воле, — а, напротив, идет по улице с твердым планом минимум лет на пять и вдруг, случайно, видит объявление о наборе рабочих, и в тот же миг все у него переменяется, то, естественно, человек этот заинтересуется механикой подобного переворота, чтобы в будущем, по крайней мере, быть готовым к такого рода сюрпризам, чтобы не заставали они вот так, врасплох...

Но четкого, удовлетворительного объяснения у него не было. Было несколько вариантов, довольно туманных и выспренных, мелькали там слова: порыв, провидение и даже — перст, а привычного, рационального объяснения — при условии которого мы, сами того не замечая, только и соглашаемся допустить туманные — не находилось. Единственное из рациональных, приходившее на ум, было то самое, предложенное товарищем, но оно, Андрей точно знал, было и неправдой: никто никогда незнанием жизни его не попрекал. Наоборот, обнадеживали, что все впереди, что успеет еще узнать. В конце концов он махнул рукой, сказав себе, что все, что с ним случилось, к чему-нибудь да приведет и позднее, когда выяснится цель, определится и причина. Вскоре он перестал об этом

думать и вообще забыть; когда же, со временем, вновь заинтересовался, то настолько уже отошел от прежних своих мыслей, что ничего не оставалось, как восстанавливать по чисто внешним деталям. Мимо одной такой, связанной с самим отъездом, никак нельзя было пройти.

Тогда, на перроне, в минуты прощания Андрей все-таки успевал наблюдать и за людьми — вот девушку и парня, плачущих в обнимку, заметил, — но если бы случился другой внимательный человек, наблюдающий за самим Андреем и его родителями, то в уме его тоже могла бы сложиться история. Был тут момент, когда мать, обнимая его и целуя — не без слез, конечно, — прошептала ему на ухо: «Поцелуй папу, слышишь?!» — и даже подтолкнула. И оттого, что подтолкнула, еще заметнее получилось, как Андрей отпрянул из-под ее руки, пробормотав что-то совсем уж детское — вроде «Да ну еще!». На глазах отца тоже блеснули слезы (досады, как показалось тогда Андрею), и он проговорил: «Пусть простит тебя твоя совесть!» Нет, даже не так: «Д а простит...» — сказал он. Поезд тронулся. Андрей вскочил в вагон и сел на свое место, глядя в окно, с совершенно пустой в первые минуты головой и без единого ощущения.

Немного погодя чувства возобновились в нем, и главным среди них было раздражение в нескольких видах: мгновенное, легкое — против матери, что подтолкнула, и постоянное и сильное — против отца, а теперь оно еще больше усилилось в связи с напыщенным этим: «Да...» С собой, своей детской выходкой он тоже был недоволен, получилось как-то помимо его воли, и все потому, что не представлял, что так получится. Он бы представил, если бы подумал заранее, даже по дороге на вокзал, и непременно придумал бы что-нибудь другое: не поцеловать, конечно, но и не отпрянуть, а что-нибудь другое, не столь явное, чтобы не расстраивать — опять же не отца, а мать. Но он не сообразил представить. А вот они представляли: и мама, раз шептала и подталкивала, и отец со своим — «Да...». Ведь это только заранее, не вдруг можно было придумать — «Да...»!

Разумеется, соображение это было насквозь глупым, детским, продиктованным нелепой враждой — скорее всего, никто из них не предвидел, хотя бы и мог, и у всех троих получилось произ-

вольно. Но истинное понимание пришло много позже, вместе с раскаянием и любовью к отцу, тогда же Андрей и сон увидел: снова он мальчиком уезжает, и повторяется до мелочей та сцена на перроне, поезд трогается, он прыгает в вагон, смотрит, высунувшись из-за спины проводницы, и видит вдруг, как отец тоже вспрыгивает, несколькими вагонами позже, и его охватывает предчувствие несчастья, которое сейчас произойдет. Все в нем распускается, исчезает вражда, он бежит навстречу отцу по вагонам, а поезд все набирает скорость, невероятно быстро мчится, они встречаются на одной из площадок, целуются, отец прыгает, слышен стук перекинувшегося тела, крик, и Андрей видит между рельсами отрезанную отцовскую руку... Так вот что такое было тогда это прощание!

Но в описываемое время Андрей думал, что ненавидит отца, и ненависть эта, как очень скоро он догадался, была не прямая, а отраженная, всего лишь отблеск другой, настоящей ненависти, которую испытывал он к себе. Ненависть к отцу была только маленьким ручейком сбоку запруды. А началось все с одного случая. Андрей учился тогда, ну, может быть, классе в восьмом. Был вечер, кажется, воскресный, все они сидели дома, как вдруг пришла мамина сестра, тетя Нюра, с жалобами на зятя. Зять этот, Витька, опять заявился пьяный, в комнату они его не пустили, он начал ломиться и грозился убить. Каким-то образом удалось им выскользнуть из квартиры, Валя, дочь, убежала в соседний подъезд к знакомым, а тетя Нюра — вот сюда. Не первый раз были у них такие скандалы. Но обычно тетя Нюра ограничивалась жалобами и оставалась ночевать, а сейчас вдруг попросила помочь выгнать зятя. Витька был настоящий уголовник, один или уже два раза попадал в тюрьму, и тетя Нюра его боялась.

— Сходи, Коля, — сказала мать.

Отец оделся и вышел. Буквально минуты через две она посмотрела на Андрея и велела:

— Ступай-ка ты за папой.

Потом, после всего случившегося, основной загадкой для Андрея было: что мама в эти две минуты подумала? Ведь о чем-то она подумала?.. Тетя Нюра жила недалеко, в трех остановках на трам-

вае. Андрей догнал отца, когда тот поднимался уже по лестнице. «Мне мама сказала», — крикнул он. Отец ничего не ответил, и тут тоже была загадка.

Дверь в квартиру была приоткрыта, они толкнули ее и вошли. Витька лежал в кухне на полу, на разостланном пальто.

— А-а, — проговорил он, — заступаться пришли.

Не таким он уж казался пьяным. Отец не стал хватать его за шиворот и выкидывать из квартиры, но сказал, что Витька взрослый уже человек, семейный, и пора бы прекратить все это пьянство, скандалы, драки и жить по-хорошему, тогда и отношение тети Нюры к нему переменится, ведь она желает только добра... Витька не встал, только приподнялся на локте. Он слушал молча, а рука его, длинная, с худыми нервными пальцами вора, как бы жила отдельной самостоятельной жизнью — похлопывала по пальто, нашаривала что-то и наконец нашарила, завернула полу и сунулась в карман. Андрей напряженно следил, готовый в любой момент кинуться на эту руку, которая то исчезала в кармане, то наполовину высовывалась.

— А хочешь, Николай Иванович, я тебя застрелю? — ухмыльнувшись, вдруг перебил Витька отцовскую речь.

— Ну что ж, стреляй, — мгновение помолчав, согласился отец, и Андрея неприятно поразила эта безответность. Эх, не так бы, не так надо было себя вести!

— Застрелю, и мне ничего не будет, потому что я псих.

— Стреляй, стреляй, попробуй, — снова сказал отец.

И тут Витьку наконец прорвало, он начал ужасно кричать и браниться, и пора уже было брать его и выкидывать, но отец ничего не предпринимал и молча слушал.

— Да что ж это такое, замолчишь ты или нет! — вскричал Андрей и шагнул было к Витьке, но отец остановил его, сказав:

— Пусть покричит немного.

И точно, внезапно тот утих, поднялся и стал надевать пальто. Сейчас было видно, что он действительно сильно пьян. Бормоча что-то и пошатываясь, он прошел мимо них, вышел из квартиры, и они вышли следом, захлопнув за собой дверь. Так, друг за другом,

они спустились по узкой, всегда темной лестнице, и внизу Витька спохватился, где шарф. Он вознамерился вернуться, тогда Андрей решительно сунул руку ему за пазуху, выдернул из рукава шарф, накинул на шею, и Витька даже пробормотал: «Спасибо». Они миновали двор, вышли на неширокую, ярко освещенную и людную в этот час улицу, и здесь отец снова сказал:

— Я верю, что ты разумный человек и обдумаешь все, что я тебе говорил.

Он протянул Витьке руку, но тот, не взглянув и не ответив, двинулся вдоль улицы, а отец так и остался стоять с протянутой рукой. Очередное это унижение доконало Андрея, он схватил, чуть не ударил отцовскую руку и дернул вниз. Некоторое время они шли молча, потом отец сказал:

— Да, если бы не ты, могла быть драка. Он тебя боялся.

Андрей тогда не ответил, но потом сам с собой много раз отвечал: «Так что же, тебя он не боялся? Отчего же он тебя-то не боялся?!»

С этого случая и началась та враждебность, стал Андрей припоминать и подмечать все отцовские слабости и обращать против него, но и против себя тоже, потому что основной его страх тогда был, что он похож на отца. Сходство их лиц, фигур, голосов давно еще было установлено, еще в те времена, когда Андрей был рад ему и старался его подчеркнуть. Сейчас же он с мучением вдруг ощущал, что вот побежал, вот повернул голову, вот улыбнулся, как отец. Из внешнего сходства он, естественно, выводил внутреннее. Была тут, правда, для него слабая надежда: иногда мать замечала, что он похож на дядю, на брата ее, который был на войне, перенес ужасы концлагеря, и сила его духа, таким образом, была неоспорима. И с этой слабой, то исчезающей совсем, то вновь возрождающейся надеждой склонялся Андрей над отцовской и дядиной фотографиями, потом смотрел в зеркало и сравнивал соотношения лба, подбородка, скул, выражение глаз. У отца было узкое худощавое лицо, с виду даже решительное, но теперь Андрей знал, что скрывалось за этой решительностью. Дядино лицо, напротив, было круглым и мягким, и только в уголках глаз, в складке губ отыскивал он свидетельства

силы. Дядино лицо, конечно, было исключением, а вообще-то идеально выражающими силу казались Андрею широкие тяжелые лица с мощными челюстями, как, например, у отца школьного товарища, того самого товарища, который сокрушался теперь, что не может поступить в институт. И часто Андрей гадал, как повел бы себя отец друга в злосчастной той ситуации: уж наверное не стал бы слушать Витькину болтовню, а схватил бы и выкинул, но потом понял, что и выкидывать не пришлось бы, что и Витька повел бы себя иначе, молча и смиренно бы удалился.

Да, имея такого отца, и о себе можно было не волноваться, потому как заведомо все обеспечивалось, и действительно: товарищ был добродушный, спокойный увалень. В их дружбе Андрей предводительствовал: его инициатива была лезть через забор на каток, или на перемене на школьную крышу и там сфотографироваться верхом на трубе, или пройти на велосипедах пятьдесят километров без отдыха. Друг просил пощады, отдышал, припадал к ручью, Андрей сдерживал себя, и все-таки, несмотря на различные доказательства выдержки, и силы, и смелости, ощущение неуверенности в себе не проходило. Друг мог позволять себе что угодно — уставать, не противиться жажде, потому что это все мелочи, баловство, а вот когда придет решительное, настоящее испытание, у друга с его теперешней беззаботностью достанет сил, а у него, Андрея, не достанет, может не достать, и подтверждение тому — все его эксперименты.

И все накладывалось, наслаивалось и усугубляло эти сомнения. Удручало также, что не видел вокруг — ни в книгах современных, ни в фильмах, ни в классе у себя, — не встречал у сверстников схожего интереса, всех волновало вроде бы совсем другое: в книгах и фильмах — повышение успеваемости, исправление всем классом какого-нибудь одного кретина, вопрос, может ли дружить мальчик с девочкой, и с какого класса, и в чем должна состоять эта дружба, а в жизни — сбежать с урока и дорваться поскорей до футбола, так что Андрею казалось, что он один носит в себе это сомнение, и думал порой, не урод ли он, не исключенье ли из правила, притом худшего свойства, и наступил момент, когда он осточертел себе со

своими сомнениями, устал от них и возопил: да из чего же я вожусь с собой столько, да кто я такой, что столько о себе беспокоюсь, нет, надо кончать, сделать что-нибудь решительное, чтобы все стало ясно. Останешься — значит, останешься, погибнешь — значит, погибнешь. Человечество ничего не потеряет от твоей отдельной гибели. Что это за «погибель» такая, он не представлял отчетливо, но, конечно, не только физическое исчезновение, — воображалось ему, скорее, доказательство самому себе своего полного ничтожества, а затем уж, автоматически, и гибель физическая. Сделать это в кругу привычных лиц, отношений не представлялось возможным. Так вот, если уж на то пошло, отчего он уехал. А не жизнь узнавать! О, никакого шараханья, свойственного, как полагают, молодости, — все очень последовательно, логически вытекало одно из другого. Выяснить сначала, что ты такое, а потом начать жить. И было в этом наивном отделении человека от жизни, в метафизическом их разделе какое-то точное предчувствие их единства, соответствия — не вообще человека и жизни, а отдельной жизни и отдельного человека. Не было одной общей жизни для всех, но для каждого — своя, и если ты сам ничтожен, то и жизнь у тебя ничтожная, и наоборот; и честно он тогда рассудил: если выйдет, что он ничтожен, то незачем ему тогда и эту жизнь узнавать, все равно он сможет постигнуть ее только в меру ничтожного своего духа, когда же нет, когда же он устоит, не погибнет, отыщется в общем ряду, то и жизнь его куда не денется, объявится сама собой...

Но ни явного спасения, ни явной гибели пока не было, потому что не представилось в эти полтора месяца в Чуне мало-мальски стоящего испытания — ведь не голод же и не физический труд, не забор, который он городил, было считать настоящим, достойным человека испытанием.

За это время кончились холод и ветер, полностью сошел снег, ярко зазеленели и очень быстро поблекли под солнцем окрестные сопки. Дни стояли жаркие, пыльные, и вскоре загорелась тайга. Сопки заволокло дымом, закаты походили на пожары, и в поселке стоял сильный запах гари. Отдаленные домики были как в тумане. Говорили, что такие пожары бывали здесь каждое лето.

Андрей ходил в ковбойке и лыжных штанах, заправленных в кирзовые сапоги. Лицо, шея и кисти рук у него загорели. Ему казалось, что он уже очень давно уехал из дому, лет десять живет в Чуне, строит забор, читает письма друзей, сидя в тени амбара на базарной площади, и так будет всегда, и где-то еще лет через десять придет пассажирский из Москвы, и по базарчику побежит кто-то ужасно знакомый, кто-то из школьных друзей, и увидит его, сидящего на земле в компании коз с колодками на шеях.

Друга Андрей представлял почему-то обязательно растолстевшим и в пижаме, а себя таким же, как сейчас, чуть ли не в этой же ковбойке и штанах. Короткий невразумительный разговор между ними, друг изумлен, Андрей спокоен, как человек, познавший высшую мудрость. Сигнал отправления, друг возвращается в вагон, сожалея про себя: надо же, а подавал такие надежды, — Андрей, в свою очередь, сожалеет о друге, одна его пижама достойна сожаления...

Забор у него между тем двигался, получался — с двух сторон к складу уже нельзя было подойти. Может быть, он и закончил бы его, но однажды вечером печники вернулись в вагон подвыпившие и ужасно чем-то недовольные. Постепенно из пьяной их брани выяснилось, что они работали у самого Пташки, клали ему печь в новом доме, и он, пользуясь властью, только распил с ними пару бутылок, что ли, и не заплатил или мало заплатил. Обманул, словом.

— Это же вор, — кричал Аркашка, — у него же ни одной доски, ни одного гвоздя купленного нет! Вон Андрей проволоку рубит, а гвозди он списывает и — себе!

«Так вот она, Пташкина ирония!» — подумал Андрей.

— Сейчас заявление буду писать, — сказал Аркашка.

Он достал из чемодана чистую школьную тетрадь, ручку и начал выводить, приговаривая вслух: «Начальнику второго пути... от печника ЖКО такого-то...»

— Идиот, — сказал Борис, — второй путь это возле вокзала, куда поезда приходят. Если на каждый путь по начальнику, знаешь, сколько их тут будет. Надо писать: второй дистанции пути...

Аркашка возражал, испортил половину тетради, выбросил листки в печку и лег спать.

Наутро Андрей пошел к начальнику «второго пути». Потом он интересовался, отчего пошел, и решил, что возмутил его не столько сам обман, сколько ирония, чудившаяся ему в Пташкиных словах и взглядах. То есть он обманывал да еще смеялся! Андрей ожидал, что начальник — высокий, смуглый, носатый человек с очень интеллигентным лицом — рассердится на Пташку, но тот, выслушав, только устало поморщился и как бы припомнил: «Ах да! Все они там занялись своими домами...»

— Конечно, у него вы ничему не научитесь, — согласился начальник. — Но вы могли бы работать в конторе...

— Нет, нет! — испугался Андрей. — Нет, нет!

— Куда же вы хотите?

Андрей представил веселых чумазных людей в столовой.

— В депо, — сказал он.

Начальник поговорил по телефону.

— В вагонном депо маляр нужен. Вы сумеете красить?

— Сумею! — заверил Андрей. — В школе я оформлял стенгазету.

Так он попал в депо.

Только потом он понял, разбираясь в той жизни, что погорячился, поспешил: надо было ему остаться при своем заборе, трехстах рублях, гордости и одиночестве и не обращать внимания, быть выше мелкого Пташкиного жульничества, а так получилось, будто другой Андрей, «свойский», вошел и с порога крикнул: «У кого пожрать осталось!», исчезла вроде бы его цельность, независимость от внешних обстоятельств. Была ему послана одна-единственная, настоящая перемена, и с нею надо было сообразовать свою жизнь, а он не выдержал, пожелал другой. Все это его как-то сначала неотчетливо, правда, но беспокоило. И перед ребятами было неловко, они ведь оставались...

Кстати, месяца через полтора встретил Андрей Бориса, одного. Казался тот пьяным, стоял на опустевшем перроне возле готового к отправлению поезда, грозил кулаком и что-то кричал смотревшим в окна пассажирам. Пассажиры веселились.

— А где Аркашка? — спросил Андрей.

— Этот .....-то? На запад подался, давно уж.

— Уехал? Вы же друзья были?

— ..... он, сука он позорная, а не друг! Смотался по-тихому, свитер у меня ....., перчатки и шарф...

— А ты где?

— Да все там, в вагоне, у Пташки...

Говоря с Андреем, Борис не походил больше на пьяного и Аркашку материл как-то без возмущения, лишь слегка удивленно, и все так же угрюмо и спокойно смотрел один его глаз, а другой был печально уставлен в землю. Но вот он опять повернулся к поезду, грозя кому-то кулаком, и снова стал пьяным, а Андрей вдруг с каким-то чувством вины понял: вот кто, а вовсе не он останется здесь, и будет сидеть на базарной площади через десять, и через двадцать лет, и всю жизнь, только нет у него никого, кто бы выскочил однажды из купейного вагона, увидел его, изумился и воскликнул сочувственно: «Надо же!»

#### 4

Депо, где Андрей теперь работал, находилось на противоположном конце поселка. Пригоняли сюда товарняк — вагоны, полувагоны, платформы, — нуждавшийся в годовом или среднем ремонте. Капитальный производился в Вихоревке.

Многих деповских Андрей точно раньше встречал в столовой, но особого к и п е н и я работы, какое ему тогда по их виду представлялось, он здесь тоже не увидел. С утра собирались минут за пятнадцать, покуривали, слушали инженера, читавшего газету. Потом расходились — каждый к своему делу. Слесари возились с ходовой частью, плотники заменяли пробитые, обветшавшие доски, а после Андрей красил — раму и тележки угольным лаком, борта и стенки суриком, белилами возобновлял номер вагона, грузоподъемность, место и время ремонта. По времени он подсчитал, что за восемь часов мог бы покрасить вагонов шесть-семь, если работать по-настоящему, но план у депо был небольшой, в день выходило всего два-три, а иногда и один вагон.

Часто слесари и плотники заканчивали свою работу только к вечеру, тогда Андрея просили задержаться, и он без звука задержи-

вался — куда ему было торопиться, — а потом возвращался домой, весь в краске, — спецовки ему не предложили, а попросить он не догадывался, — и девчата из теплушек кричали: «Вот это работяга, тыщи две, наверное, заколачивает!» Такие теплушки ему тоже приходилось красить — вербованные прибывали регулярно.

Две не две, а рублей пятьсот он зарабатывал. Жил Андрей теперь в общежитии железнодорожников — в основном это были паровозники: кочегары и помощники машинистов. Длинный одноэтажный этот барак стоял на самом низу поселка, почти сразу за ним начинался заболоченный лес. Условия с вагонными было не сравнить: электричество, паровое отопление, сушилка, умывальники и кухня с большой плитой, на которой всегда грелось два больших чана с водой и несколько чайников. Следила за всем этим дежурная, пожилая женщина, которую все называли Абрамовной. Ее уважали: часто на кухне с покаянным видом сидел кто-нибудь из ребят, Абрамовна зашивала ему порванную накануне по пьянке рубаху и учила уму-разуму. Многие отдавали ей в получку деньги на сохранение, чтобы не пропить все сразу. На кухне был телефон, и, когда звонили из депо, вызывали кочегара в поездку, она бежала на базарную площадь, или дальше к магазину, или в клуб, отрывала человека от составившейся было компании, и минут через двадцать в блестящей, тяжелой от масла и угольной пыли спецовке, с помятым металлическим сундучком он уже спешил к паровозу. Поезда шли то и дело, ребятам по суткам приходилось работать, и Андрей привык, что ночью половина кроватей в комнате пустует и наоборот, среди бела дня кто-то лежит, укрывшись с головой одеялом, отсыпается после поездки.

Понемногу он узнал их всех: особенно запомнился ему Иван, высокий парень с холодным, замкнутым и очень красивым лицом. Работал он помощником машиниста, жил в двухместной комнате и, когда сосед его был в поездке, водил к себе женщин. Молча проходили они по длинному темному барачному коридору, мимо Абрамовны, молча отпирал он свою комнату и, пропустив женщину вперед, затворял за собой дверь. И любившая всех поучать Абрамовна тоже молчала. Держался Иван в общежитии особняком, да и к нему не приставали.

Его сосед по комнате тоже был человек интересный. Главная и единственная его страсть, о которой все знали, была страсть к накопительству. Доставляла она ему немало забот, потому что он не мог просто копить деньги, а непременно вещи: костюмы, рубашки, ботинки, приемник, баян... Через некоторое время охватывал его страх, что, пока он будет в поездке, вещи растащат, тогда он начинал ходить по комнатам и распродавать их. Распродав, он не удерживался, снова набирал разного барахла, и все повторялось. Ребята над ним смеялись.

Был тут кочегар Миша, паренек с бледным, прыщавым, вялым лицом, который всю зарплату изводил на одеколон и конфеты. Был маленький безответный Славик, пользовавшийся, однако, всеобщим уважением, потому что работал учеником пекаря и всегда при-таскивал с собой несколько буханок свежего, горячего еще хлеба. Паровозники хотя и много зарабатывали, но быстро пропивались, и часто можно было наблюдать, как ребята за полночь не спят, поджидают Славика из пекарни. Был, наконец, как и во всех общежитиях бывает, свой старик, один среди молодежи, неизвестно чей, неизвестно откуда, с неизвестно какою судьбой. Он ездил кондуктором, сопровождал товарные поезда. Андрей его еще давно заметил в поселке и чуть не ахнул, когда увидел в первый раз: шел вдоль поезда с фонарем в руке и тулупом под мышкой высокий худой старик с белоснежными волосами, загорелым морщинистым лицом и детскими голубыми глазами. Но главное, по-прежнему черты лица, и у старика они были идеальны: крупные, резкие, мощный подбородок и прямой рот, захваченный, будто клещами, двумя глубокими, идущими от носа морщинами. Походил старик на американского пионера, как Андрей их себе представлял.

Общался Андрей более всего со своими соседями по комнате — Толиком и Денисом. Денис был маленького роста, широкоплеч, некрасив, умен, зол, нелюдим. Но Андрея он сразу выделил и любил с ним разговаривать. Однажды, когда Андрей писал друзьям, Денис, наблюдавший за ним со своей койки, сказал вдруг:

— Ты размышлять любишь.

— Почему ты решил?

— Улыбаешься часто сам с собой. И когда читаешь. Значит, о чем-то думаешь. Я сам, если книга попадется смешная, хохочу во все горло, а дать ее, например, Толику — он будет сидеть, как пень, и губами шевелить.

С тех пор Андрей постоянно чувствовал на себе изучающий Денисов взгляд. Он все присматривался, присматривался молча, и, когда приходил к какому-нибудь выводу, разубеждать его было бесполезно.

— Ты всех здесь презираешь.

Андрей делал было протестующее движение, дескать, вовсе не так это, но Денис продолжал:

— И правильно делаешь. За что их, дураков, уважать? Я сам их всех презираю.

В другой раз он предложил:

— Хочешь, расскажу тебе твою будущую жизнь? Вот ты все с книжками, в сторонке держишься от наших пьяниц, учиться думаешь, так?

— Не знаю, может быть...

— А выйдет по-другому. Бросишь ты постепенно свои книги, запьешь, заматеришься, будешь как все, срок получишь...

— За что же? — изумился Андрей.

— Ни за что. Кто-нибудь что-нибудь сделает, сопрет, нашкодничает, а на тебя скажут... Выйдешь, другой уже человек, дороги тебе не будет, озлобишься, и затянет тебя Сибирь, и пропадешь здесь. Как я...

— Уж очень беспросветно у тебя выходит! — засмеялся Андрей, но долгое время после этого разговора было ему не по себе, подействовала на него мрачная Денисова убежденность.

В получку Денис страшно напивался и шел в поселок устраивать драку, никогда с кем-нибудь одним, но самое меньшее с тремя, с четырьмя, с десятью — было ему все равно. Дрался он, пока не избивали его до бесчувствия или отступали, сообразив, что человек не в себе. Поселковые его знали и старались не связываться, тогда Денис повадился в вагоны к вербованным. Сердобольная Амбравовна следила за ним и всегда в таких случаях бежала за Андреем, только он мог Дениса уговорить и отвести домой.

Толик был противоположностью Денису, могучий парень лет двадцати трех, с простодушным лицом и ясным безмятежным взглядом. Дениса Толик особенно раздражал, видимо, уязвляло его это простодушие и сила. Но интересно — пьяным Денис никогда к нему не приставал, задира, только когда был трезвым. Однажды вечером переругивались они лениво, лежа на своих койках, Андрей читал, не вслушиваясь в суть пространных Денисовых выпадов и коротких ответов Толика, и вдруг в какой-то момент оба разом соскочили и, обегая кровати, кинулись друг к другу. Вскочил, бросив книгу, и Андрей и встал между ними, повернувшись к Толику и удерживая его, потому что тот был сильнее, но Денис схватил стул, забежал сбоку и исхитрился все-таки ударить Толика по плечу.

— Да будет вам, скоты! — вскричал Андрей в крайнем раздражении — именно копившемуся в нем самом раздражению приписал он потом властное действие своих слов, — и, злобно ворча, Денис отступил.

Тут же, глядя, как Толик потирает плечо, почувствовал Андрей себя виноватым: не его, а Дениса надо было удерживать, как он не сообразил, и Толик, должно быть, на него сердит, — но тот, оказывается, проникся совершенно другим чувством. Проснувшись наутро, увидел Андрей на себе его внимательный и ласковый взгляд.

— Померяемся? — предложил Толик, выпрастывая из-под одеяла и протягивая руку с согнутым пальцем.

Кисть у него была черная, загрубевшая, а дальше начиналась гладкая смуглая кожа, и под ней мощно прокатывались мускулы. Согнул и Андрей свой палец, они зацепились, и без малейшего усилия потянул Толик к себе Андрееву руку.

— Давай еще, — сказал Андрей, ухватился другой рукой за спинку кровати и поехал к Толику вместе с кроватью. Установив таким образом соотношение сил, Толик некоторое время молчал, потом попросил авторучку и лист бумаги. Андрей дал. Толик почертил-почертил, пробуя перо, потом написал что-то и протянул Андрею. «Жду хорошего друга», — прочел тот. Снова Толик взял листок, подумал и прибавил: «Но не ждать его надо. Надо искать!» И подпи-

сался: «А. Бочаров». Большие, воловьи его глаза увлажнились, он улыбался, глядя, как Андрей читает написанное, и Андрей понял, улыбнулся в ответ. Так они подружились.

Андрей очень серьезно отнесся к этой дружбе, он считал, что должен помочь Толику найти настоящее место в жизни, не век же ему быть кочегаром. Он убеждал его идти не откладывая в вечернюю школу — Толик кончил всего пять классов — побыстрее, года за два получить среднее образование, а потом, разумеется, в институт. Ему казалось, что человек с такой силой все может. Он написал Екатерине Алексеевне и друзьям, чтобы прислали «Мартина Идена», — книга эта должна была Толика вдохновить.

Толик звал Андрея в клуб на танцы — он хотел познакомиться с какой-нибудь девушкой и ему был нужен дружеский совет.

— Как думаешь, вон та, в черном платье, ничего? — спрашивал он.

— Нет, — даже не глядя, решительно отвечал Андрей. Девушки и цель, намеченная им для Толика, были несовместимы. Но Толик никак не мог этого понять.

— А вон та, с буфером? — приставал он, и, рассердившись, Андрей уходил из клуба.

Появилась в нем самом в это время тайная страсть: поездки на товарняках. Выйдя как-то вечером прогуляться, остановился он на путях, пропуская длинный, только что отошедший состав. Медленно катились вагоны, цистерны, ледники, затянутые брезентом платформы, проплывали высокие подножки тормозных площадок, и вдруг, неожиданно для себя, Андрей прыгнул и уцепился за одну из них. Поезд набрал скорость, огни поселка исчезли, пошел по обе стороны сплошной лес, а потом и он пропал, слился с темнотой. Наступила ночь. Андрей сидел на площадке, свесив ноги, держась за поручень. Ощущение было совсем другое, чем на пассажирском: вагоны дергались, раскачивались, грохотали, летели во мрак, и казалось, конца не будет этому стремительному, завораживающему движению. Но вот поезд начал рывками тормозить, прогремел по стрелке, остановился. Это был разъезд. На соседнем пути горели фо-

нари паровоза, встречный состав ждал отправления. Андрей перескочил на него и вернулся в поселок. Никому о своем приключении он не сказал.

И с тех пор вечерами, после работы, или в выходной с утра шел он на станцию и наблюдал, как вдоль вагонов проходил человек с ведром, приоткрывал крюком буксы, проверял смазку, как кондуктор в плаще, не торопясь, направлялся из диспетчерской к хвостовому вагону, ставил на подножку фонарь и закуривал, а у паровоза хлопотали черные промасленные фигуры. Раздавались один, потом два коротких гудка, означающие проверку и отпуск тормозов, и вслед за этим тихое шипение вдоль состава. Все это были признаки скорого отправления. Вот и выпел понесли к паровозу, теперь уже один длинный гудок, пауза и нарастающий грохот от головы к хвосту — вагоны один за другим дергались и начинали катиться медленно и плавно. Тут и Андрей бросался на облюбованный «тормоз». В дороге он по сцепке перебирался на соседнюю платформу, с нее было лучше смотреть — и вперед, и вверх, и по сторонам.

Прямо от насыпи уходили вверх склоны сопки, в траве у подножья торчали пни, окруженные молодой порослью, повыше желтела ровная полоса сосновых стволов. Иногда дорога шла посреди склона, тогда вверху были стволы, внизу — сплошь кроны. Задрал голову, Андрей смотрел на песчаные обрывы с выступающими из них синеватыми и серыми камнями. Чернели недавние гари, на старых разросся кипрей. Возникла откуда-то и долго бежала рядом с поездом быстрая, сидящая на перекатах речка и вдруг пропадала. Отступала тайга, и открывался громадный темно-зеленый луг без единого деревца, блестели озера. Болото! И снова — сосны, сопки, распадки... Многократно повторенный стук колес сливался в сплошной шум и падал откуда-то сверху. Поезд вписывался в кривую и был виден весь, паровоз исчезал за поворотом, свистел, вагоны дергались и замедляли ход — дорожные работы. По сторонам вдоль полотна, опершись на ломы и лопаты, откинув сетки накомарников, стояли работяги, чаще всего — зеки. Они что-то кричали, и непременно кто-нибудь двумя сложенными пальцами делал возле губ торопливые движения, означавшие «брось закурить», но

Андрей еще не курил тогда, бросить ему было нечего. А иногда это были вербованные — узнал как-то Андрей своих и долго махал им...

Очень часто поезд надолго «прикалывали» на какой-нибудь станции — ему нравились их звучные, непонятные названия: Чукша, Турма, Тарая, Парчум — или на пустынном разъезде, где ничего не было, кроме домика обходчика. Андрей садился на грудь старых шпал и следил, как гаснут отблески солнца на сосновых стволах, темнеет лес, поднимаются из распадков туманы. Воздух мгновенно холодал, пощелкивали нагревшиеся за день и теперь остывающие рельсы. В лесу монотонно кричала какая-то птица, и — странно: тишина на разъезде от этого крика становилась еще более полной. Окончательно темнело, лишь на западе светлела узкая полоска неба цвета слабо заваренного чая. Андрей шел в будочку обходчика, узнавал, когда будет «четный» или «нечетный» — смотря по тому, в какую надо было ему сторону, — опускался прямо на пол, поближе к печке, и дремал. Его ни о чем не спрашивали — молчаливые и загадочные пассажиры с товарняков были на этой дороге не в редкость, и здесь научились их уважать... Поздно ночью, а то и под утро возвращался он в общежитие, где никого не интересовало его продолжительное отсутствие.

«Но так ведь я и в Братск могу съездить!» — пришло ему однажды в голову. Мысль о том, что он проживет всю жизнь в Чуне и не увидит Ангары, показалась Андрею обидной. До Братска было, он узнал точно, сто шестьдесят километров. Теоретически можно добраться часа за три-четыре, если поезд пойдет «на проход», но он обязательно остановится в Вихоревке, где меняются паровозы, и может еще на разъезде простоять полдня. В общей сложности, прикинул Андрей, трех дней ему хватило бы — день туда, день там и день обратно. Один выходной, и на два отпроситься. Нужна была причина, и он придумал: друг прислал телеграмму, что его призвали служить и везут на Дальний Восток. В Тайшете они могут увидаться. Так он и объяснил начальнику депо. Для большей убедительности Андрей мог бы сказать, что друг должен ему что-нибудь передать, но он не догадался. «Учились вместе, — бормотал он, — понимаете? Обязательно надо...» Он так отчетливо представлял себе эше-

лон теплушек, толпу стриженных призывников и среди них добродушного своего друга, что и сам в какой-то момент этому поверил.

— Работаете без году неделю, а уже просите отгул, — удивился начальник, но отпустил. — Заодно кисти маховые посмотрите.

И наутро Андрей с великими предосторожностями, чтоб не заметил кто из деповских, сел на товарняк и отправился — только не на запад, к Тайшету, а в противоположную сторону...

В Братск он, как и ожидал, приехал поздно ночью. Его поразило, что вокзальчик здесь такой же маленький, как в Чуне. Выяснилось, что этот Братск — всего лишь железнодорожная станция, а стройка в тридцати километрах отсюда. Автобусы уже не ходили. «К утру буду там», — решил Андрей и пошел пешком. Дорога была непривычно широкая, плотная, над ней, не развеиваясь, стоял запах отработанного бензина, наводивший на мысль о множестве прошедших здесь днем тяжелых машин. Через некоторое время дорога спустилась под гору и разделилась на две. Андрей искал в темноте какой-нибудь указатель и не увидел, прошел немного по одной, потом по другой дороге — они выглядели совершенно одинаковыми. Спросить было не у кого, пришлось вернуться. В вокзальчик набилось полно народу, остаток ночи Андрей бродил вокруг, изредка заходя внутрь погреться. С первым автобусом он уехал, успел еще отметить, что на развилке повернули налево, а потом задремал и не видел дороги в Братск.

...Кондукторша объявила «Падун», он встрепенулся и выскочил из автобуса. Но и это не стройка была, а старая деревня. Зато река оказалась поблизости, за деревьями. Андрей хотел бежать сначала к ней, но остановился: надо было, не теряя времени, искать ГЭС. Впереди, километрах в двух, виднелся поселок. По пути туда Андрей миновал высокую деревянную арку с надписью «Привет строителям Братска!». У обочины на большом фанерном щите был нарисован молодой парень в брезентовой робе. Жизнерадостно улыбаясь, он указывал рукой на треугольнички сопок, среди которых высились подъемные краны. Андрей заключил, что идет правильно.

Поселок показался ему очень красивым, дома поднимались по высокому зеленому склону. На улицах было оживленно, Андрей застал тот час, когда все спешили на работу. Он обратил внимание, что к остановкам, кроме автобусов, то и дело подъезжают крытые грузовые машины и большинство людей кидается к ним. Сел и Андрей на такую машину. Он думал, что будет последним, и собрался висеть на лесенке, так плотно стоял перед ним народ, но сзади, уже на ходу, прыгали еще и еще, нажимали, и постепенно он оказался в середине ящика. Никто не ворчал, не бранился, наоборот, все вроде бы радовались этой давке. Человек, к которому все сильнее притискивали Андрея, только покрывал при каждом толчке. Чувствовалось, что дорога идет все время в гору.

Подъем кончился, машина остановилась, все повысыпали и мгновенно разбежались. Андрей огляделся. Он стоял на вершине сопки, на прямой широкой улице, уставленной светлыми двухэтажными домами. Сразу за ними был лес, наполовину вырубленный, сквозь него также просвечивали дома. В лесу завывали бензопилы, слышался треск падающих деревьев, и следом начинали тюкать топоры — обрубали сучья. Здесь поселок только строился и обещал быть еще красивее, чем внизу. Из ближнего дома выскочили веселые молодые ребята, чем-то очень похожие — спецовками, наверное, — на того, нарисованного. С криками и смехом погрузились они в машину и укатили в ту сторону, откуда Андрей приехал. Никто здесь не ходил спокойно, все бежали, догоняли, прыгали, спрыгивали, и лицо у каждого было такое, словно не на работу он торопился, а, к примеру, в клуб или к кому-то на день рождения. Так показалось тогда Андрею.

Ему непременно хотелось попасть туда, где возводили саму плотину. Он решил не доверять больше машинам и спрашивать ни у кого не стал. «Где-то она здесь, — сказал он себе. — Надо спуститься к реке». Андрей отправился обратно, по дороге, а когда она повернула направо, к нижнему поселку, пошел напрямик через лес. Тут он был еще не тронут — островок настоящей тайги. Склон все понижался, а реки не было видно, и вдруг Андрей очутился над обрывом. Да — ведь должны быть скалы, как же он забыл! Ангара оказалась

прямо под ним, далеко внизу, и противоположный берег был такой же отвесный. Справа широкая и гладкая поверхность реки как-то странно дробилась и сверкала на солнце, будто шевелящееся битое стекло. «Пороги!» — догадался он.

Под скалами на той стороне, как раз против места, где стоял Андрей, был выгорожен котлован, заполненный водой. Мощными струями она выливалась в реку через две трубы, торчащие из продольной перемычки. Вдоль берега к котловану вела длинная насыпная дорога, по которой двигались три или четыре самосвала. Первый уже въезжал на перемычку, последний только показался вдали, из-за поворота. Два громадных двадцатипятитонных «МАЗа» медленно ходили по перемычке взад-вперед, укатывали сыпавшийся грунт. В разных местах котлована виднелось несколько человеческих фигурок. Вверху, на скале, ковырялся одинокий экскаватор. Вот и все движение, которое Андрей заметил, и в первые минуты был разочарован: он ожидал, что уж где-где, а здесь-то кипит работа, что большинство этих людей, которых он видел только что на улицах, торопятся именно сюда, в «сердце» стройки, и сюда же двигается нескончаемый поток машин, и толпятся здесь гигантские экскаваторы и подъемные краны, и прямо на глазах, под рев моторов, грохот механизмов и веселые крики подбадривающих друг друга строителей вырастает ГЭС...

«Но она еще закипит, все только начинается», — объяснил себе Андрей и даже порадовался, что застал самое начало. Он вспомнил Чуну и усмехнулся — настолько жизнь там представлялась теперь неинтересной, даже убогой в сравнении с этой жизнью. Вот где надо было жить! Он позавидовал тем ребятам, что садились наверху в машину, вообразил среди них себя — такого же веселого и беспечного, как они, — и снова, как и в школе бывало, устыдился своих одиноких сомнений. «Да, жить здесь, работать, вываливаться по утрам вместе со всеми из общаги, радоваться толкотне в кузове, а главное, видеть, как постепенно воплощается грандиозный замысел, от начала и до конца...»

Неожиданная эта мысль вдруг показалась Андрею легко осуществимой. Все очень просто: надо сейчас же, не откладывая,

подыскать здесь работу, договориться, потом уволиться в Чуне и вернуться. Он поскорее пошел вдоль обрыва к поселку. Скалы становились все ниже и отступали от реки. Под ними, на берегу, появились домики. Между камнями увидел Андрей тропинку, которая привела его к спуску. Ему повезло: внизу он сразу наткнулся на домик с вывеской «Геологическая экспедиция». Рядом висело объявление «Требуются...», и в конце длинного перечня специальностей отыскал он для себя подходящую — «рабочие на буровые работы». В конторе Андрей никого не застал — пока он бродил по сопкам, подошло время обеда. Он вышел к реке. У него был хлеб, и он съел его, запив водой прямо из Ангары. Потом решил снова — теперь понизу — дойти до того места против котлована. Снова начали уходить вверх и подступать к реке скалы и наконец совсем придвинулись, обрываясь в воду. Дальше пройти нельзя было. Здесь, прямо на каменной отвесной стене, увидел Андрей множество надписей: и старых, полустершихся, и свежих, нанесенных масляной краской. Одна, очень давняя, гласила, что пароход «Щетинкин» такого-то дня такого-то года преодолел Падунские пороги. И катер «Орел» смог это сделать. Бросалась в глаза также большая молниеобразная стрела, под которой было написано: «Здесь будет Братская ГЭС». Оставляли на этих скалах о себе память и целые геологические партии, и отдельные люди — все они как бы чувствовали значительность этого места. Чувствовал и Андрей, но понимал с каким-то восторгом, что будь у него под рукой даже ведро с краской, он не стал бы сейчас расписываться, не имел бы права. Ведь эти люди не просто здесь побывали — они работали, терпели лишения, рисковали жизнью, побеждали! Но скоро и у него такое право будет.

Беспокоила его впрочем одна вещь: вдруг он сообразил, что не проработал срока, указанного в договоре, следовательно, чтобы уволиться, надо вернуть подъемные. Даже если экономить, жить по-прежнему на триста рублей, а двести откладывать, на это потребуется несколько месяцев. Те двести родительских могли бы, конечно, ускорить, но это невозможно, это означало бы, что он не выдержал, не смог жить самостоятельно... Представился ему, правда,

пока он ходил по берегу, еще один вариант, и Андрей очень на него надеялся.

В конторе ему сказали, что начальник экспедиции улетел с докладом в Москву, а по вопросам трудоустройства принимает его заместитель Шорохов. Андрей пошел к заместителю.

— Насчет работы? — переспросил тот. — Какая специальность?

— Никакой... Но буровым рабочим я, наверное, смог бы... Вообще-то я маляр и плотник, — вспомнив, добавил Андрей.

— Строители нам пока не нужны, а буровики нужны. Пиши заявление и — в отдел кадров.

Пора было приступить к своей идее.

— Мне надо прежде уволиться, я работаю, — начал Андрей.

— Где?

— На железной дороге, в Чуне, полтораста километров отсюда...

— Так увольняйся, — улыбнулся Шорохов.

Был он здоровым мужчиной с полным, гладким лицом, светлой вьющейся шевелюрой, светлыми немигающими глазами. Голос его рокотал, сам он небрежно сидел в кресле — вот протянул руку, взял папиросу, постучал мундштуком, сунул в рот, той же рукой, не удастая пустить в ход другую, прижал к столу коробок со спичками и чиркнул — видно, что наслаждался каждым своим ленивым уверенным движением. Но все это потом восстанавливала неприятная Андреева память, а в тот момент был он сосредоточен на своей мысли и стремился получше ее объяснить.

— Я там по оргнабору, а срок не истек. Мне надо деньги вернуть, я верну, конечно, но не скоро, месяца через три только... Я хотел спросить: может, вы, экспедиция то есть, заплатите за меня, чтоб побыстрее, а потом удержите, из первой же зарплаты! Я и расписку могу написать, и паспорт оставить...

Некоторое время замначальника рассматривал Андрея с веселой улыбкой, и улыбка эта ободрила его. Сейчас ему скажут: «Чудак! Ты знаешь, куда приехал? Это же Братская ГЭС! Конечно же, заплатим, какой может быть разговор!»

— Нет, мы так не делаем, — ответил Шорохов. — Рассчитывайся у себя на железной дороге и приезжай.

— Ну, извините. До свидания, — сказал Андрей.

Надежды его рухнули. Он вышел, твердя себе: «Все равно как-то надо... все равно что-то надо придумать», — и тут еще одно соображение пришло ему в голову. Зря он сказал про три месяца, конечно, они столько ждать не будут, кого-нибудь возьмут. Он вернулся.

— Я постараюсь побыстрее, через месяц приехать, у вас места еще останутся?

— Трудно сказать, — еще больше развеселился Шорохов. — Но я буду иметь в виду. Одно место я обещаю...

Нигде больше ходить и смотреть Андрей не стал, поехал сразу на станцию. «Если откладывать не по двести, а по двести пятьдесят или триста рублей...» — высчитывал он по дороге. Нет, никак меньше двух месяцев не получалось. Да за это время с ума можно было сойти. Жизнь в Чуне представлялась ему теперь невозможной. Несколько пустынных улиц, унылое общежитие, пьяные кочегары, дикие и нелепые их ссоры... Но выхода не было, он только вновь и вновь производил нехитрый арифметический подсчет и все больше мрачнел, пока не сказал себе вдруг: «Да что ж это я? Искать испытания и вот, когда оно представилось, — не настоящее даже испытание, а жалкое подобие его, — так сразу упасть духом?! Ведь если мне действительно нужно в Братск, то так или иначе я туда попаду, не останусь же на всю жизнь в этой проклятой Чуне! Вот приеду и что-нибудь придумаю...» И с этой бодрой верой, которую не раз потом обнаруживал в себе перед самыми, казалось, неодолимыми препятствиями, Андрей уехал из Братска.

Вечером стало довольно прохладно, дождь накрапывал, и Андрей пожалел, что выбрал тормоз по ходу поезда, впереди вагона, — надо бы с обратной стороны, чтобы вагон защищал от ветра. На первой же короткой остановке, «у столба», побежал он вдоль товарняка, нашел такой тормоз, вскочил и увидел на откидном сиденье сгорбленную фигуру. Попутчиков он не любил, да делать было нечего, поезд тронулся. Человек закутался с головой и не двигался, — видно, тоже озяб.

— Здорово, друг! Далеко ли едешь? — крикнул в Андрее тот, «свойский». Несмотря на борьбу с ним, он время от времени все-таки объявлялся.

— Домой, — невнятно ответил голос.

— А где дом?

— В Воронеже.

— Ничего себе путешествие! Из Братска?

— С Лены.

— Лучше маленький Ташкент, чем большая Сибирь, да? — продолжал кричать тот же «свойский».

Человек не ответил на сей раз, и что-то в его неподвижной фигуре, в невнятном голосе насторожило Андрея.

— Ты что, заболел, друг? — Он наклонился к самому лицу сидящего, плохо различимому в сумерках, и увидел, что это женщина. И тотчас «свойский» ретировался.

— Может, вы плохо себя чувствуете? — повторил Андрей.

Женщина вдруг заговорила. Наклонясь, он вслушивался в тихий ее рассказ, и хотя не все разобрал за грохотом поезда, но понял, что нанялась она в навигацию на какую-то баржу, которая грузы перевозила на север, сопровождала эти грузы артель мужиков, они ее и подрядили. Ласковые такие, веселые были мужики, все шутили: хозяйкой будешь... Поварихи им не полагалось, но они договорились скинуться и заплатить ей из своих денег, хорошо пообещали заплатить. Она им и готовила, и стирала, и убирала за ними, как условились, а они начали издеваться, делали с ней что хотели... В Якутске они ее ссадили, денег не дали ни рубля, были у нее кое-какие вещи, она их продала и на эти деньги вернулась в Усть-Кут, а теперь вот вторые сутки на этом товарняке... Так что поглядела она на Сибирь...

Какое-то время Андрей, растерявшись, молчал.

— Как же... почему вы в милицию не заявили?! — воскликнул он.

— Они пригрозили, что, если пожалуюсь, они все скажут, что в глаза меня не видали... Я же буду и виновата. Таких, как ты, февралей, здесь знаешь сколько...

«Дедушка, ... меня, я — февраль!» — вспомнил Андрей старика-вербованного, и вдруг ему открылась вся мстительная злоба этой поговорки... Вот эта женщина, значит, и есть «февраль». Что мог он для нее сделать? В авоське у него была купленная в дорогу еда: буханка хлеба, кольцо колбасы полукопченой и банка сгущенки. Он отдал ей все это.

— Спасибо, — сказала женщина и стала есть...

Андрей сел на пол у ее ног. Поезд гремел и несся в крошечной тьме. Иногда то справа, то слева от дороги, то поодаль, то совсем близко вспыхивал во мраке сильный мертвенный свет прожекторов, выхватывая высокий забор, длинные приземистые строения. Там спали... Представил Андрей что-то вроде теплушки, вроде той, в которой поселили их по приезду в Чуну, только бесконечно длинной, тесные клеточки-купе на четверых, и в этих клеточках, в духоте, скорчившись на полках, спали люди в неестественных, напряженных позах — свет прожектора не отпускал их... «Ну пусть каждый из них в свое время украл, убил, надругался и теперь заслуженно искупает... но ведь и это все — несчастье!» — думал Андрей. Воодушевление, с которым он уезжал из Братска, исчезло, и сомнения с еще большей силой возродились в нем. Великая стройка, нарядные поселки, веселое оживление на улицах, и вот эта женщина, и Чуна, и этот мертвенный свет — да как же все это может сосуществовать, какая же из этих жизней истинная. а какая поддельная, ибо не мог он допустить, чтобы истинными были обе сразу. Женщина была тут, рядом, но и свой собственный восторг на скале он помнил. Смеющаяся орава молодых парней и девушек, которым он позавидовал, все стояла перед его взором. «Хорошо вам там смеяться, всем вместе, — подумал он с внезапным озлоблением, — ну, а попали бы по одиночке в Чуну или к тому зверью на Лену, так, наверное, забыли бы, как смеяться...»

Женщина поела и вновь замерла на своем сиденье. Натянув на голову куртку и уткнув лицо в колени, не двигался и Андрей. Перед рассветом он задремал и очнулся, когда уже въезжали в Чуну. Состав тянулся медленно и остановился без толчков.

— Ну вот я и приехал, — сказал Андрей.

Женщина сдвинула платок, и он увидел ее молодое черноебровое лицо. По голосу представлял он ее гораздо старше. Она показала на остатки еды.

— Вам пригодится, — ответил Андрей.

Он спрыгнул, женщина осталась сидеть.

— Не бойтесь, — сказал он, — здесь будет долго стоять.

Она покачала головой. Так бы и сидела она, не шелохнувшись, до самого Воронежа, лишь бы везли.

— Да, а как же вы по трассе-то поедете? — вспомнил Андрей. — Это здесь, до Тайшета, свободно, а там строго...

Женщина слабо улыбнулась:

— Не знаю. Как-нибудь...

Он махнул ей рукой и побрел к себе в общежитие.

## 5

Никогда еще он не чувствовал такой тоски, такого отчаяния. Потом ему даже смешно было вспоминать: из-за чего он мог так упасть духом?! Ну уехал бы он не сразу, а через два-три месяца, ну вообще бы не уехал из Чуны — ничего ужасного тут не было, если подумать. Но, видно, была это первая, самая болезненная реакция на то, что желанию его не суждено осуществиться мгновенно. А может, понадобились ему тогда эти растерянность, безнадежность, разочарование как горькое лекарство. Долго копившееся раздражение, ненависть его к себе высвободились. Все, что он делал, видел, вспоминал, обращалось теперь против него же. Вот он еще в Москве мечтал попасть на Ангару, преодолел несколько тысяч километров и не доехал какой-то сотни. И это был знак, прямое доказательство того, что и вся его жизнь будет напрасной: пусть чуть-чуть, пусть совсем немного останется, а не достигь ему главной цели... А вот в школе, занимается он в лыжной секции, бегут они все вокруг стадиона, и пробежать надо целых пять километров, почти тринадцать кругов. Держатся поначалу кучей: впереди несколько признанных, хороших бегунов, остальные привычно трусят сзади, стараясь не отстать и обгонять не смея. Где-то в середине толпы и Андрей, и вдруг,

повинуясь какому-то мгновенному чувству протеста, неожиданно для себя он вырывается и уходит далеко вперед. Несколько кругов он бежит один, видя своих товарищей уже не сзади себя, а впереди. Пробегая мимо тренера, он хочет показать, что не устал, вернее, не хочет показать, что устал, и тренер замечает: «Свободнее, свободнее беги, не прыгай!». И вот — от кучи бегущих впереди начинают отрываться те несколько признанных, постепенно теряются из виду, заходят сзади и перед финишем один за другим обгоняют его... И это внезапное воспоминание также становилось для Андрея символом бесполезности, никчемности его жизни. «Так было, так будет и впредь, — с отчаянием говорил он себе. — Сейчас я вырвался, потом отстану, уже начинаю отставать...» И снова воображал подошедший поезд, себя в тени амбара на базарной площади и друга, только все смешалось в этой картине: был он не спокойным, уверенным в себе, но каким-то жалким, опустившимся, словом, п о г и б ш и м — в его терминологии, а уверенным и спокойным выглядел его друг, и был он не в пижаме, а в брезентовой робе, как на ребятах в Братске, и глядел на Андрея теперь с законным сожалением... Да что — друг, даже в знакомых вербованных, приезжавших иногда с разъезда в поселок, произошла перемена, не осталось на их обветренных, загорелых лицах и следа той робости, настороженности, с которой тогда, майским холодным днем, выгрузились в Чуне, — чувствовалась в них, в их рассказах о своей работе и жизни какая-то небрежная, снисходительная сила...

«Постой, а почему “даже”, почему “даже в вербованных”? — спохватывался Андрей. — Что ж они, заведомо хуже тебя, что ли? И выходит, прав Денис, что ты всех тут презираешь?!» И с упоением начинал он рассматривать это новое обвинение против себя. «Да, презираешь, презирал, просто не было смелости честно признаться, а за что, с какой такой высоты, когда ты сам бесконечно хуже их всех! Ведь то, что живут они без главной цели, еще не значит, что не хотят к ней стремиться, — просто не знают о ней, а ты знал, стремился и не достиг. А вот они, может быть, и достигли бы, если бы знали...»

Он вспоминал все свои самоограничения, борьбу, мелкие победы, тайную гордость. «Есть что-то высокомерное и нечестное в

одиноким стремлении к идеалу, в молчаливом сознании своего превосходства, тем более мнимого... Ты с самого начала был в лучшем положении, чем они. Нет, сделайся как они, а потом выбейся, тогда сможешь и осуждать их — если захочешь!»

Он попытался сделаться как они. В чем могло выразиться это смирение? Теперь по вечерам Андрей вместе со всеми не спал, дождался Славика из пекарни. Однажды он даже принял приглашение Степана Аркадьевича — старика, похожего на американского пионера, — пойти за хлебом в столовую. Голос старика, высокий и какой-то жалостный, не соответствовал его внешности. И еще он вместо «есть» говорил «кушать». Раньше Андрею одного этого голоса, одного слова «кушать» было бы достаточно, чтобы... Степан Аркадьевич захватил небольшой мешок и по дороге наставлял Андрея, что ему делать, — видимо, не раз так промышлял. Не сводя глаз с раздаточного окна, пятился он к столу, на котором стояла тарелка с хлебом, улучив момент, поворачивался и быстро высыпал хлеб в мешок, а Андрей в этот момент загоразивал его...

Одиноким побегов на товарняках Андрей больше не совершал, после работы ходил с ребятами в клуб и постоять к пассажирскому. Попробовал он начать пить, правда, тайком, потому что нестерпимо было ему представить довольную Денисову ухмылку. Как-то вечером купил он в магазине бутылку дешевого отвратительного вина и, отойдя за угол в темноту, заставил себя опорожнить ее всю, прямо из горлышка. Он ждал какого-то мгновенного и полного преобразования, окончательного избавления от своего мрачного «я», ждал, что придут к нему знакомые в других бесшабашное веселье и удаль, но этого не произошло, — наоборот, сделался он еще угрюмее, и еще лучше, четче заработала саморазоблачающая мысль. «Бесполезно все, — сказал он себе устало. — Они делают так, не думая, просто потому что хотят, а ты всегда будешь помнить, что делаешь так нарочно... Они ждут Славика, потому что хотят есть, и ты тоже хочешь и ждешь, но ты всегда оставляешь лазейку для своей гордости, помнишь, что мог бы и не ждать...» Он честно прислушивался к этому немолчному голосу внутри себя, не умея ему возразить, а главное, не зная пока, что в некоторых случаях и не-

возможно и не надо ему возражать. Так и не мог он впоследствии представить, чем разрешились бы его чунские сомнения, когда бы не Анфилов.

Об Анфилове Андрей услышал впервые от ребят.

— А тут твой земляк объявился, тоже москвич...

На минуту вообразил он себе своего сверстника, может быть даже со схожими мыслями, планами, и ощутил некое злорадство: пусть же теперь узнает, прочувствует, что такое «настоящая школа жизни». Через несколько дней Андрей увидел его: шел «земляк», должно быть на работу, в новеньком чистом комбинезоне и с авоськой, вместо обычного для кочегаров металлического сундучка. Было ему лет около тридцати, следовательно, и речи не могло быть о схожих мыслях и чувствах. Да если бы и ровесником он оказался, и двойником, в известном смысле, все равно — мимолетным в Андрее было то злорадство, не было ему тогда ни до кого дела.

Однажды вечером, вернувшись после одинокого блуждания по поселку, застал Андрей в комнате непривычное многолюдье, а в центре соборища, на Андреевой кровати лежал — правда, полулежал, не с ногами — новенький и что-то рассказывал.

— Это твоя? Извини, — приподнялся он было, уловив взгляд Андрея, но Андрей сказал: «Ничего, лежи», взял только книгу из-под подушки, идти на кухню к Абрамовне и читать.

— А ты останься, послушай, — посоветовал ему вслед этот человек. — Тебе пригодится.

«Да что теперь может мне пригодиться?!» — машинально, словно бы отвечая своему голосу, подумал Андрей и вдруг поразился: ведь незнакомым человеком сказано было так, будто он давно знает Андрея и знает, что именно ему пригодится. И не просто «послушай, пригодится» сказал он, а «тебе пригодится», выделив тем самым Андрея среди прочих собравшихся, которые могли слушать или не слушать, все равно, а ему, Андрею, надо слушать, ему пригодится.

Он присел на кровать, обдумывая все это, а Анфилов между тем продолжал:

— ...да, и подался сразу в Москву, пожил с недельку, и тут они меня засекали, пришли прямо на квартиру. Я, конечно, делаю серьезную морду и говорю: «Раз меня освободили, значит, поверили, что я теперь ничего такого не сделаю, а если уж верить, то до конца. Если человеку до конца не верить, то он возьмет и что-нибудь сотворит нарочно, назло...» Они говорят: «Давай, давай, нам же спокойней будет, когда ты опять туда попадешь». — «Я знаю, что вам спокойней, — отвечаю, — так вот хрен вам в рот, не дождетесь, мне бы только возле своих родителей тихонько жить, беречь их старость!» — «Поздно же ты о родителях подумал, — они говорят, — а то, что поумнел, молодец, это нам и надо!» Словом, на все у них ответ, я разозлился, терять нечего, и леплю: «У нас человек свободен, а по-вашему свобода выходит, знаете что? — о п о з н а н н а я необходимость». И еще поясняю: «Все думали — свобода, поймали, опознали — оказалась необходимость...» Они посмеялись: «Мы знаем, ты парень грамотный, начитанный, ты, наверное, не только читать, но и писать умеешь? Так вот, пиши: я, такой-то, обязуюсь, чтоб и духу моего не было в Москве, в противном случае... и т.д.». Ну, не буквально, но в этом смысле. Так и пришлось мне срочно сматываться на свой счет, пока не вывезли на казенный... Да... А известно вам, что значит «без последнего»? Это — когда у выхода из барака встают два вот таких лба вот с такими дрынами...

И тут начались какие-то смешные истории, сюжеты которых до Андрея, из-за волновавших его соображений, плохо доходили: мелькали там то и дело бараки... кто-то пилы чужие продал... кореш какой-то, необыкновенной силы и бесстрашия, залетал в барак, один против всех, и понес хлестать... а Арон Израилевич, бухгалтер, тоже зек, прихватил эту линейку бумажкой, вот так, и — в окошко... а молодой такой мальчик, доверчивый, и мы ему говорим: «Ты что, еще не сфотографировался?! Все ребята уже сфотографировались. Беги скорей вон в тот сарай, попроси Ивана, только тихо», тот прибегает, Иван так серьезно: «Фотографироваться? Это можно...» Поворачивается к нему ж..., снимает штаны... Тот бежит обратно, чуть не плачет от обиды: «Суки вы!»...

Рассказывал Анфилов артистически, представлял в лицах. Ребята ржали. Хорошо улавливал Андрей одно: торжествовали неизменно в этих анекдотах сила без жалости, жестокость без раскаяния, смех без доброты — и Анфилов ни словом, ни взглядом, ни интонацией не обнаруживал, что порицает это. «Главный принцип лагерной жизни, — заключал он. — Голый голого .... и кричит: не рви рубаху!» И никогда не мог потом Андрей объяснить, отчего не отвратил его сразу этот веселый и наглый цинизм, — напротив, он даже смеялся сочувственно вместе со всеми... Может, причина была в тогдашнем его сознании, что «все равно сам он хуже всех бесконечно», или предупрежден, обезоружен был словами, что все это ему пригодится, а уж как и зачем пригодится, выяснится после, надо потерпеть, а может, чувствовал он уже тогда, что это не все, что это так, для публики, а потом, отдельно для него, будет главная история, которая все разъяснит и оправдает. И действительно, главная история была, но твердо Андрей помнил, что окончательно доверился Анфилову не после нее, а заранее, в первом же разговоре...

На другой день Анфилов сам подошел к Андрею.

— Ребята говорят, ты в Братск ездил? Ну, и как там?

— Что — как?

— А... ну да, — Анфилов вроде что-то припомнил. — Как там вообще?

Но и Андрей понял анфиловскую иронию, хотя и тени ее не уловил на его серьезном лице, и вдруг захотелось ему предстать деловым человеком.

— Работы там, по-моему, навалом, и я уж в одном месте договорился... Правда, насчет заработка не узнавал, — признался он.

— Да что — заработок! Не в энтим счастье! — воскликнул Анфилов. — Главное — место! Стройка — это такое место! Вот я на Обгэс работал, как освободился... Народу до черта, и все вроде знакомые, и все равны, и никто ни к кому в душу не лезет... А эту Чуну я сразу понял. Домики, занавесочки, заборчики, грядочки... Обжились все. Человек человеку — друг, товарищ и волк родной. Машинист мой в поездку с термосом шей приходит и вот с таким

куском сала. А у меня денег нет, не заработал еще. Знаешь, бывает такое состояньице, когда каждый, кто при тебе ест, — твой личный враг?!

— Да-да, — сказал Андрей.

— Ну вот... Хорошо — Иван, помощник, делится своей краюхой хлеба. Да... Машинист этот пожрет и начинает интересоваться — кто ты, да откуда, где был, что видел. Лениво так, одолжение тебе делает, что с тобой говорит. И правильно! Кто ты для него? У тебя один комбинезон, да и тот казенный, а у него мотоцикл в сарае под тремя замками, он на нем по праздникам в гости к соседу ездит, за двадцать метров...

— Да-да, — снова горячо сказал Андрей. Все это казалось ему ужасно верным.

— А ребята? — продолжал Анфилов свои обличения. — Молодые, здоровые, загнивают в этом болоте, жизни не видят и не хотят. Они тут по нескольку лет уже, а в Братске, даже из любопытства, никто не был, я спрашивал. Сутки на бочке с дымом отъездыт, проспятся, вечером куда? К пассажирскому! Поятоят возле поезда и снова спать... В комнате со мной Миша живет, тоже уникам. Зеркальце достанет, на койку ляжет и смотритса — час, два... Подходит както: «Игорь, посмотри, хороший я одеколон купил?» — «Сейчас», — говорю. Взял стакан, вытряхнул туда весь флакон, вжарил, отвечаю: «Ничего, Миша, хороший». Он своими белыми ресницами похлопал и поскорее так отошел. Я говорю: «В другой раз засомневаешься, тащи, я определяю...» Тут один Иван — стоящий парень, ты к нему присмотрись. Он мне порассказал о своей жизни, кое-что он соображает... Я, разумеется, тебя заранее исключаю, когда говорю «один Иван», — вдруг, перебив себя, доверительно сказал Анфилов. — Я тебе это все потому говорю, что знаю: ты поймешь. Ты меня сразу заинтересовал: энергичный, думаю, малый, не понравилось в Чуне, поехал, разведал, договорился... Это по мне. Я что предлагаю: добробатываем с тобой до получки, рассчитываемся и двигаем вместе! Я ведь и хотел с самого начала в Братск, да два кореша попались, попутчики, забулдыги несчастные, подпил я с ними: сходи, говорят, в Чуне, место — во! и заработки — во! Ну я и слез по пьянке... Да я

в гробу видел это место и эти заработки, когда даже в сортир стучат: «Анфилов, в поездку!»... Ну, как тебе мой план?

— Не смогу я, — с горечью ответил Андрей.

Доверительность анфиловского тона его подкупила — раз Анфилов уверен, что он поймет, то и Андрей надеется, что Анфилов поймет, — и он рассказал ему все, чего до сих пор никому не рассказывал: про бегство из Москвы, забор, поездки на товарняках, мечту о Братске, про договор и даже про деньги родительские, объяснив, отчего нельзя их тратить.

Анфилов действительно понимал, слушал с сочувственной мордой, а под конец развеселился.

— Было у отца три сына: двое умных, а третий — вербованный! Шучу, шучу, — быстро добавил он, уловив вопрошающий взгляд Андрея. — Это я к тому, что не следовало вербоваться. Ты что, один не доехал бы? Да я куда угодно отправлюсь с зубной только щеткой и не пропаду! А насчет денег я сам такой... То есть я вовсе даже не такой, — заржал он и тотчас стал опять предельно серьезным.

Андрей смотрел, привыкая, на эту мгновенную перемену настроений.

— Но мне кажется, тут есть один выход, — начал Анфилов с постановкой. — Ты мне сейчас одалживаешь эти деньги — я-то могу ими воспользоваться, так? А в день платежа я их возвращаю и сам тебе одалживаю, чтобы ты раз.....ся со своей конторой, понял? Сегодня ты меня выручаешь, а завтра я тебя под монастырь подвожу! И волки, мы то есть сыты, и принципы твои целы! Шучу, шучу... Нет, серьезно, все честно выходит...

Выходило, кажется, не совсем честно, что-то все-таки, чувствовал Андрей, было в анфиловских рассуждениях не так, но его, привыкшего к мучительным одиноким раздумьям, завораживала, увлекала эта, доселе неведомая, стремительная энергия и легкость. «Вот, — сказал он себе, — человек сидел и, видимо, по-настоящему был несчастен, но он не замкнулся, не озлобился, не погиб, вопреки Денисовым представлениям, — наоборот, бодр, весел, общителен, полон энергии... А ты так непозволительно распустился!» И это был, кажется, последний раз, когда он подумал о себе, перемолвил-

ся со своим внутренним голосом, и с той поры надолго исчез его незримый, назойливый собеседник. Союз с Анфиловым был заключен, оставалось теперь ждать недалекого уже дня отъезда и... слушать, наблюдать, осмысливать Анфилова.

И осмысливать было что. Ну вот хотя бы день аванса — нет, не зарплаты, а всего лишь аванса, две недели еще до отъезда, — и все они веселой компанией сидят в столовой, сдвинули два стола, принесли с собой и распивают спиртные напитки, и сам черт им не брат, впрочем, отчего ж — не брат, именно что брат! Анфилов, конечно, во главе, врет что-то для всех и Андрею успевает шепнуть отдельно: «Замечаю я, друг, у тебя ни в одном глазу после двух-то стаканов, да я и сам так начинал когда-то, что значит — организм не отравлен!» — и Андрей польщен, смотрит только на Анфилова, а Анфилов дальше старается для всех, и все свои хлебрезки пораскрывали, готовы смеяться или грустить по одному его знаку... Но тут, прервав себя на полуслове, он вдруг встает, все прослеживают куда, ага, к кассе, еще что-то хочет взять человек, и отворачиваются, и один Андрей видит, как Анфилов направляется к незнакомому, давно не бритому малому в стеганке, одиноко сидящему в дальнем углу за пустым столом, отдает ему чеки и тут же отходит, а малый, вскинув глаза на Анфилова, — никому и никогда не вычленить, чего и сколько намешалось в том взгляде! — медлит еще и бредет с этими чеками к раздаточному окну... Или вот возвращаются они с Анфиловым из магазина в свой барак-общагу, и пройти надо, как обычно, через базарную площадь, а туда в этот день пригнали зеков, подремонтировать чего-то в вокзальчике. Устроили, конечно, зону временную — колышки позабывали, «запретки», солдаты встали вокруг, караулят... Андрей по рассеянности не заметил сначала эти «запретки», увидел только, что он уже внутри зоны. Хотел вернуться, но охранник махнул разрешающе: «Ладно, проходи себе»... С любопытством ступал Андрей по обособившемуся клочку земли: двое молодых ребят копали яму, двое постарше тащили носилки, прямо на него, он посторонился и услышал, как первый, глядя перед собой, скороговоркой пробормотал: «Так и пройдешь, друг?» Снова, как и на поездках бывало, почувствовал Андрей себя виноватым —

не было у него ничего. Сумку-то с продуктами нес Анфилов. «Господи, хотя бы знать заранее, или начать курить, что ли!»... Вышел за зону, там всего-то шагов пятьдесят, оглянулся: Анфилов замешкался и догонял. Андрея поразило необычное, какое-то восторженное выражение его лица.

— Ну, Андрей, натерпелся я страху! — зашептал он. — Ты себе топаешь впереди, как ни в чем не бывало... а я... сзади маюсь, думаю, сейчас ты выйдешь, а мне: «Куда, падло?!», или просто влепит промеж лопаток, и оглянуться боюсь: ну вот сейчас, сейчас...

— Да что ж он, не видел, как мы вошли, он же сам разрешил?!

— Все так, все так, но... померещилось мне, понимаешь... попробуй, походи восемь лет под конвоем... будто и не освобожден, будто приснилось мне все это! — с тем же непонятным восторгом объяснял Анфилов. И другим, уже спокойным голосом заключил:

— Ладно, обратно я теперь не пойду, ты один сходи.

— Куда обратно-то?! — раздражаясь, что ничего не понимает, воскликнул Андрей.

Анфилов засмеялся.

— В магазин. Пачечку чая и курево я сунул все-таки тому другу...

«Ну, хорошо, померещилось ему, — рассуждал после Андрей. — Это может быть... Или: чай отдал... Тоже понятно. И я бы отдал, если б у меня был. Но ведь тут элементарное хладнокровие нужно, а откуда же оно у него, если так напугался? По отдельности это возможно, но вместе? А может, он все это придумал? Да нет, с чего бы ему придумывать, да и не придумаешь так нарочно, мне ведь ничего такого в голову не пришло... И еще: если он так испугался, то чему тогда так радовался?!»

Были и другие случаи, но все это, как и предчувствовал Андрей, оказалось лишь предисловием...

В тот день он получил из дому посылку. Была там сухая колбаса, банка шпрот, баночка икры красной, еще что-то и разрезанный пополам и сложенный вдвое большой торт «Сюрприз». Андрей пошел к Анфилову. Тот спал после поездки — как спят в детском саду по-

слушные дети: на боку, подложив ладони под голову. Андрей разбудил его.

— Понимаешь, запретил я им присылать деньги, так они продукты шлют! — сказал он, уверенный, что очень тонко разгадал родительскую хитрость.

— Действительно, черт те что! — поддакнул Анфилов, заглянув в ящик. — Я считаю, что это прямое издевательство с их стороны. Обратное пошлешь?

— Мне кажется, на первый раз можно съесть, но...

— Сделаем так, — оживился Анфилов. — Половину торта Абрамовне, другую — Степан Аркадьичу, остальное — нам! Смягчим, так сказать, свою участь, чистосердечно свалив часть вины на других.

Радуюсь выдумке, они извлекли из-под койки Степана Аркадьевича деревянный облупившийся чемодан, размотали проволочку, скреплявшую петли. Хранился в чемодане кое-какой инструмент и новая железнодорожная фуражка.

— А я думал, у него тут бриллианты... Представляешь рожу старика, когда он случайно заглянет сюда... эдак через полгода?! Торт сухой, не испортится. Вот это в самом деле будет «сюрприз»! — веселился Анфилов.

Потом он сбежал за водкой. Они сели.

— Давай за настоящих москвичей, — предложил Анфилов. — У кого родители — москвичи, кто в Москве родился и в войну ее не оставил. Кроме тех, кто воевал, конечно!

— Мы тоже в Москве в войну были, — сказал Андрей.

— Значит, за нас! А то понаехали теперь вологодские, володимирские, вся эта деревня, и заявляют: «Мы — московские», — нарочно налегая на «о», говорил Анфилов. — А настоящие москвичи сидят в Чуне и в Братск попасть считают за большую удачу!

Чтобы получше выразить презрение к Чуне, он переставил ударение, сказал: в Ч<sup>у</sup>не.

Затем они, по выражению Анфилова, «объяснились друг другу в любви».

— Я вижу, что ты надо мной смеешься, но мне не обидно, потому что это ты. Ты смеешься, но и п о н и м а е ш ь, — объяснял Андрей.

— Что ты, Андрей, я и не думаю смеяться! — горячо возражал Анфилов. — Такого порядочного, справедливого малого, как ты, я еще не встречал. Но ты молодец, я понял! Ты наружно стараешься быть как все. Еще в первый вечер, как ты вошел, а я лежал на твоей койке, я сразу увидел, как тебя слегка повело, но ты и виду не подал! «Лежи, лежи», — сказал. Я тогда же подумал: молодец! Так легче оставаться самим собой, понял? Если ты и наружно остаешься самим собой, все тебя норовят задеть, лезут к тебе в душу. Сделаешься как все — никто и внимания обращать не станет. А внутри-то, для себя — ты прежний, это ясно!.. Здесь еще что, а в лагере иначе не проживешь. Я сам сначала не понимал, лез, нарывался... Слушай, — вдруг перебил себя Анфилов. — Я вижу, что ты не спрашиваешь, да и не спросишь никогда, опять же из честности, но рано или поздно ты все равно узнать должен?!

И вспомнил потом Андрей, что в первый момент, повинувшись неясному предчувствию, он чуть не воскликнул: «Нет!» Но и это было бы нечестно...

## 6

— Не буду я, — так начал Анфилов, — рассказывать тебе всю свою жизнь, расскажу только короткую эту историю, потому что, по сути, она и есть вся моя жизнь, ни до, ни после нее ничего у меня не было... Когда война началась, мне было тринадцать. Отец на фронт ушел, мы с матерью в Москве остались, никуда не уехали. Мать на фабрике работала, я на завод поступил, электриком. О том времени я тоже рассказывать не буду... Году в сорок четвертом, когда стало полегче, мать говорит: «Иди-ка ты, Игорек, доучиваться. Отец вернется, а ты школу закончишь, он рад будет». Тогда как раз школы вечерние открылись, Я пошел — в восьмой, что ли, класс... Ах, Андрей, какой я был малый, — воскликнул Анфилов. — Меня всей улице в пример ставили: вон Игорь — и работает, и учится!

И оказались мы с ней за одной партией. Была она... да не все ли теперь равно, какая она была, видел я поначалу только рассыпавшиеся блестящие волосы, — как сидела она, наклонясь, — иногда

глаз, профиль, лоб чистый... Друг с другом мы не говорили. Но эти первые знаки! Пробормотал я как-то, ни для кого, потихоньку, что вот, мол, черт, писать-то не на чем. И на другой день достает она из портфеля и молча, не глядя, кладет передо мной настоящую чистую тетрадь! Назавтра я сорвал по дороге дубовый листок и тоже молча на парту ей положил. Ну, для другой бы — что листок дубовый, тоже мне подарок, а она его весь вечер берегла и потом в книгу сунула... О, вот эти знаки, эти подробности — у кого они бывают, для того только и имеют значение, ты этого еще не понимаешь, но когда-нибудь поймешь!

— Я понимаю! — вставил Андрей.

— И так постепенно начали мы с ней разговаривать, я ее провожал, и однажды она сказала, что рада, что мы сидим за одной партией...

Жила она в мрачном каменном доме с узкой лестницей — целый строй таких домов стоял вокруг фабрики, из такого же старого, потемневшего кирпича. Родных у нее не было, снимала она комнату у какой-то чужой ей старушки, которая в ней души не чаяла. Старушка эта иногда ночами на фабрике дежурила... И вот, когда в первый раз с нами это случилось, на следующий день занятий не было и в школе увидеться мы не могли. Но я и представить не мог, что я после этого увижу ее только в школе, и сяду молча рядом, и нельзя будет ничего толком сказать! Ведь она черт знает что может подумывать! И на другой же день, после работы, кинулся я к ней. «Кто?» — спросила она и, помедлив, открыла. Меня поразило отчужденное, даже враждебное ее лицо. «Зачем ты пришел?» — спросила она. О, потом я все понял: и ее состояние, и как бы мне надо было себя вести, но тогда — что я знал? И я пробормотал только, что хотел ее видеть. «Зачем?» — снова спросила она. Да если бы я и заранее предвидел такие вопросы, все равно не нашел бы что ответить. Я повернулся и пошел. И дверь за моей спиной сразу закрылась. А накануне ночью стояла она там, и я уходил медленно, ошупью, задирая голову, не отрываясь от ее лица, и все не закрывалась дверь...

В школу я отправился в мрачнейшем настроении, оттого что увижу сейчас ее чужое лицо, и все-таки с небольшой надеждой. Но

оказалось еще хуже, чем я думал: она вообще не пришла. Не пришла она и в другой раз, тут уж я не выдержал, сорвался с уроков и побежал к ней. Она лежала в постели, и старушка хлопотала возле нее. Она была больна! «Это мой товарищ», — представила она меня хозяйке. Того выражения, которого я боялся, не было. Что-то я плел о домашних заданиях, потом старушка ушла к себе, я заплакал и сказал, что люблю ее. «Какая любовь?! Да ты и не знаешь обо мне ничего», — усмехнулась она, но лицо было хорошее. А я говорил, что мне и знать ничего не надо, что достаточно только глаза ее увидеть, чтобы все знать, — ну, в общем, то, что для всех обычный вздор, а для каждого в отдельности в свой черед — святая истина!

После того стало все хорошо, насколько достаёт здесь этого слова, — то есть, веришь ли, потом я думал, ужасался задним числом, что на полгода бы раньше или на полгода позже, и мы бы с нею, может, не заметили бы друг друга — так счастливо мы с ней совпали в счастливое мгновение!.. В школу мы некоторое время еще ходили, бывало, сидим, сидим молча, не глядя друг на друга, но вдруг посмотрим — и на следующем уроке нас уже нету. А потом и совсем перестали ходить. «Так, как с тобой, у меня еще никогда не было, — сказала она как-то и, помолчав, добавила: — А было у меня многое...» Вот так и помещались во мне одновременно: и восторг, и боль...

Поражала меня ее комната: небольшая, почти без мебели, но главное не это — оклеена она была не обоями, а чистой, плотной белой бумагой, и прямо на этой бумаге она рисовала. Забыл я сказать: работала она на той же фабрике художницей, зарисовывала ткани... И вот в первое время, как я узнал ее, был на стене рисунок: женское искаженное лицо, в отчаянии закрытое руками. Лица почти не видно, только пальцы и волосы перемешались, и хотя я не спрашивал, но понимал, что это она себя нарисовала... Прошлая ее жизнь была несчастной: были у нее вроде бы муж и ребенок, но ребенок умер, а муж, кажется, спился. Потом было еще что-то... Я ее о том никогда не спрашивал: знаешь, вот эта боязнь влезть в душу, разбередить, обидеть. Пыталась она как-то сама рассказать, но я оборвал ее в каком-то идиотском восторге, сказал: «Что бы там

ни было, для меня, для моей любви к ней это значения не имеет!» Ну, то есть понятно, что имел я в виду, но ведь она хотела совсем другого... Да, потом лицо со стены исчезло, и появился человек, распятый на кресте. На кладбище я видал распятия, но здесь не Иисус был, да и крест выглядел необычно, в форме буквы «Т». Висел человек, если смотреть, спиной к тебе, с той стороны креста, руки были закинута на перекладину, ноги заведены за столб, и все тело опутано веревками. Голова распятого свешивалась, только затылок виднелся, но страдание можно было определить по напрягшимся мышцам. Рассказала она мне однажды, тихонько смеясь, что подсмотрела, как хозяйка вошла без нее в комнату и крестилась с испугом, глядя на рисунок. Но я уже говорил, что старушка любила ее без памяти и ничему, даже стены расписывать, не препятствовала...

В другой раз она вдруг спросила:

— Знаешь, кто это?

— Кто?

— Ты!

Мне тогда польстило, что она меня рисовала, но и странно, не по себе стало: отчего ж именно на кресте? Она сказала, что так я ей почему-то представился.

Иногда, когда было нам особенно хорошо, вдруг принималась она сетовать, зачем ей не столько же лет, сколько мне, и что чувствует она себя старухой. Да, говорил ли я, что была она на несколько лет старше? А то вдруг начинала твердить, что виновата передо мной и что я буду ее когда-нибудь презирать и даже ненавидеть, или прямо, глядя на меня с т о ю враждой, спрашивала: «Какое право я имею ее презирать?!» Меня эти слова убивали. «За что?! — кричал я в отчаянии. — За что я буду тебя презирать и ненавидеть, это ты меня презираешь и ненавидишь, если говоришь так, и это я, наверное, в чем-то перед тобой виноват!»... После-то я догадался, что все эти разговоры были на «потом», когда все совершилось, и понял я, что слова эти кто-то предусмотрел и заранее дал нам сказать, потому что когда надо было их говорить, то говорить нам уже не пришлось... Но такие вот ссоры или размолвки — ни так, ни так их не назовешь... такое вот непонимание друг друга исчезало,

и снова, кажется, все становилось хорошо. Говорил ли я, например, что вначале она и слышать не хотела слова «любовь»: «Мы с тобой просто хорошие друзья!» — но потом отошла, сама стала повторять, что любит...

Тут вскоре вернулся отец с победою. Опускаю я все эти эмоции, но когда прибежал я к ней и сказал, она довольно сдержанно меня выслушала, поздравила, конечно, а я не то обиделся, не то рассердился слегка, что она хотя бы со мной вместе, за меня порадоваться не хочет. И с каким-то торжеством глупым объявил я, что мы с отцом уезжаем. «На месяц всего, в деревню», — поспешил я добавить. И эту весть приняла она спокойно, но показалось мне также, что она как-то внимательно, с любопытством ко мне приглядывалась.

Уехали мы в отцовскую родную деревню, бродили целые дни по лесам, грибник он — страстный! О войне отец ничего не рассказывал, да и вообще поначалу все больше молчал, а я не пристаивал, мать меня предупредила. Грибов было до черта, особенно подосиновики мне запомнились, как торчали они из травы. Залезал я для смеху на деревья и сверху кричал отцу: «Вон... и вон... а вон еще!» О ней, веришь ли, почти не вспоминал, а если и вспоминал, то с детской своей обидой... Но когда вернулись, то сразу пошел. «Проходи, садись, — сказала она, — хочешь ли чаю?» Была она ужасно похудевшей и побледневшей — объяснила, что болела тяжело, ну, а сейчас уже ничего. Произошла и на стене перемена: человек тот исчез! Человек тот и исчез, а вместо него была теперь необыкновенная, стремительная машина: летела она прямо в комнату, даже колеса задрались на вираже, и за лобовым стеклом, размазанные, угадывались два силуэта. И вот тут, сразу, как увидел я этот рисунок, овладела мной такая тоска, но я еще держался, рассказывал про деревню что-то смешное, и она несколько раз улыбнулась.

— Что это? — спросил я наконец.

— Это не мой, — ответила она. — Человек один рисовал... Человек, который ни о чем на свете не думает, кроме своих машин, — добавила она, усмехнувшись.

«Кроме машин и тебя?!» — хотелось мне крикнуть, но я только грустно сказал: «Был у тебя на стене человек, а теперь — машина...»

Подошел я ее обнять, она не противилась, но и меня в ответ не обняла, как раньше. Она прижала руки к груди, так что они оказались между нами, и поцеловала меня в лоб. То есть и дураку стало бы все ясно, если бы он смотрел на нас со стороны, но... не мне. Вернее, и мне все было уже тогда ясно, но именно того, что было ясно, я как раз не понимал!

— Прошу, иди, сейчас Мария Кондратьевна вернется, — сказала она о хозяйке, и это тоже было что-то новое: никогда раньше старушка между нами не вставала и ко мне относилась, я бы сказал, приветливо. Долго я, как и в самый первый, счастливый раз, опускался по ступенькам, и долго мы и молча друг на друга смотрели.

Но стоило мне остаться одному, как это оцепенение и покорность, с которыми я принял тот рисунок и прощальный поцелуй в лоб, с меня слетели. «Как же так?! Неужели все кончено? А почему, за что? Нет, надо еще поговорить, тут недоразумение какое-то, оно разъяснится, и снова все будет хорошо...» И с этой надеждой пошел я назавтра снова. Открыла мне старушка, сказала, что нет ее дома. Пошатавшись, я еще позвонил. Ее опять не было. А свет в окне, между прочим, горел, пробивался из-за шторы. И так было все следующие дни: хозяйка открывала мне и сухо весьма повторяла: «Нет дома», а свет горел. Ясно было, что старушка эта ее от меня стерегла. Тогда отпросился я пораньше с работы и отправился дожидаться возле фабрики. Она вышла, заметила меня и быстро пошла куда-то в сторону. Но я догнал ее и все-таки затеял мучительный для нас обоих разговор. Не забуду какого-то бесконечного и дикого кружения по пустым переулкам, мимо мрачных темных домов, она говорила, что я ее никогда как следует не понимал и не хотел понять, что в наших отношениях я думал только о себе, снова напомнила, что она старше, — и все это казалось мне ужасно несправедливым и потому ничего не объясняло.

— По-твоему, понимать — это, наверное, слушать с сочувственным лицом, — возражал я, — а мне достаточно было видеть несчастье в твоих глазах...

— Далось вам всем несчастье в моих глазах! — перебила она с раздражением, и больно отозвалось во мне это «в а м в с е м».

Но я не сдавался. Если причина только в этом, настаивал я, то почему не высказать все это раньше, почему она избегает меня, а мне нельзя приходить к ней?

— Ну, хорошо, — остановилась она вдруг, глядя на меня с тем выражением, которого я всегда боялся. — Я понимаю, чего ты добиваешься, о чем сейчас все твои мысли! Да, это один человек, ты его не знаешь, и оставь меня наконец в покое!

Она повернулась и пошла, но я двинулся за ней, удерживая ее, бормоча, что да, я сейчас уйду, пусть она только обождет немного, постоит еще, пока это пройдет, и я пойду, честное слово! И правда — было со мной так, как с одним работягой у нас на заводе: схватился он за голый провод под током, и бьет его, и оторваться он не может... Она остановилась на мгновение и грубо и спокойно сказала:

— Не блажи!

Конец это был всяким надеждам, и я крикнул:

— Шлюха!

Она посмотрела на меня с ненавистью и ушла...

Весь следующий день я жил с одной мыслью: идти и просить прощения. И пошел. Снова открыла мне старушка и, как мне показалось, так же ненавистно глядя на меня, — ненависть ее меня сразила, она-то что ж, ей-то что я сделал?! — посоветовала, чтоб ходить я перестал. «Нашелся человек хороший, собираются они пожениться, и не ходи больше, и не смущай...»

— Да откуда он взялся, хороший этот человек?! — возопил было я, но дверь захлопнулась.

И странно: вот это «пожениться» обнадежило меня, идиота, снова. «Любят друг друга» — это бы я прочувствовал (хотя и не поверил бы!), это было бы все, но «пожениться», что такое «пожениться» в сравнении с нашей великой любовью?! «Дура ты старая, непроходимая — “пожениться”!» — твердил я, переходя из улицы в улицу, и — о, хитрый, изворотливый, жалкий человеческий ум! — временами начинало мне казаться, что никакого «хорошего человека» и нет, что она его тогда же, в переулке придумала как последний, самый убедительный для меня довод и старушку подговорила, а на самом деле по-прежнему она меня любит... «Но как же это? — останавли-

вался я вдруг, трезвея. — Любит и видеть не хочет?» И я понимал, что «хороший человек» есть... Хорошего этого человека я воображал много старше ее, спокойного, доброго, бесхитростного человека, и с женьбой мне тоже все становилось понятно. «Конечно, это я виноват, что он ей понадобился, такой человек, конечно, должна была она меня возненавидеть за то, что я так подле нее пощеньячи счастлив, за то, что отмахивался от ее горького прошлого, упиваясь своей безумной любовью, упиваясь своим высоким пониманием, когда нужно ей было простое, обыкновенное...»

«Но подожди: а счастливые наши минуты, разве этого мало, ведь и она любила!» Тут я вспоминал всю нашу любовь с самого начала, от тетради и листка дубового до слов ее: «Так, как с тобой, у меня еще никогда не было!», и меня потрясал ужас непонимания, как после всего этого другой человек может обладать любимой тобой женщиной, как она может позволить обладать собой другому человеку! Мучили меня особенно две вещи, стояла перед моими глазами неотступно картина — не та, которую обычно в таких случаях воображают, впрочем, кто что воображает, не знаю, не буду утверждать, — но меня преследовала не та, а ей предшествующая: темнота, и шорох одежды в темноте, и ожидание... И еще: что она говорила — дорого бы я дал, чтобы попристутствовать незримо при том, как любимая тобой и любившая тебе женщина обнимает другого! — как она это делает, неужто молча, сцепив зубы, помня о тебе, о твоей любви, или все-таки говорит что-нибудь и, помня те слова, находит теперь другие, или выстанывает те же самые: так, как с тобой, у меня еще не было?! (Это все равно, Андрей, что на том свете побывать, узнать, что такое смерть и не мучаться, — вдруг засмеялся в этом месте Анфилов.)

Да... «А кто ее довел до этого?! Ты!» — кричал я себе и, мысленно обращаясь к ней, говорил, что все понимаю и не виню ее, и тут же спохватывался с испугом: «Что ты! Что ты! Какое ты вообще имеешь право ее винить — не винить? Это ты сам виноват бесконечно за вчерашнее слово!» И смиренно пояснял и ей и себе: «Слово это было — от боли, и не ее самое, а всего лишь за причиненную тебе боль ты ее не винишь...» Вот так я и казнил себя и самоуничижался,

еще не подозревая тогда всей опасности этого самоуничуженья... Решил я в тот же вечер непременно снова ее увидеть, с тем, чтобы объяснить, как я теперь по-новому все понимаю, и вымолить прощение за то слово. Ну и, конечно, все с той же надеждой... Помню, мне даже весело под конец стало и просто, словно мы уже с ней поговорили и она меня поняла.

Идти к ней домой нечего было и думать, старушка дальше двери меня не пустила бы. Внушил я себе даже, что сама-то она хотела бы меня видеть, но старушка препятствует. И я опять пошел к воротам фабрики, но на виду не стал — все-таки чего-то боялся. Она вышла с каким-то напряжением, — может, чувствовала, что я жду, — я ее догнал и сказал, что хочу поговорить. Она смерила меня взглядом.

— Разве ты не все сказал?

— Прости меня. Я все понял. Я тебе объясню.

— Как я устала от этих объяснений. — Она поглядела с тоской. — Дай мне отдохнуть. Дай мне побыть одной...

— Я не так понял, как ты думаешь. Я совсем по-другому понял!

Разговор этот велся на ходу, очень торопливо. Заметил я, что она нервничает, смотрит по сторонам. «Бойтся, наверное, что “хороший человек” встречает и я его увижу, — мелькнуло у меня. — Так вот, если бы знала, что я теперь думаю, не боялась бы!»

— Мне обязательно надо тебе сказать, — молил я. — Это для нас с тобой очень важно!

— Ну, хорошо, скажешь...

— Когда?!

— Потом как-нибудь...

— Надо сейчас!

— Сейчас я спешу.

— Ну, позже, сегодня!

— Хорошо, позже.

— Я приду!

— Нет, нет, нельзя! Я выйду...

И так, наспех, мы условились.

В назначенном месте я прождал час, два, — она не пришла. Все это время, что оставалось до нашей встречи, и те часы, что я ждал

ее, я говорил с ней без умолку. Сначала я рассказывал про боль, но немного, совсем немного, чтобы она только поняла, отчего я тогда крикнул, потом излагал свое новое понимание, а под конец, когда все яснее делалось, что она не придет, незаметно для себя стал ее упрекать. Ну ладно, я виноват, но отчего же теперь меня не выслушать, не принять моего раскаяния, зачем оставлять меня с этой виной — ведь это жестоко! Начал перебирать я, чем мог заслужить ее жестокость, и не нашел ничего, кроме того слова, но я же сказал ей «прости» и «я понял»... И вдруг показалось мне, что не жестокость это, а страх! Она боится видеть меня и разговаривать со мной, потому что не я виноват, а она виновата! Она предала нашу любовь и знает это! Она спокойно, не пытаясь удержать, позволила мне уехать, и вот пропал «человек на кресте» и появилась «машина». Настоящее значение этого чуждого рисунка только что открылось мне. Она любила меня, а когда меня с ней не было, я все равно в ней продолжался, и она нарисовала «человека». Исчез я, исчез и «человек», и теперь, с этим новым рисунком, она ему позволила в себе продолжаться... А до «человека» была «женщина», а до «женщины» еще что-нибудь, а после «машины» будет какой-нибудь «велосипед» или «самолет»... Кто-то во мне даже засмеялся, помимо моей воли.

Незаметно для себя я уже стоял возле ее дома. Хозяйкино окно было темным, а в ее — как и во все последние дни, тщательно завешенном — угадывался свет. Он там! Это она называет «побыть одной»! Она и не думала приходить. И не просто покой и понимание там у них, как я вообразил, а любовь, а следовательно, и все слова, а следовательно, и «так у меня еще никогда не было»! Она меня предала, она меня погубила! И это сознание своей гибели вдруг возвысило меня! До тех пор я был отвергнутым, обманутым, страдающим, несчастным, и вот, когда я узнал правду, я возвысился в своем несчастье над тем, кто там торжествовал победу. Ей неприятно меня видеть? Хорошо, она меня не увидит, я уйду навсегда, но сначала я выскажу ей эту правду, чтобы она не обольщалась и чтобы не робким и униженно молящим о свидании запомнился я ей, а... Ну, словом, ясно!

Высказать и покончить со всем этим надо было сейчас, немедленно, и я бросился домой за пистолетом, знал я, где он у отца спрятан, — трофейный, маленький такой пистолетик, как игрушка... Небольшая, но смертельная его тяжесть придавала моим мыслям о гибели фактическую достоверность, и я даже с каким-то наслаждением ощущал эту тяжесть, пока торопился к ее дому. Убить себя у нее на глазах? Это было бы соблазнительно для того, страдающего и униженного, — и моментально отверг я эту идею. Не у нее на глазах, не в ее подъезде, не в наших домах — и лучше всего так, чтобы потом не нашли. Например, пойти в парк, к реке, отплыть в лодке на глубокое место, привязать к ногам что-нибудь тяжелое, сесть на борт и выстрелить... Скоро зима... Я рассуждал, как мне казалось, довольно хладнокровно.

Я посмотрел на окна. Все было по-прежнему. Разом я взлетел по лестнице и позвонил. Отвратительный такой звонок с надписью: «Повернуть», и сколько поворачиваешь, столько и дребезжит там, за дверью. От одного этого дребезжанья сделалось мне нехорошо. Я как-то заранее устал. «Может, просто — без всяких высказываний?» — мелькнуло у меня, и в тот же миг осознал я с какой-то тоской, что по-прежнему ее люблю, что все так же я виноват и мое намерение унижить ее — лишь подтверждает это. Но я уже позвонил. В конце концов, можно просто посмотреть да и уйти... Было тихо за дверью, потом она подошла.

— Это я. Открой.

— Уже поздно, я ложусь спать.

— Почему ты не пришла?

— Я плохо себя чувствую.

— Ну вот, я сам пришел.

Она не отвечала. Я позвонил еще.

— Да?

— Если ты не можешь впустить меня, то выйди сама, хотя бы на минуту!

— Я уже вымыла голову...

Эти слова меня доконали. Сколько раз вдыхал я запах ее только вымытых, влажных еще волос! Я начал трезвонить без остановки.

Потом — наконец-то! — услышал я мужские шаги и нервный высокий голос:

— Неужели вы не понимаете, что она не хочет вас видеть?!

Я понимал, давно уже понимал, но меня вдруг — словно голос этот был полной неожиданностью — охватила злоба против нее, против мелких и глупых ее отговорок, которые она придумывала за дверью вместо того, чтобы объявить все прямо. (О том, что она уже объявила, я как бы забыл!) И еще я понимал, что она вымыла голову и сейчас будет все как со мной, только с ним! Всего два раза налег я на хлипкую старухину дверь, и она сорвалась.

Я его увидел. Это был не тот человек, которого я себе почему-то воображал! Он был не старше ее и даже не старше меня, он был мой ровесник, а главное — он был почти я! Я его узнал. Значит, из-за него я оправдывал ее, обвинял себя, смирялся, уничижался, и это над ним я в последнем судорожном усилии старался возвыситься. Значит, вот что было за всей этой дикой гонкой чувств!..

Все это я в одну секунду увидел и прочувствовал, и вновь вспыхнуло во мне то слово!

— Ты с ума сошел! Что ты наделал! Сейчас Мария Кондратьевна придет! — воскликнула она, и меня резануло нелепое сочетание этого «ты», как памяти былой нашей близости, и новой для меня, непонятной мне враждебности ее тона.

Она подошла — оказывается, уходила в комнату! — и встала рядом с ним. Я посмотрел на нее и в глазах ее прочел, что она знает мои мысли в те два часа, что я ждал ее, прочел и ее ответ на эти мысли, и не было в том ответе ни раскаяния, ни замешательства хотя бы, ни на мгновение опущенного взора, а была только ненависть. И что бы я сейчас ни сделал — крикнул то слово, ударил бы, простер руки, упал к ногам, зарыдал, начал биться головой об стену, отплыл на лодке — в ответ все будет ненависть. И я понял, что это конец и что я погиб. Во мне уже не было никакого другого желания, как поскорее прекратить эту ненависть, которой я не понимал и не мог больше переносить. Я выстрелил, она упала, и я сел возле нее. Через некоторое время набежали люди...

Вот, собственно, и все. Здесь кончилась трагедия и начался фарс, — коротко усмехнувшись, сказал Анфилов. — Признали «аффект на почве ревности», дали червонец. Но ведь ревности не было, то есть была, конечно, но не она решила. Решила ненависть, и, повторяю, только в ненависть ее я выстрелил. Это я потом, когда в себя пришел, понял. Первое-то время я только и делал, что говорил с ней, все перебирал, проворачивал все свои предыдущие мысли, просил прощения за слово, вновь обвинял, требовал ответа — и вдруг спохватывался: а у кого? ведь не у кого! Но сознание, что ее нет, недолго во мне удерживалось, и снова я начинал говорить с ней, как с живой — эх, и как же хорошо мы с ней иногда разговаривали! Снилось она мне постоянно, а если учесть, что по-настоящему я не спал, то лучше сказать — виделась, почти въяве... Вот это состояние, когда ныряешь в сон и не можешь погрузиться, и плывешь поверху, как плывет по реке чурка, напитавшаяся водой, — наполовину во сне, наполовину наяву. И разговариваешь, разговариваешь...

Вот идем мы зимним вечером, словно из школы, по улице, совершенно незнакомой, окраинной, — с одной стороны, под обрывом, деревенские домишки, и там наматывает снег, с другой — поле темное и вроде насыпь железной дороги, фонарей почти нет, сугробы... Мы держимся за руки — всегда мы так с ней ходили! — и я спрашиваю: «Так ты понимаешь, отчего я тогда крикнул?» — и она говорит: «Понимаю», — «А твоя ненависть?» — спрашиваю я, и она отвечает: «Не тебя, это я себя ненавидела, а не тебя, ну и тебя немного, оттого что не мог ты этого понять!» — «Ты мне сама в другой раз говори, ладно? — прошу я. — Не заставляй думать, потому что видишь, ничего-то я не понимаю!» — «Да, да! Все будет хорошо!» — отвечает она, сжимая мою руку, и, очнувшись, я все еще чувствую это пожатие, ощущаю в своей руке горячую ее руку в черной перчатке и так, с ее рукой, врываюсь в другой сон...

Ну и прекрасно, и оставили бы меня в покое, сунули бы одного в какую-нибудь темную комнатку, где я продолжал бы так плыть, ныряя в блаженные эти полусны, пока не утонул бы в них окончательно, или в один прекрасный момент прибило бы меня к берегу,

без нее, и, все припомнив, свихнулся бы я в одиночестве от вины и тоски... Но меня дергали, допытывались чего-то, каких-то подробностей, а зачем, ведь я следствию не лгал, я его не запутывал. О нас, разумеется, старался не говорить, об этом никто не должен был знать, но самое главное для них сразу сказал. Нет, им еще чего-то надо было уразуметь, они даже психолога специально пригласили, эксперта. Женщине той с весьма проницательным взором я особенно просто и спокойно, — надеюсь, что она хоть им объяснит, — все изложил, и, видно, в этой простоте и спокойствии что-то ее насторожило. Мне она, конечно, не сказала, но я понял...

Ну, потом судили, толкнули в зону. И вот тут счастливые мои свидания с ней совсем прекратились и я протрезвился. Тут я по-настоящему осознал, что ее нет, и не будет, а я живу и, наверное, жить останусь. И начал я вглядываться в свою прошлую жизнь, — как мне тогда казалось, серьезно и беспристрастно, а теперь-то я вижу, что лишь для оправдания, что я еще после всего этого живу... Много всего перебрал и вытащил вдруг один сон, очень давний, можно сказать, младенческий... Жила в нашем подъезде — это не сон еще — девочка. Было ей тогда лет пять, ну а мне — шесть или семь. Сейчас я и лица ее не помню, но помню, что мы с ней, как это на детском языке называется, «водились» и ходили друг к другу играть. Так вот, сон. Прихожу я как-то к ней играть и застаю у нее другого мальчика, и всем своим видом она ясно дает мне понять, что «водиться» со мной она больше не хочет, а «водится» и играет с тем мальчиком. Тогда, прежде чем уйти, я говорю ей что-то горькое и полное достоинства, а они смеются... Проснувшись, я долго еще чувствовал себя несчастным, не оттого, что не захотела она со мной играть, а оттого, что смеялась. Это я уже понимал! Вот если бы она после горьких моих слов отвернулась бы от того мальчика или просто бы призадумалась, горечи не было бы... И, вспомнив тот сон, я ахнул — это же пророческий просто был сон! Кто мне тогда, в семь лет внушил его? Сон я скоро позабыл, но с м е х а — вот чего потом, всю жизнь боялся! Потому и не сумел сделать того, горького и полного достоинства, не отплыл на лодке, а вовсе наоборот... Вон, оказывается, когда все решилось! И вдруг подумал: ну, а если

бы во сне та девочка после моих слов бросилась ко мне с восторженным лицом и не было бы смеха, тогда как?.. (О, подл человеческий ум, — прервал себя Анфилов, — и не будет с ним человеку счастья! Потому что нет в человеческой душе ни добра, ни зла, которые якобы ведут борьбу, и как добро победит, так воссияет счастье, — а есть одна подлость! Вот ты, Андрей, честнейший и нетронутый еще малый, — приведи мне сейчас самую свою благородную мысль или поступок, и я открою тебе всю его подлость... Шучу, шучу...)

Ну, словом, вот так... Вспомнил я, например, однажды нарисованный ею крест, и меня как осенило: неужели она наперед знала и я действительно на кресте?! В первое время я очень этому верил. Крест и наказание для меня, по неведению, соединились в одно. А наказанием было то, что я теперь здесь, за забором. И чем хуже здесь и тяжелее, мечтал я, тем для меня будет лучше и легче... Но легче не становилось, и постепенно я начал понимать, что это не наказание. Ибо венец наказания — искупление, а искупления в моем случае быть не могло. Ведь как бы я ни уродовался на лесоповале — а ее уж не будет. Убили бы меня за нее или бы я сам себя убил — а ее все равно не будет... Так и настоящего наказания — нет и вообще не будет. А это все — лишь замена, жалкое его подобие, место... Понял я даже, что меня, в известном смысле, не только не наказали, а спасли — как винтик, как рабочую силу. И как винтик, хотя бы и с сорванной резьбой, я еще пригожусь. Там повкалывал, в другом месте, на стройку коммунизма вот поеду, тоже свою лепту внесу...

Я потом, как освободился, разговаривал с одним юристом — случился в электричке попутчик. Прямо сказал ему свою статью и пытался все это объяснить. Но он меня не понял. То есть он понял только, что я чем-то озлоблен, и все напирал на гуманность нашего суда. «Хотя вы и были осуждены за очень тяжкое преступление, но вам дали возможность загладить свою вину честным трудом, не изолируя от людей. Пусть таких же, исковерканных судьбою, но все-таки людей! Это гуманнейший акт!» Кретин он, этот юрист! Гуманнейший акт был бы, если бы меня засадили в одиночку, где бы я никуда не делся от своих мыслей, от своей страшной вины и, может, благополучно бы спятил! Но и спятив, еще значил бы что-то как

личность. А «честный труд» и «исковерканные судьбой люди» — все эти воры, суки, прохиндеи, лагерные хмыри, педерасты, предатели Родины, все эти профессора по части неизменности человеческих душ — ни спятить, ни погибнуть от раскаяния не дадут. Наоборот, могут тебе объяснить, что ты «падаль и сермяжная душа», потому что не догадался за одно того малого пришить... В общем, от «креста» и того просветления в конце, которое я себе воображал, оказалось все это очень далеко...

Но, может быть, настоящее наказание — там? И об этом я думал. Был у нас старичок, тихий такой, интеллигентный. Сидел черт те за что — сболтнул чего-то. Так я и не понял, верил он сам или нет, но словечки разные, вроде тех, что я сейчас, употреблял. От него я этих слов и набрался. Купил я его своим соображением, что срок — не наказание. В этом мы сошлись. Правда, он сказал, что рассматривает это в несколько другом аспекте... А насчет креста объяснил. Сначала, видите ли, крест существовал просто как вид казни за содеянное преступление, а потом, как распяли на нем Иисуса Христа, — стал символом муки, принятой добровольно и за других. Так что в изначальном смысле я спокойно могу считать себя на кресте. Ведь по сторонам от Иисуса висели разбойники... Ехидный оказался старикашка, но ехидство его меня не тронуло, — значит, она все-таки права, вот кем я ей представился!.. «Ну, ладно, а какой был смысл добровольной муки за других, — пристал я к старику, — наверное, чтоб другие не мучались и жили счастливо, но ведь нет этого и до сих пор, счастливых нет!» И здесь я не так понимал, — был это, оказывается, урок человечеству, пример всем, идеал, к которому мы должны стремиться.

«Так не стремимся же?!»

«Ну а тех, кто не стремится, будет Он судить», — как-то внутренне, для себя усмехнувшись, отвечал старичок.

«А наказание какое сможет он представить?»

«Ад. Вечную муку».

«Ад... Я так представляю: ад — это вроде зоны, только покапительнее, похитрее, и срока побольше... Но ведь договорились, что здесь наказания нет!»

«Что гадать... Может, Он так просветлит ваш разум и покажет бездну между вами и идеалом, что одно сознание этой бездны и составит ваше наказание и муку».

«Почему ж Он здесь не просветляет? Лучше бы здесь просветлил!»

«Кто знает. Возможно, верит, надеется. Мы в Него не верим, а вот Он в нас верит, — задумчиво начинал говорить старичок. — А может, кого и просветлил... Не всякий еще достоин наказания... И вообще, не о наказании надо думать, а о милосердии. Все ваши мысли — от гордости. Смириться надо и уповать!»

«Какая уж тут гордость, отец, — возражал я. — Я не из гордости не хочу уповать, а как раз из смирения. Я хочу, чтоб все по-честному было! Что заслужил, то и получай...»

«Именно, именно — из гордости. Смирение ваше ложное, — на вид сердито отвечал старичок. — Вы знаете, что заслужили? Вряд ли вы даже здесь, на этом суде протестовали, что недостаточно вас наказали, а с Богом собираетесь торговаться!»

«Я тогда не знал...»

«А сейчас тем более не знаете! Определит меру!»

Вот так мы с ним подолгу толковали... В другой раз я хожу, хожу, думаю — и снова к нему иду.

«Слушай, отец, — говорю, — я поверю в ад и в любую муку, только чтобы и рай тут же, недалеко был, рядом, вот как наша зона и женская... (Сравнение это его позабавило.) Тогда я, во все определенные мне дни, горя ясным огнем и синим пламенем, буду смотреть неотрывно, — как на окна ее, когда меня к ней не пускали, — не мелькнет ли там, в куцах она, и вот если хоть раз в сто лет мелькнет, и глаза ее обратятся на меня, и я прочту в них нечто для себя важное, тут же я крикну: “Спасибо, Господи, ничего мне больше не надо!”»

«Ну вот, — он отвечает, — может, и наказание вам будет такое, что вы ее не увидите!»

«Нет, — говорю, — так я не согласен».

И тут он меня снова подловил: «А заметили ли вы, что все-таки не о наказании, а о милосердии думаете? Стало быть, есть для вас и возможность муки и искупления...»

Обнадежил, словом. И я возмечтал: а что, если действительно вот так жить, потихоньку веря в отрадное то мгновение, — то есть, как старичок говорит, смириться и уповать?! Но через какое-то время опять усомнился — тот же старик меня натолкнул, может сам того не желая.

«Вот мы с вами задаем себе разные вопросы, а ведь и до нас многие умные люди ими мучались. Вы поинтересуйтесь, что они говорят...»

Посоветовал он мне кое-что прочесть... И предупредил: «Только ответа там не ищите. Так, для размышления...»

Отчего он мне на эту вещь указал, я, как начал читать, сразу понял и очень внимательно, отдельные места по нескольку раз, просмотрел. Ничего-то я в самой повести вразумительного не обнаружил — так, бред один, маразм старческий, — зато почувствовал за повестью такую злобу и помутнение, что даже мне, мерзавцу, совестно за него стало! Без ошибки скажу, что все это писатель сам в себе и таскал... Но до конца не пошел — вот в чем мудрость-то: не идти до конца! — а написал про это, да постарался, чтобы поубедительнее вышло, для того и придумал про ножны. О, я его насквозь увидел: не знал он, как это бывает, но хотел правдоподобия, оттого и придумал, что все запомнил, и про ножны тоже, как они завалились... Конечно, если бы он изобразил, как вне себя, с криками ринулся, никто бы ему не поверил... Я, например, не скажу, что все помнишь или ничего не помнишь. Одно — очень отчетливо, другое — как провалилось. На суде вот свидетелей оказалось полно, и из квартиры напротив показывали, что я к ним заходил, прежде чем звонить, просил холодной воды напиться. Я этого совсем не помню... Ну, да ладно. Ясно одно — что он не убил, а как убивают, знать для своего сочинения очень хотел. И в этом теперь находят какую-то какую-то «высокую нравственную идею». Но он-то сам, я думаю, понимал про себя! К этой книге еще портрет был приложен: сидит он, голову набок эдак склонил, лицо больное, взгляд, как у собаки, сочувствия или прощения просит... И не иначе, как смирился и уповает! И он уповает! И окончательно отвратил меня этот страдальческий лик. «Ах ты, падла бородатая!» — думаю.

Со мной-то и то честнее вышло — ты заметь, я не говорю, что честно поступил, какая уж тут честность! — но со мной получилось честнее! «Нет уж, — думаю, — не на кого нам надеяться и не на что уповать. Если даже самые признанные, самые великие образцы человечества таковы, то не заслужил человек ни Бога, ни надежды, ни счастья... Да и как знать, — может быть, там вообще ничего не будет, а мы здесь одним своим упованием уже утешимся! Пусть уж там будет что будет, а здесь ничего не будет...» И махнул рукой, и прекратил думать. И отошел понемногу, и перестал понимать. Знаешь, наступает в жизни человека такой момент, когда его собственное прошлое отделяется от него стеной непонимания. Как и что было — еще помнит, а отчего — не понимает. Становится для себя вроде как посторонний. Так и со мной...

И постепенно единственной моей мечтой сделалось — ты удивишься, но это так — поскорей освободиться, посмотреть, как другие живут, и, может, даже поискать себе какого-нибудь счастья. Не того, высокого, а самого примитивного, о котором зеки и на руках, и на груди, и где только не пишут: «Нет в жизни счастья!» Надо-то мне немного: место хорошее, тихое, где бы в душу никто не лез, бабу немудреную, ласковую и чтоб на пачечку чая хватало... И если я этого синего, наколотого счастья отхвачу, то обязательно и себе наколю: «Есть, есть в жизни счастье!» — и буду ходить грудь нараспашку, чтоб все читали...

## 7

Вот так Анфилов закончил. Была его исповедь, может быть, подлиннее и побессвязнее, в некоторых местах он перебивал себя, отвлекался на всевозможные анекдоты о лагерной жизни, приводил подробности, детали, интересные сами по себе, но ничего главного не прибавляющие. Закончил же он именно так.

Андрей, хотя и кричал не однажды в продолжение рассказа, что он все понимает, — и казалось ему, что это действительно так, — понял тогда далеко не все, и многое — вообще неверно. Так, например, догадался он с состраданием, что последним словам Анфилова

о счастье верить, конечно, нельзя, что с этим счастьем наговаривает он на себя нарочно, а на самом деле, в глубине души, по-прежнему... и т.д. И так понять было бы проще всего. Но Анфилов был абсолютно искренен. Узнал Андрей об этом много позже, когда уразумел простую на вид истину, что можно себя презирать и обличать последними словами, а, оказывается, любить, и можно оправдывать и к счастью стремиться, а, оказывается, ненавидеть. Ненавидеть столь глубоко и скрыто, что, если самому человеку об этом сказать, он недоверчиво усмехнется: «Какая ненависть?! Мне бы только счастья, синего, наколотого...» Тогда же ни Андрей, ни Анфилов о подобной ненависти не знали, а если бы знали, если бы сам Анфилов знал и попытался облечь ее в какую-нибудь формулу, то произнес что-нибудь вроде проклятья: «Не смог снести крест и удостоиться страдания — так будь счастлив!» И добавил бы что-нибудь еще в обычном своем стиле... Но Анфилов о той ненависти так и не узнал, а Андрей уяснил ее себе с горьким чувством, с горьким, потому что, хотя и заключала она в себе возмездие, ничего жизненного выйти из нее уже не могло. Из явного презрения к себе и обличения себя последними словами могло выйти и выходило, а из той незримо разлившейся в человеке ненависти — нет. Просто пожирала она человека изнутри, неведомо для него самого, и подобна была смертельной болезни...

А тогда, повторяю, не только это — тогда Андрей со своим всепониманием не заметил важной и для себя вещи: отчего воровство хлеба в столовой считал пределом падения, а содеянное Анфиловым, вернее, случившееся с Анфиловым сразу принял и напрягался постичь? По прошествии многих лет спросил он себя об этом и — отчего принял — понял, а почему даже не заметил, как принял, — нет. Ибо наступил и для него самого момент, когда прошлое отделяется, будто стеной, и не все теперь мог он там объяснить...

Историю Анфилова он, как и смерть Германа, и по той же, видно, причине, скоро забыл. Мысли его сосредоточились на близком отъезде. Был уже конец августа — в Сибири началась осень. Дни стояли солнечные и теплые, но по ночам подмораживало, и плохо приходилось пассажирам «приколотых» на разъездах товарняков.

На зеленых склонах сопок проступили желтые пятна — и оттого казалось, что небо закрыто тучами и лишь местами пробивается и падает на землю праздничный свет... И вот день отъезда наступил. Денег у них после всех расчетов осталось немного, но, по остроумному предложению Анфилова, они купили билеты за семь всего рублей, до ближайшей станции, чтобы только сесть в поезд. План был прост: войти в вагон, забраться куда-нибудь повыше и спать в ночном поезде до самого утра, то есть до Братска, если же пойдут контролеры, объяснять, что станцию свою проспали... С самого начала им повезло: проводница отлучилась за кипятком и они сели, не предъявляя билетов. Вагон был забит людьми, завален вещами, и снова им повезло: в одном купе отыскались две самые верхние свободные полки. Быстро они взобрались, разулись, расстегнулись и залегли, приняв вид пассажиров, едущих издалека. Анфилов, конечно, тут же начал рассказывать со смехом подходящее к случаю: как он, освободившись, работал и жил одно время в Туле, чтобы поближе к Москве, и ездил домой на каждое воскресенье.

— Билета по обыкновению не брал, сунешь контролеру пятерку и — отвали, но попадались и вредные. Особенно один, пожилой, всегда я на него нарывался, и он меня знал, как родного. И вот однажды идет он, а напротив меня двое ребят, тоже зайцы. Он сначала к ним, давай их стыдить и на меня вдруг показывает: вот, мол, и работает человек, и учится на вечернем, и матери помогает, а без билета не ездит... Я думаю: «С чего, батя, ты все это взял, ну, давай, давай, сейчас я тебя разочарую!» Отчитал он их и — что ты думаешь? — прошел мимо! В другой раз, когда он меня поймал, спрашиваю: «Чего ж тогда не проверил? Я без билета был». — «А я знал», — отвечает. И я догадался: очень он хотел, надеялся, что я тогда прочувствую и в другой раз у меня билет будет! Он меня воспитывал! Симпатичный такой батя, жалко мне его стало, и с тех пор, чтобы только не расстраивать его, ни разу я без билета не ездил...

Поезд тронулся, прошла внизу проводница, и, как договаривались, замолчали они и притворились спящими. Андрей лежал, представляя Братск, перебирая связанные с ним надежды, чувствуя

себя счастливым оттого, что сбылось все-таки по его вере. Рисовались ему по-прежнему какие-то необыкновенные внешние трудности, испытания, и не знал он, что самое серьезное, внутреннее испытание уже началось — настоящее испытание на долгие годы. Казалось ему также, что все у него впереди, а позади нет ничего, что можно было бы считать жизнью, и не знал он, что заложилось уже это здание, то основание его и главная арка, которые определяют все остальное: высоту и крепость стен и сводов, и соразмерность частей, и самый купол, — и все главное, что с ним случится, застигнет врасплох, и преисполнит высоким счастьем, и вознесет, и низринет, все будет исполнением проекта. Тогда, на третьей полке душного, бормочущего, стонущего ночного вагона, всего этого Андрей не знал. После — знал, и когда лет через десять случилось проезжать через Чуну, вышел на остановке и походил по базарной площади, чтобы найти мальчика в ковбойке и предупредить. Но не нашел.

1973

---

# ДЕТСТВО В ДЕРЕВНЕ

Но детских лет люблю воспоминанье...

*А.С. Пушкин. Сон*

## 1

Наш дом стоял на бугре. Сразу под бугром была речка, а за речкой, не следуя ее изгибам, прямой улицей вытянулась вся остальная деревня. Имелись у деревни «этот» конец и «тот». «Этот», с колхозными амбарами, скотным двором, конюшней был поближе для нас, живущих на бугре, а «тот», с церковью, кладбищем и старинной двухэтажной школой, подальше. За главной улицей стояли еще дома, третьим рядом, это место называлось «на лугу». Дальше начинался лес. Он был большой, тянулся далеко за «тот» конец, вдоль большака, и именовался Дубакинским — от деревни Дубакино, которая за ним находилась. Преобладали в нем липы и осины, стоявшие часто, не пропускавшие солнца, и был этот лес всегда мрачным, почти без подлеска, лишь кое-где торчали тонкие, высокие орешины, а земля постоянно была скрыта мокрыми, преющими листьями, сквозь которые пробивалась редкая болотная трава. Но вот, спустя несколько километров, лес словно оступался, становился вдвое ниже, здесь, отделенный от него узкой незаметной просекой, пышно, непроходимо разрастался орешник, листва его будто выгорала на солнце, поэтому на фоне ее особенно были заметны темные молодые дубки, да и осинки тут выглядели курчавее и веселее — это была «вырубка»... С другой стороны большака тоже был лес, угрюмостью он мог соперничать с Дубакинским. Его прорезал страшно глубокий, никогда нами не исследовавшийся овраг с крутыми глинистыми склонами — говорили, что в нем жил барсук. Деревня за этим лесом, вернее, хутор звался Красные Выселки, а сам лес был известен как Морозовский, откуда это название, я не знаю, видимо, от фамилии его прежнего, единоличного владельца...

Однако все это уже довольно далеко от нашего дома... Дом наш не стоял на бугре одиноко. Справа от нас, если встать лицом к деревне, был еще дом, там жили забытые мной теперь совершенно старик со старушкой, помню только, что однажды приезжал к ним сын, по этому случаю гуляли, и мы ходили смотреть: сын сидел у раскрытого окна, спиной к нам, и, когда поворачивал голову, на шее у него очень красиво, как мне казалось, обозначались складки. После этого я сам в течение долгого времени то и дело поворачивал голову и трогал рукой, обозначаются ли такие складки у меня... Потом дом был продан, в нем поселился кузнец, он недолго прожил в деревне и увез дом в соседний городок, а на этом месте стала колхозная пасека. Небольшой домик, можно сказать, домишко ютился и по левую руку от нас — с потемневшей раздерганной соломенной крышей, с обмазанными глиной, когда-то побеленными, облупившимися стенами, маленькими оконцами, низким крыльцом, прохудившимися сенями. По сеням тем в дождь лучше всего босиком было проходить: расшатавшиеся, подгнившие доски прогибались, под ними хлопала и выбивалась в щели вода. Сразу при входе в избу, в крохотной кухоньке, пол был покат навстречу вам, а за порожком, в комнате накренился в другую сторону... И как-то странно: нашего дома, прекрасного нашего дома давно уже нет, а та избушка, еще более покосившаяся, и до сих пор стоит на бугре, теперь уж одна...

Там жили — Коробки. При входе, над притолокой был вырезан охранительный крест и надпись: «Коробковъ». Из самых ранних, неопределимых мною лет: я и еще помладше меня Коробок дергаем у них в огороде что-то, чуть начинающее походить на морковь — и тут в квадратной отдушине в сарае мелькает темный старушечий лик и грозящая нам рука. Это Коробкова бабка Акулина. Мы неторопливо покидаем огород и видим, как старуха, согбенная, в темном одеянии, с выдернутым стеблем крапивы выходит из-за угла. Опять не понимая всей серьезности ее угрозы и смеясь, мы отбегаем подальше, она идет, мы еще дальше, а она все идет, и, наконец осознав, что так она и будет идти, потрясая крапивным стеблем, мы с диким ревом ударяемся куда глаза глядят... Не помню, чем тогда

кончилось, кажется, моя бабушка выскочила на шум и пристыдила ее, но думаю, что только теперь могу представить, какой ужас заключался для нас в черной, неотступно преследующей фигуре. На следующий год, когда я снова приехал в деревню, Коробковы ребята показали мне — показали с гордостью, с некоей похвальбой: вот что, мол, у нас тут случилось, ага! — фотографию, где бабка Акулина лежала с закрытыми глазами, а на нее горестно взирала родня, и даже на черно-белом снимке заметно было, как отличается цвет ее лица от цвета других лиц, а еще я помню, что ощутил какое-то успокоение при виде того, что она лежит так смиренно...

За Коробками был овражек и через него — пустая Кускова усадьба, когда-то давно там жил Кусок, а в наши дни оставались лишь два куста сирени да яма, заросшая бурьяном, причем самая высокая трава росла из середины, со дна ямы, ровно понижаясь к краям, так что издали можно было думать, что это холмик. Мы бегали туда играть. В знойные полдни на дне ямы словно кто-то с ума сошел, спешил, напрягался, стараясь, чтобы производимые им удары наложился один на другой, слились в ровный звук, и напрасно: все равно за каждым ударом, хоть и недолгая, следовала оттяжка. Мы наклонялись, погружая головы в эту чашу, и странно, как сразу исчезали размеры оставшегося снаружи мира и тебя самого, как в зеленом полумраке, испещренном солнечными бликами, образовывался свой, замкнутый, но и бесконечный мир, с колоннадой могучих стволов над страшной бездной, в которую ты, казалось, уже неотвратно падал, но чудом зацепился вон за тот листок, а с него, оглядевшись, перебрался на эту травинку... В том маленьком бесконечном пространстве отсчитывалось и свое маленькое бесконечное время: сколько ты так стоял? По тому времени — вечность...

За ровным полем Кусковой усадьбы тропинка опять срывалась вниз, к ручью. Ручей этот, если следовать против течения, разветвлялся: маленький приток уводил к недалекому, как раз за нашими огородами, колодцу, а основное русло в ложину между возвышающимися к горизонту полями. В той стороне, в версте от деревни был Глиняный обал. Там обалилась земля. Тесно сошедшиеся, когда-то почти отвесные склоны обала поосыпались, заросли де-

ревьями и травой, но дальние окончания его нескольких отрогов по-прежнему оставались глинными безвылазными тупиками с песчаными разводами на дне, с ямами в самом углу, выбитыми низвергающейся с полей ливневой водой. Из Глинного обала зимними ночами выходили на близкий большак волки...

Еще был Конаковский овраг. Был одинокий вяз возле колодца. Мост, школьный пруд... Но почему все это так важно: где, в какой стороне, что? Теперь я понимаю. Много лет спустя я оказался за добрый десяток тысяч километров от описываемых мест и учил чукотских детей. Иногда я ходил с ними в походы, а потом, как водится, задавал изложить свои впечатления. Ученики всегда рады бывали вырваться из интерната, из маленького надоевшего поселка, и я ожидал каких-то восклицаний, изъявлений восторга, однако получал спокойный, скрупулезный отчет, мимо какой сопки шли, куда повернули, где остался ручей. Я недоумевал, даже сердился, пока не понял, что они писали о самом интересном для себя, и еще теперь понимаю: как им, детям тундры, важны были прежде всего приметы пути, так дороги и мне тропинки моего детства.

## 2

Я всегда поражался и завидовал людям, хорошо помнившим свои детские годы. Иные, судя по общеизвестным воспоминаниям, помнили себя чуть ли не во младенчестве, в пеленках, и даже помнили ощущение протеста пеленаемого ребенка. Может быть, здесь больше позднейшего воображения, чем памяти? Такое сходное, самое первое впечатление есть и у меня: солнечный свет через простынку, которой завешивают меня, лежащего в люльке. Но и тут допускаю я, что это всего-навсего непреднамеренная, происходящая в нас незаметно для нас самих реконструкция: сколько раз после я сам по утрам натягивал на лицо простыню от мух, а потом и завешивал своих детей, так что хорошо мог представить себе вдруг этот солнечный свет... Да, и все-таки кажется, что было...

Есть и еще разрозненные воспоминания — это не лица, не события, а опять мимолетные, случайные ощущения. Одно из них свя-

зано с войной, с началом войны, и только поэтому могу я теперь установить, что было мне два года. Отец отвез меня в деревню, страшно торопясь, — сколько времени могли ему тогда дать, чтоб обернуться: сутки, двое? — выкопал в нашем бугре щель и уехал. Но это — по рассказам. И вот момент: темнота, где-то очень высоко гудят невидимые самолеты, и мы, кто точно мы, не помню, но уж наверное и дед, и бабушка, стоим в этой щели. Мне не страшно, во мне живет твердое, тем более твердое, что неосознанное убеждение, что со мной ничего не может случиться... Кстати, прекрасное убеждение это сохранялось во мне еще долго, до тридцати лет, до внезапной и мгновенной смерти отца, правда, уже подкрепляемое время от времени разными теоретическими, хотя и устаревшими положениями, какими мы пользуемся только в разговорах с собой, ну, к примеру, о предначертании, которое ты непременно должен исполнить, и раз еще не исполнил, то... и т.д. ...Еще один момент из того же времени и тоже связанный с самолетами, теперь днем: самолетов я не помню, но вывожу их из того, что моя старшая двоюродная сестра сидит у нас на дворе под большой кормовой кошелкой, то есть спряталась и смотрит вверх сквозь прутья, а я бегаю кругом этой кошелки. Тоже, значит, два года...

Но большая часть даже гораздо позднейших воспоминаний не соединена ни с какой исторической датой, и я совершенно не могу сказать, сколько лет мне было в то или иное мгновение. Вот какой-то летний праздник, — по яркости и свежести красок не Троица ли? — гуляли у нас, а сейчас идем через лес, к родственникам в другую деревню. Тут сразу два ощущения. Во-первых, я впереди всех, пальто мое в подражание взрослым заливчатски расстегнуто, руки в карманах, кепка набекрень, походка независима, и кажется мне, что все смотрят на меня и говорят в мой адрес что-то поощрительное. А во-вторых, в этот самый момент, когда я себя таким образом запомнил, тропинка, расширяясь, спускается по косогору к близкой опушке, и заметно прибавляется свету под деревьями, впереди же его еще больше, глаза заранее шурятся, а в лицо начинает веять сухим жаром полдня. И здесь, едва успев выйти на поле, мы — исчезаем, словно растворяемся в этом свете... Другой летний день, я стою

на дворе. Только что прошла короткая, но бурная гроза, с железной крыши дома еще текут струйки воды, а с соломенной кровли сарая срывается сплошная завеса капель, особенно сверкающая на фоне темного проема. Ласточкам снова не терпится вылетать, одна подлетела под самую стреху, будто посмотреть, как тут, на воле, повисела в воздухе, откинувшись назад, как бы опираясь хвостом на что-то незримое и трепеща крыльями, и опять исчезла под крышей. Печет еще жарче. Все пахнет так, будто кричит о себе. В углу двора большая куча навоза, выброшенная из котуха. Из скотины у нас — козы да овцы, и навоз этот есть соединение всех самых чистых, самых земных запахов — свежей травы и веток, полевых цветов, высушенного из вымени матери молока, горбушки хлеба, ухваченной из добрых рук хозяина, — и теперь этот запах запахов растекается по двору. А через открытые ворота сарая волнами наплывает аромат недавно подсохшего, не лежалого сена. И вдруг голова моя начинает жить как бы самостоятельной от тела жизнью, отделяясь и летя куда-то по громадной, космического размаха кривой, а покинутое тело мое еще успеваешь понять, что падает, и — через какое-то время я обретаю себя сидящего на земле... Никогда после со мной такого не бывало. Но когда это случилось? И что было раньше, что позже из этих двух моментов — лесная опушка на косогоре или двор?

Поступательного движения времени я не чувствовал. Оно лишь колебалось: время в городе, время в деревне, осень, зима и весна в городе, лето в деревне. И насколько яркими и праздничными, вот как тот свет через занавеску, вспоминаются деревенские картины, настолько однообразной, тусклой — как серый зимний рассвет, когда идешь в школу, — кажется теперь городская жизнь. И это при том, что ученьем я не тяготился, так называемые «знания» давались мне легко. Однако школьного времени, школьных событий, мгновений, лиц я почти не помню, разве что лет с пятнадцати, когда начала уже развиваться рефлексия, да еще так совпало, что с пятнадцати лет я больше не ездил на лето в деревню... Я думаю, оттого еще плохо помню город, что, приезжая в него, все равно был сосредоточен на летних впечатлениях, первое время вспоминал, потом незаметно воспоминания превращались в мечты... Вдруг припоминал я

какую-нибудь старую ветлу возле речки и недоумевал — как же не мог я на нее залезть?! Все окрестные деревья делились у нас на те, куда легко было залезать и куда трудно, куда ты мог влезть и куда не умел. Общего утверждения: «Я умею лазить по деревьям» — у нас не существовало, мы говорили: «Ты вон на ту ветлу залазишь? Я залажу!» Каждая из них требовала особой техники залезания, у иной сучья начинались так низко, что достаточно было подпрыгнуть, ухватиться, подтянуться — и, считай, ты уже на дереве; иные росли наклонно, и по ним можно было просто идти, нагнувшись, иногда чуть касаясь ствола руками, но бывали и старые, толстые, прямые деревья, первые сучья которых простирались над тобой недосягаемо высоко, и тогда имело значение все: и шероховатость коры, и какой-нибудь нарост, и небольшое дупло на месте выпавшего сучка, где жила теперь, будто сама по себе, тоненькая зеленая лозинка. На каждом таком дереве нами прокладывался незримый, но единственно возможный, проверенный путь, тайной покорения такого дерева снисходительно делился первопроходец: «Так... А ту ногу вон туда... Да не туда!» Научиться залезать на новое дерево всегда было открытием, было счастьем, с которым ни в какое сравнение не шло равнодушное удовлетворение от очередной учительской похвалы. «Бабушка, я на ветлу залез! — сообщал я, прибегая домой, и обязательно растолковывал, чтобы бабушка могла представить, на какую именно ветлу. — Возле моста! Ну, рядом с горелой!»... И вот, вспоминая среди зимы какое-нибудь еще не освоенное дерево, я мысленно начинал подниматься по его стволу, отчетливо видя, куда поставлю ногу, где схвачусь рукой, где прильну всем телом, и мне казалось, что это так просто! А строй особенно недоступных ветел с грачиными гнездами виделся мне из моего городского далека настолько слитным, что я воображал, как буду перелезать с дерева на дерево по ветвям, не спускаясь на землю. И мне уже не терпелось, я уже мечтал...

Да, и все-таки мои детские впечатления разрозненны, несвязны, ни одно из них я не могу продолжить: «А на другой день... А затем...» Есть какая-то беспорядочная последовательность воспоминания о детстве, но не строгая хронология самого детства. А

воспоминание о детстве началось вот с чего. Был за мостом, между большим бугром и речкой, такой луг — Низы... Низ а́, как сказали бы у нас в деревне, если бы употребляли это название в такой форме, но дело в том, что так никогда не говорили, а говорили: «Где? На Низах... Куда? На Низа...» Из лета в лето сажали там капусту, и, может быть, потому, что так я и воспринимал: Нанизах, и еще потому, может, что сидящие аккуратными рядами капустные кочаны издали действительно походили на бусины, — я никогда не связывал этот луг с низким местом, но с местом, где нанизано... Это я вспомнил точно, вдруг, неожиданно и обрадовался: значит, не окончательно все позабылось, могу и еще что-нибудь вспомнить. Пошли затем и другие подробности. А главное, дошел до меня характер моего тогдашнего восприятия, — оказывается, я не видел вокруг себя просто лес, речку, наш палисадник, небо, не слышал просто звук, не различал просто цвет, но всякий раз, неизменно, с самого бессознательного своего начала воспринимал себя, видящего дерево, купающегося в речке, слышащего гром, а уж с помощью себя, после, как следует — и дерево, и речку, и гром... Да вот хотя бы и первый тот свет сквозь простынку — не просто, а еще сильнее через радостное, покойное ощущение себя в чистом, так уютно закрытом со всех сторон мире... Не знаю, хорошо это было тогда или плохо, — потом-то, в рефлектирующем возрасте привело, конечно, к различным осложнениям, — но было так. И из этого я заключаю, что я был всегда. Не развился постепенно в себя, не обучился себе, не воспитался, не «сформировался как», а был всегда.

### 3

Из истории нашей семьи. Мой дед по матери Андрей Яковлевич Райский, несмотря на дворянское благородство фамилии, был из крестьян. Фамилия наша — среди нескольких Тюриных, Ваколовых, Савостьиных, Сорокиных — была одна в деревне. У нас есть две версии того, откуда произошла наша фамилия. По одной из них — кто-то в нашем роду якобы писал иконы и постоянно ходил перепачканный в голубых, золотых, в «райских» красках. Но это

маловероятно, мне кажется, если бы это действительно было, то обязательно сохранилось бы, передалось, пусть даже не как занятие, а как непреложный факт, и другой версии уже не было бы. По другой же — семья наша была когда-то очень бедной, самой бедной в деревне, и не потому, что бились из последних сил и не могли выбиться, а просто не заботились о достатке. Однако плохонький дом наш обладал для деревни непонятной притягательной силой: по вечерам сюда любили сойтись мужики, посидеть под деревьями, потолковать с хозяином, и вряд ли, я думаю, о делах — насколько мало интересовался мой предок жизнью практической, преходящей, настолько заморожен был, видно, созерцанием жизни вечной. Очень живо представляю я его, сидящего на скамеечке перед домом, а лучше на бревне, привезенном некогда для какой-нибудь надобности, да так и оставленном, и мужики покуривают рядком... Это место возле нашего дома называли «райский уголок». Незаметно и сами хозяева стали Райские — Райсковы, как говорили у нас в деревне... Вот это второе предположение кажется мне наиболее достоверным, и у деда моего подобная философическая черта была очень сильна. Как сейчас, помню его повторяющим в минуты задумчивости ломоносовский стих: «О ты, что в горести напрасной на Бога ропщешь, человек...» — и помню, как он его произносил — без пафоса принижения человека перед Богом, и без жалобы на тщетность человеческого ропота, но с каким-то примиряющим обе стороны чувством...

Бабушку мою звали Авдотья Филимоновна, в девичестве Грачева. Родилась она в Дубакине, в той самой деревне, что за лесом. О бабушкином отце, моем прадеде Филимоне, знаю только, что был он строгий и были у него свои земля и лес — это называлось «Заказ». Однажды мы с бабушкой провожали на станцию мою маму, как раз мимо Дубакина, живописно разбросанного по буграм, и дальше, где тропинка уводила в широкую лощину с небольшой речкой на дне, невидимой сквозь густой ольховник, и крутыми склонами, поросшими лесом. Отправив маму, — оба мы не любили ее слез при расставании, «Ну, будя, будя, ступай!» — сурово говорила бабушка, и мама моя, послушно утирая глаза, виновато улыбаясь и поминутно оглядываясь, уходила, — мы возвращались той же лощиной, и

бабушка вдруг сказала, указывая: «А это вот наш лес был...» Я поглядел на далеко простирающийся кверху бугор, уставленный редкими могучими дубами, — там, вверху бугра, не просвечивало, там тоже угадывались деревья, и помню, мне было как-то странно смотреть на наш лес, и впоследствии, когда случалось ходить здесь, всякий раз возникало это же неизъяснимое чувство, всякий раз я останавливался и внимательно и долго разглядывал эти дубы...

У бабушки было четыре брата: Андрей, Дмитрий, Василий, Матвей, сестры Анна, Мария, Марфа. Василий погиб молодым, в японскую, сохранилась его фотография: в мундире с портупеей, с двойным шнуром, красиво облегающим стоячий воротник и уходящим по груди к поясу, к подвешенной там тяжелой кобуре, в добротных сапогах с дужками шпор, с обнаженной шашкой...

И дед, и бабушка родились в одном, 1878 году. В молодости оба ходили работать в соседний городок, на «мануфактуру». Грачевы считались зажиточными, но когда дед посватался, бабушкины родители не противились: парень он был смирный, табак не курил, вина не пил, ну а бедность, как известно, не порок... Однажды — бабушка была уж сосватана — довелось из вдвоем возвращаться из города на выходной, пятнадцать верст, и все пятнадцать верст шли по разным сторонам дороги и молчали. Мало того, жених гостинец нес невесте — леденцы, орехи, семечки, — но тут, на дороге, так и не вручил, стеснялся. Бабушка ему потом вспоминала: «Ты бы, отец, хоть семечек догадался мне дать...» Было им тогда по восемнадцать лет... Поженившись, совсем остались в городе, стояли на квартире, по несколько семей в одной комнате. Дети пошли, всех было одиннадцать, выжило шестеро. Александра, Иван, Алексей, Василий, Герасим, Зинаида — моя мама. Называла бабушка и умерших: Татьяна, Дуня, Федор, Михаил... Чаще других вспоминала она самую младшую, Верочку, умершую четырех лет, — «горло захватило...». О ней бабушка больше всего тужила, рассказывала, какая она была разумная, красивая и ласковая, как плакала по ней вся деревня. Я тоже жалел Верочку, думал, как бы хорошо мы с ней играли, если бы она не умерла, почему-то мне не приходило в голову, что она была бы уже взрослой...

Живя при фабрике, дед Андрей одно время втянулся в убогий фабричный быт — с карточной игрой, с выпивкой. Азартный оказался в карты. Как-то проиграл всю получку, пришел к бабушке за единственной, сберегаемой про черный день золотой монетой. Бабушка дала. Все вернул и еще много выиграл... В германскую дед воевал. Об этом времени смутно помню один его рассказ. Когда пришла на фронт весть о свободе, стали якобы смещать плохих командиров, выбирать своих. Заплакал тут командир полка, старичок уже, седенький. А командир он был хороший, в полку его любили. И зашумели растрогавшиеся солдаты: «Оставайся, ваше высокоблагородие, как был, нашим командиром, другого нам не надо...» Помню, что рассказ этот был для меня тогда чем-то вроде притчи с моралью о торжестве добродетели: вот, старичок был хороший, добрый — и ему воздалось. Умиление в голосе рассказывающего деда передавалось и мне: я радовался за старичка полковника и почему-то еще более — за пожалевших его солдат...

После революции фабрика встала, наша семья вернулась в деревню, в тот самый «райский уголок», в избу, топящуюся по-черному, с земляным полом. В этой же избе жил брат деда Андрея Сидор, тоже с семьей. Еще жива была их мать, моя прабабка. Когда взрослые уходили на работу, она оставалась в доме одна с оравой ребятни, от которой напрасно требовала послушания. Внуки приволакивали со двора кошелку, со смехом усаживали в нее свою бабушку, после чего в избе начинал твориться чистый содом. Представляю эту немощную старуху, — как она, не в силах сама выбраться, тщетно грозит и бранится из своей кошелки...

Здесь, в деревне, пережили и великий голод, и тиф. В тифу лежали все, первым заболел Иван, но никто всерьез не поверил сначала в его болезнь, даже подсмеивались над ним в простоте, а потом и сами полегли. Иван первый зато и поднялся, ходил за всеми...

Когда старшие ребята подросли, дед Андрей стал наниматься вместе с ними стеречь скотину. Пастухам платили хорошо — и деньгами, и мукой, и картошкой — и кормили еще по очереди всей деревней. Вот это и при мне сохранилось, я помню, как загодя начинала хлопотать бабушка, как старалась она, когда наступал наш

черед кормить пастухов. В полдень мы несли им обед к стойлу, а вечером, прогнав скотину, они приходили к нам, и было странно видеть в нашем доме, за нашим столом совсем чужих людей, хлебавших молча, сосредоточенно, не как обычные гости — с разговорами, с новостями. Дед, правда, интересовался, куда думают гонять, какая где нонче трава, и старший из пастухов немногословно, с сознанием важности своего положения, отвечал. Покончив с едой и поблагодарив хозяев, они тут же уходили, и бабушка давала им еще узелок, на утро... Да, когда дети начали помогать, жить стало полегче. Снова открылась фабрика, дед пошел туда помощником мастера, с ним Василий. Решили строиться на новом месте. «Райский уголок» был возле самой речки, в половодье его всегда затопляло, ребята по двору на воротах катались. Новый дом, тот, что я помню, поставили как раз против прежнего, за речкой, на бугре. На старой нашей усадьбе при мне уж никто не жил, стояли там под ветлами колхозные трактора...

Как естественная потребность большой крестьянской семьи, появились в нашем хозяйстве лошади, коровы, овцы, прочий мелкий скот. На задах усадьбы построили ригу, обзавелись телегами, санями, санками, был также выезд — легкая тележка на рессорах. В нее запрягали Орлика, могучего жеребца, который однажды понес и чуть не расшиб деда... Все это отдали, вступив в колхоз, — одни из самых первых, без колебаний, без мучительных раздумий, известных нам из литературы о деревне того времени. И вот характерно, насколько моя деревенская жизнь, деревенские впечатления были отделены, обособлены от городских: в школе я узнавал о Кондрате Майданникове, но мне совершенно не приходил на ум противоположный пример — мой собственный дед, бывший таким же «крепким середняком»... «Нисколь не жалели, будто так и надо... Я как-то не жалела, и дед не жалел», — не раз говорила бабушка с каким-то сожалением, относящимся уже не к отданному добру, а к тому, что отдали без жалости. А я жалел — не коров, разумеется, не овец, но Орлика, я представлял его таким, как колхозный Треух, с белой звездой во лбу и белоснежным «носком» на одной ноге. Выезжал на нем только председатель, и, едва слышав, что Треуха

запрягают, мы сбегались к конюшне, всякий раз заново поражаясь его размерам, особенно длине, необыкновенной в сравнении с длинной рабочих лошадей. Это было самое мощное существо, которое мы могли видеть, — конечно, был трактор, была трехтонка, но они не играли, не переступали ногами, не изворачивали так замечательно шею, не скребли копытом дощатый настил перед конюшней и не брали так легко и стремительно с места, увлекая невесомую игрушечную тележку с председателем. Одухотворенная была мощь... Я помню, как ездили мы на палочках и я одновременно подражал посадке виденных мною наездников и пытался перебирать ногами и выгибать шею, как Треух. Еще помню, что никто из нас, ребяташек, не задумывался и не спрашивал у взрослых о его имени. Хотя, в самом деле, — отчего же Треух, при чем тут какие-то «три уха»? Потом, много позже, я догадался: Триумф...

Да, детство мое вообще прошло без вопросов, так часто приписываемых этому возрасту: откуда, зачем, почему? — и, может быть, оттого столь бедны во мне предания нашей семьи. Я принимал все как есть, как должное, в его целостности, не вникая в подробности, которые уже ничего не добавили бы к понятию мной главному... Где воевал дед, что за свобода пришла, почему командиры были плохие, я не расспрашивал, это были неважные сами по себе, но и необходимые условия для главного, а главное заключалось в том, что хорошие люди — солдаты и старичок, их командир, — вдруг догадались о своем родстве, прозрели насчет своего человеческого единства... Мое детское восприятие было не индуктивным, а дедуктивным: из целого я выводил частности. Вот приходил к нам иногда бабушкин брат, дядя Митя. Опять же — какой он мне «дядя», бабушкин брат? Но ведь не дедушка?! О дяде Мите я ничего не знал, кроме того, что живет он в какой-то из окрестных деревень, откуда и ходит нас проводить — раз или два в лето. Но главное я знал — то, что он мне сразу не понравился, всем своим видом, высокой, сухой, костистой фигурой, жестким, бритым, с морщинистой кожей лицом, скрипучим голосом, точно он все недоволен был чем-то, кого-то все осуждал... Вот этот его облик я сразу отверг, а уж потом мой неприязненный взгляд подмечал и мелочи: как за беседой цеп-

ко и нетерпеливо поглядывает дядя Митя на стол, куда бабушка для него собирает, и на красный наш буфет, где за фигурными стеклами поблескивают лафитники... И картуз его был мне неприятен — той же старинной формы, что у деда, но не белый, а темный... Подобная, частая, впрочем, у меня в детстве неприязнь только подчеркивала, как устойчиво любил я близких, деда и бабушку, любил ни за что, за все, не накапливая свое чувство по мелочам, день ото дня, год от года, но разом, с самого начала, — может быть, за то особое родство между нами, что они, как и я, тоже были всегда...

И вот когда начал я эти воспоминания и ощутил их скудную отрывочность, мелькнула мысль: поехать в деревню, порасспросить тех, кто еще жив, наведаться в городок, бывший уездный, а теперь районный центр: может быть, сохранились какие-то архивы, старые административные или церковные записи... И вдруг подумал: а зачем? Ну, узнаю я отчество моего прадеда Якова или прадеда Филимона и узнаю, таким образом, как звали прапрадеда. Что же еще? Узнаю, какая числилась за нами не до имка? Что из того, что взбудоражу я успокоившуюся землю и извлеку какую-то почернелую, готовую уж бесследно раствориться щепочку, тонкое волоконец от нашего родового древа? А до скольких не докопаюсь я еще Иванов, Семенов, Марф, Параскев? Да и чем отличны мы от миллиардов других, столь же безвестных? «Нет, — сказал я себе, — пусть они лежат, как лежали...» И не достойнее ли вот эти безвестность и покой посмертной участи тех, кого то и дело тревожит, судит или призывает в судьи между живыми суетная людская память...

#### 4

Но — дом! Что я помню прекрасно — до лопуха у плетня, до розетки подорожника сбоку тропинки, до последнего сучка и трещинки в бревенчатой стене над моим изголовьем — это наш двор и дом. Железная крыша нашего дома и стены снаружи были выкрашены в темно-красную краску, под углы подведены высокие кирпичные столбы. У дома было настоящее — не приступок какой-нибудь — со многими ступеньками крыльцо. Одна сторона крыльца с нача-

ла лета сплошь закрывалась хмелем, с другой тесно придвигалась сирень, третья оставалась открытой для обзора. Здесь вечерами любил сидеть дед Андрей, иногда на крыльцо выносили стол, самовар, пили чай... Перед домом был большой палисадник, усаженный деревьями и кустами: кроме обычных акации, черемухи, сирени, рябины, росли в нем несколько берез, осинка, тополь, две липы. Одна, у самой калитки, пошла ввысь, другая была приземистой, с пышной, шарообразной кроной. В ветви этой липы, приезжая в деревню, я всегда заглядывал: там, в глубине, имелась развилка из четырех или целых пяти сучьев, по моему мнению, как нельзя лучше приспособленная для гнезда. Но птицы почему-то не замечали ее. Однажды, помню, я даже принес и поместил туда найденное мной пустовавшее гнездышко — не столько для того, чтоб кто-то в нем поселился, не так я был наивен, но чтобы показать, обратить птичье внимание: вот, мол, здесь уже жили... Все зря — и в остальные годы развилка пустовала.

В нашем палисаднике собирал я грибы. У изгороди, на солнце стоял настоящий, перенесенный из лесу куст орешника и родил орехи. Я не сказал — каждое дерево, каждый куст перед домом были памятными. Вечерами, когда спадала жара и унималось дневное трепетание листвы, дед Андрей, посиживая на крыльчке, называл мне, кто какое дерево когда посадил. Березы — Василий, когда уходил на рабфак. Тополь — Иван, уезжая на фронт. Липы — Герасим с Алексеем. Рябину — сам дед... Уходя из дома, оставляли по себе память. Много было детей, не раз уходили — много вышло и деревьев... Сидя на нижней ступеньке крыльца, подперев рукой подбородок, я сосредоточивался невольно на каком-нибудь отдельном, вознесенном выше всех в светлое тихое небо листочке, замирал так же, как он, и в душе моей незаметно для меня, ненавязчиво укреплялся простой старинный завет: посадить возле своего дома дерево. Я не умилялся рассказу деда, не мечтал, не давал про себя торжественного обещания, вряд ли вообще об этом думал — это было для меня таким же естественным, самым собой разумеющимся делом, как, например, то, что завтра я пойду за грибами или на пруд, только более отдаленным...

Хорош был наш дом и внутри. Из просторных сеней дверь налево вела в избу, направо — в светелку. Прямо был выход на заднее крыльцо, во двор, это крыльцо закрывалось еще калиточкой, от скотины... Убранство в избе, как я теперь понимаю, было самое обычное: слева, под окнами, широкая и длинная скамья с прямой спинкой, стол, деревянная кровать. У другой стены, посередине, — печь. Легкие дощатые переборки по обеим ее сторонам отделяли кухню и дедов закуток, там стоял топчан, на котором он спал, над изголовьем на полочке разложено было его хозяйство: старые квитанции, письма, почтовая бумага, чернильница, очки в картонном футляре, некоторые листки с отрывного календаря, сберегаемые для памяти... В переднем углу висела всего одна икона с лампадкой, неподалеку, в простенке, — общая большая рама с многими фотографиями, численник, ходики... В светелке никто не жил, там не топились, служила она чем-то вроде подсобного помещения. В ней стояли укладки, большая и малая, бабушкина прялка, старая колыбель, огромный деревянный ларь, на стенах висели сита, пахло мукой... Соответственно имелись в доме два чердака. На одном, над избой, были темень, духота, смешанный запах золы, пыли, разогретой крыши. Вдруг, когда привыкали глаза, вставал в глубине темный столб трубы. Был этот чердак мне неприятен, казался он чуждым, мертвым, непонятным придатком к человеческому жилью — черный земляной подпол и то по необходимости был понятнее, в нем картошка хранилась. На избу я лазил редко, по-моему, даже кошка здесь никогда не ходила. Зато чердак напротив, над светелкой, был несравненно интереснее. Потолок там не засыпался, просто неподогнанные доски лежали на матицах, и в широкие щели видна была вся утварь внизу, пробивался оттуда свет, и представлялось, таким образом, что это не чердак, а та же светелка, другой ее этаж. И слуховое окно располагалось сюда поближе. Набросана была здесь разная рухлядь: помню самодельную тряпичную куклу с нарисованным чернилами лицом, старую солдатскую фуражку без козырька и кокарды, покрытую таким идеально ровным и плотным слоем пыли, что казалось, что это и есть материал, из которого она сшита. Был тут остов большого деревянного грузовика, — впослед-

ствии я увидел фотографию себя в возрасте двух лет с этим грузовиком, еще целым, и понял, что это был мой грузовик. Находил я здесь и книги, — в одной из них, тоненькой, с крупными, как в букваре, литерами, повествовалось о мужчинах и женщинах, вначале грешных, а потом, под влиянием какого-то необыкновенного случая, сделавшихся святыми... Все это после короткого исследования не представляло интереса даже для меня, однако увлекал сам процесс поиска, ожидание находки. Однажды, перелезая через переводины и осторожно ступая на непришитые прогибающиеся доски, обнаружил я где-то в щели порядочную пачку больших, синих и красных радужных бумажек с коронами и орлами — царские деньги. Я показал их деду, он глянул на деньги с любопытством, почти равнявшимся моему, любопытством первооткрытия, затем с припоминанием и с некоторой долей непонятого мной тогда смущения и — отдал мне, насовсем. В другой раз наткнулся я на книгу без титульного листа и первых страниц, со старинной орфографией, прочел там же, на чердаке, и забыл, и только много лет спустя, когда начал читать «Преступление и наказание» и дошел до того места, где Раскольников с топором стоит, притаившись, за старухиними дверями, то вспомнил очень отчетливо слуховое окно, косой солнечный луч с пылинками и узнал, что читал тогда Достоевского...

Бесконечно мог бы я рассказывать о нашем доме. Например, как особенно живописно выглядел он, если смотреть на него из-за речки, со стороны деревни. Да его и почти не видно было за густой зеленью, лишь часть красной крыши, но тем большее он привлекал внимание своей скрытой, угадываемой нарядностью. «А чей это дом, там, на бугре?» — неизменно спрашивали приезжие, несведущие люди... И я никогда раньше не задумывался над этим, но теперь, занявшись воспоминанием, проникаюсь все более твердой уверенностью: многие счастливые и несчастные стороны моего характера связаны именно с тем, что дом моего детства стоял особняком, над деревней, что был он лучше единственного по соседству Коробкова дома и — хотя никто не внушал мне это — вообще лучше всех домов, и с тем также, что была у нас необыкновенная, не схожая ни с чьими другими фамилия...

## 5

В Коробковом доме было двое ребят — Валька и Витька. С ними я в основном и водился, если можно так обозначить всю напряженную, переменчивую сложность наших отношений. Валька был года на два старше меня, Витька на столько же младше. Отец их погиб на войне. Жили они с матерью — Паней Коробчихой. По виду я, особенно к концу лета, ничуть не отличался от своих деревенских приятелей — такой же загорелый, заросший, босоногий, исцарапанный, — но жизнь у нас была, конечно, разная. Для меня вместе с летом наступал праздник, для Вальки с Витькой — пора тяжелого труда. С утра их мать, уходя на работу, задавала им дневной урок: прополоть столько-то картофельных гряд, натаскать воды с речки, полить огурцы или капусту, принести из лесу дров, да не одну вязанку, — ходили раза два-три. Даже грибы бывали заданием... Обычно я присоединялся к ним, тоже помогал бабушке с дедушкой: ребята за дровами — и я с ними, они таскают воду — и я ношу (лишь полоть мне не хватало терпения), но для меня-то вся эта работа не была обязательной, я в любой момент мог бросить, и бабушка сама останавливала: «Ну, будя на сегодня, отдохни!» Вальку с Витькой мать вечером обязательно проверяла и, если хоть что-то было не сделано, нещадно драла, оставляла без ужина. Помню: смеркается, все утихает к ночи, загораются на деревне скудные огоньки, и вот — бредут к нам от соседнего дома понурые две фигурки. Опять мать есть не дала... Участливые мои дед и бабушка кормили их, выслушивали Валькины жалобы, изумлялись: «Надо наказать — накажи как-нибудь, но голодом морить — слыханное ли дело?!» Не раз выговаривали они и соседке, когда та, в свою очередь, приходила излить душу: «Ох, Панька, попомнишь — вырастут дети, спасибо они тебе не скажут!» — и она вроде каялась, зарекалась, однако совладать с собой не могла. Миновал день-два, и снова за малейшую провинность лупила она Вальку с Витькой чем попадя, снова, уходя из дому, запирала в сундук хлеб и прочую еду, а зимой прибавлялось им еще одно наказание: выгоняла в чем были на мороз... Понятна была бы ее вынужденная суровая требовательность — сама

до вечера в колхозе, одна она по хозяйству не управилась бы, а огород, к примеру, много значил в то время для жизни, — понятны были бы даже вспышки горького вдовьего ожесточения, но все это вместе, а может, и что другое, соединившись, породили, видимо, в несчастном Панином характере постоянную, не подвластную ей самой озлобленность, вымещаемую на своих детях... Впрочем, не мне эту женщину разбирать, тем более осуждать. С годами она переменилась. Чем взрослее и самостоятельнее становились ребята, чем старше делалась сама Паня, тем сильнее начала проявляться в ней какая-то робость перед детьми, искательность, виноватость, и вот тут Валька... (это уже бабушка мне передавала — она, даже когда не стало нашего дома, все равно ездила каждое лето в деревню и была в курсе всех деревенских дел), и вот тут Валька будто бы сказал своей матери: «Ты, конечно, нам мать, и мы тебя не оставим, поможем. Но и как растила ты нас, хуже мачехи, не забудем...»

Не ждал я, что именно Валька скажет так — после всего, в общем-то, по-доброму. Ведь ему как старшему всегда больше доставалось, кроме того, маленький Витька очень похож был на погибшего отца, и еще поэтому, я думаю, мать невольно его щадила. Валька это чувствовал. На нем это жестокое воспитание сказалось сильнее, чем на младшем брате, он рос злопамятным, завистливым, недоброжелательным, постоянно настороженным и готовым к отпору. Ранняя, недетская сила сочеталась в Вальке с решительностью и бесстрашием. Однажды среди лета в деревне случилось небывалое наводнение. Дня три не переставая лил дождь, смиренная наша речушка превратилась в широкую, мутную и быструю реку, затопила низины, захлестнула далеко отстоящие ветлы. Помню, у самого берега, тихонько вращаясь, плыл цельной кочкой смытый откуда-то муравейник, на нем, спасаясь, сидела мокрая зеленая ящерица... Мы трое вздумали покататься на бревне. Возле берега-то было не страшно, потом, когда Валька предложил на середину, мы с Витькой забоялись и спрыгнули. Валька остался. Течение его подхватило. Мы, крича что-то восторженное, бежали следом, по мелкой воде. За размытой плотиной, ближе к лесу, поток с шумом ввергался в густые заросли ольхи, лозняка, куманичника, там, над водово-

ротом, бился грязно-желтый вал пены. Неизвестно, что стало бы с Валькой, если бы он попал туда. К счастью, недалеко от этого места, как раз на Валькином пути, стояла ветла, нижний ее сук нависал над стремниной. Заранее ли Валька сообразил или в последний момент, — но в тот самый миг, когда бревно проносилось под деревом, он ухватился за сук и повис. Его бревно тотчас умчалось, крутанулось напоследок и скрылось из глаз. А Валька подтянулся, оседлал сук, перебрался к стволу. Здесь он разделся, по другому, противоположному суку спустился в спокойную воду и, держа одежду над головой, вышел на берег... В другой раз, падая со школьной крыши — я уже упоминал: двухэтажная, по-старинному высокая была школа, — Валька успел заметить внизу, под стеной, груды камня, с силой оттолкнулся от края крыши и, извернувшись, счастливо, по-кошачьи упал, растянул только жилу на руке.

С этими необыкновенными качествами ему, конечно, нужно было властвовать, коноводить. Нечего и говорить, что Валька первенствовал среди нас, на бугре. Но для того, чтобы, живя на отшибе, утвердиться между деревенскими ребятами, требовались не только сила и смелость, но еще и смекалка, особая тактика. Валька это понимал. Мы-то с Витькой были плохие ему помощники, в этой борьбе он должен был полагаться на одного себя. Помню, что от его отношений с тем или иным «концом» зависело и наше с Витькой: мы то ходили на какой-то «конец», то не ходили... На «том конце» деревни, где была школа, жили позажиточнее, Валькины сверстники подобрались все здоровые, сытые, держались дружно, у многих были старшие братья. С ребятами «того» конца Валька без крайней нужды не дрался, первый не нарывался, в споре мог и смолчать. И не потому, что робел, — ранний житейский практицизм подсказывал ему, что не всегда можно взять силой, не всегда надо стремиться к первенству, иной раз первым-то и невыгодно быть! Представляю, как было порой уязвлено его самолюбие... Зато с «этим», ближним к нам концом Валька не церемонился. Жили здесь поплоче, да и соперников ему не находилось — кроме разве Серлёни. Самый крайний дом на «этом» конце, такой же неказистый и бедный, как и Коробков, принадлежал Серегиным. Было у них шесть или семь

ребят. Все темноглазые, белоголовые, круглолицы — отличались они друг от друга только ростом. Стригли их, помню, наголо овечьими ножницами, оставляющими на голове клочья волос... И все братья картавили. Старшего звали Сергей. «Скажи: сироп», — говорили ему в детстве ребята постарше, и добросовестно он отвечал: «Сир-лёп». — «А как тебя зовут?» — «Серлёня...» Так и закрепилось за ним — Серлёня. В имени его брата не было буквы «р», но его уже механически, по аналогии называли Корля... Они не обижались. Это были симпатичные, добродушные, мирные ребята. Серлёня был Валькин ровесник, в силе, ловкости, цепкости он ему не уступал. В нем и капли не было Валькиной злости, настырности, драться он не любил, однако никакой несправедливости, никакого насилия не терпел. Круглые глаза его широко раскрывались — он как бы изумлялся, что возможно такое вероломство, такая подлость, ведь только что так славно играли, — а в следующий миг уже бросался на обидчика. С Валькой они, бывало, дрались до крови, до обоюдного изнеможения, но победить Серлёню, сломить его Валька не мог. Позже он сообразил, что лучше оставить клан Серегиных в покое, ну, а все прочие ребята с «этого» конца его боялись...

Столь же практическим, как я теперь понимаю, — да, впрочем, и тогда чувствовал, — было Валькино отношение ко мне. А польза от меня была иногда та, что ко мне приезжала мать из Москвы с «гостинцами»: белым хлебом, сухарями, колбасой, конфетами, неизменной связкой сушек и т.д. Всем, что мне выдавалось — сначала помногу матерью, а когда она уезжала, понемножку бабушкой, — я бежал делиться к соседям. Как переменялось Валькино обращение со мной в эти дни, как становился он ласков, добр, как готов был заступаться за меня на деревне! Ведь это только может показаться, что в мальчишеской компании царят стихийность и произвол, а на самом деле там такая интуитивная иерархия, безмолвное распределение мест, такие четкие рамки для каждого ее члена, каких не достигнешь и между государствами, на бумаге со многими подробно обговоренными пунктами... Так вот, мои рамки в эти дни значительно расширялись, кто глянул бы со стороны, мог бы даже подумать, что я предводительствую. «Айда в Глинный за яго-

дами», — говорил я, и мы шли за ягодами. «Айда купаться!» — и бежали купаться... Угощая своих приятелей, я был далек от всякого расчета, я бы делился с ними и так, из чувства товарищества, но получалось, что я поневоле извлекал из этого какую-то выгоду. На «этот» конец летом приезжал еще один москвич, Вовка Хомяк, — Валька простирал свою милость то на меня, то на него, в зависимости от размеров наших «подношений». И что характерно: мы, два городских мальчика, не стремились подружиться, как можно было бы ожидать, но нам было дорого деспотическое, переменчивое Валькино расположение, и мы один перед другим еще сильнее старались его завоевать... Да, конечно, чего говорить, практицизм начал образовываться и во мне — здесь одно, до сих пор вызывающее стыд воспоминание. Приехала мать, а я с ребятами только что помирился, не исчезла еще между нами некая обоюдная отчужденность, настороженность, хотя я к ним уже ходил. И вот, захватив одну всего грушу, вроде бы для себя — невиданная была груша, и на грушу-то непохожа, бесформенная, с бугристыми боками! — я отправился к Коробкам. Ребята на земле возле крыльца что-то чертили, в «крестики-нолики» играли, что ли. На грушу мою они упорно не глядели, не те пока были отношения, чтобы глядеть или тем более спросить запросто: «Дай куснуть!» — и я, присев рядом и выбрав момент, начал подсказывать Вальке: сюда, мол, в эту клеточку ставь... Как бы невзначай, я указывал рукой с грушей, и что клеточка, не на клеточку вовсе я указывал, и Валька, судя по хмурому его лицу, это понимал, он еще лучше меня все это понимал... В тот раз мы не поссорились, не след было со мной тогда ссориться, ну а после зачлась мне, разумеется, и груша. Валька с его злопаятностью ничего не забывал и не прощал: ни сказанного поперек слова, ни прежних ссор, ни даже своего собственного временного благоволения.

Сколько раз влетал я в наш палисадник, преследуемый воинственным соседом до самой калитки. За калитку он, правда, не смел, но кричал: «В другой раз дома, на печке догоню!» Была у нас такая угроза. «Ладно, приткнешься еще!» — говорил я. — «Сам первый приткнешься!» — «Щелка!» — отвечал я, зная отлично, что тем

самым обрубаю все концы. Так Вальку дразнили на деревне за его маленькие, узкие, постоянно прищуренные глаза. Валька темнел лицом и молча искал под ногами, чем швырнуть... Дед с бабушкой, узнав об очередной нашей ссоре, возмущались Валькиной неблагодарностью: «Ишь, чуносый! Придет, прикинется сиротой казанской, слезы собирает, а мы-то его жалеем! Ну пускай теперь попробует, явится!» И мне в сердцах: «А ты не ходи туда! Вишь, он тебя лущует, а ты ходишь, еще оделяешь его! Надо маленько посмекалестее быть...» Совершенно не помню, не могу сейчас представить, как восстанавливались наши отношения, возобновлялись игры, но каким-то образом все налаживалось, снова я бегал к Коробкам, а они к нам, и по-прежнему в минуты Паниного гнева сердобольные старики, позабыв свои зарок, жалели Вальку с Витькой, кормили и утешали, и я, как мог, сочувствовал своим друзьям...

В эти мирные вечера на нашем крыльце Валька иногда пел. «Спой, Валентин», — просили его, и он не ломался, не смущался, не отнекивался. Песен он знал много, а любимая его была — «Как при лужку, при лужкэ, при зеленом доле («...при зеленой доле» — всегда слышалось мне, и я ничуть не удивлялся, так это было понятно: зеленая лошадиная доля, раздолье...), при знакомом табуне конь гулял на воле...». Вот тут я Вальке завидовал! Я тоже, случилось, пел бабушке с дедом, и они хвалили меня, но в этой похвале чувствовалось снисхождение: вот, дескать, малец, а все слова помнит, да и «на́ голос» верно. И в самом деле, я именно с этим старанием — удивить, блеснуть знанием песни — пел. А у Вальки мало что голос был хороший, но, главное, он исполнял песню серьезно, истово, с каким-то взрослым чувством. «Ты гуляй, гуляй, мой конь, пока не поймали, а поймают, зануздают шелковой уздой...» Я видел, как уважительно слушают Вальку бабушка и дед, сами большие любители и знатоки пения, слышал, как одобрительно говорят они ему: «Молодец!» — и даже ревновал их в эти мгновения!.. Да, странно, — я никогда не завидовал Валькиной силе, ловкости, не мечтал быть, как он, жожаком, но какого-то иного первенства, иной власти я все-таки жаждал. В чем могла выразиться моя власть, как ее достичь — я не знал и этими вопросами, конечно, не задавался, смут-

но лишь ощущая, что не на принуждении и страхе других людей она будет основываться, а на пробуждении в них любви ко мне.

Я не желал только внушать любовь и эгоистически ею пользоваться — нет! — я прежде всего сам любил, и, узнав о моей любви, начинали любить и меня, я любил еще сильнее, и в ответ проникались такой же сильной любовью, я был самоотвержен, и они делались самоотверженны, я являл образец любви и самоотвержения, и — и т.д. Мне мерещилась какая-то бесконечная, взаимная цепная реакция чувств, но — начавшаяся от меня, порожденная мною, и в этом-то и заключалась моя власть, ее смысл и цель, этим-то она и довольствовалась... Причем я уже понимал, выводил из маленького своего опыта, что не каждый человек может подпасть под такую власть, не во всяком возможно пробудить любовь. Чувствовал я, например, что никогда и ни за что не поддастся ей сосед Валька, вот почему я невольно всегда стремился отделиться от него и играть с младшим Витькой, в котором не развилась так, как в Витьке, житейская трезвость, приземленность, недоверчивость. Наши с Витькой игры были — в воображении, в них начисто отсутствовали дух соперничества, жажда победы, но была прелесть самой игры. Помню, как мы вдвоем ходили за грибами. На опушке мы договаривались: он будет «хозяином» леса по одну сторону тропинки, я — по другую. Затем возникала идея разделить и грибы: один из нас «распоряжался» белыми, другой — подберезовиками и подосиновиками, один — лисичками, другой — сыроежками... Переходя на «чужую» сторону или срывая «чужой» гриб, обязательно спрашивали разрешения друг у друга. Внезапно, в порыве великодушия, я позволял Витьке брать «мои» грибы без спросу, а он, соответственно, — мне... Да и чего только мы не придумывали, два бедных маленьких «хозяина» — леса и поля, воды и неба, — и какое чувство доверия, родства возникало между нами!.. Никто не командовал в тех играх и никто не подчинялся, не подразумевалась никакая несправедливость, но все-таки новые и новые условия придумывал и предлагал большей частью я, а Витька их принимал, и вот это, повторяю, было мое первенство, вполне удовлетворявшее меня. И еще это была, как я сейчас понимаю, моя победа на Валькой... Но, увы, — долго та-

кая идиллия продолжаться не могла: в другой раз с нами с лес шел старший Коробок — и теперь побеждал тот, кто скорей набьет корзину, или мы отправлялись играть на деревню, и посреди шума и азарта «прятки», «салок», «чижа», среди мгновенно возникающих симпатий, вражды, коалиций, тайных общих сговоров против кого-то одного, чтоб его «заводить», мой идеал властвования с помощью всеобщей дружбы и любви, конечно, был неосуществим, да я и сам забывал о нем, такой же возбужденный, разгорячившийся, как и все, выбегающий из кустов в чужой рубашке и кепке с торжествующим криком: «Обознатушки! Переваживай! Рёбя, выходи, Хомяку переваживать!»...

Но нередко и, пожалуй, чаще, чем с приятелями, я помню себя одного...

## 6

«...Были собаки, лошади, овцы, коровы, работники, были кучер, староста, стряпухи, скотницы, няньки, мать и отец, гимназисты-братья, сестра Оля, еще качавшаяся в люльке... Почему же остались в моей памяти только минуты полного одиночества?» — спрашивает писатель...

Может быть, потому, что наше воспоминание о прошлом есть воспоминание преимущественно о самих себе, а когда еще так полно, так чисто и беспримесно ощутим мы себя, когда так отчетливо почувствуем себя отдельно от других, как не в эти минуты? Деревне я обязан ранним и счастливым постижением науки быть одному. Такое естественное и прекрасное одиночество, как в детстве, я уверен, больше не повторяется. Есть смятенное, вопрошающее судьбу одиночество юности, бывает горькое одиночество взрослого человека, оставленного друзьями, любимыми, наступает одиночество старости, насыщенное воспоминаниями, лицами, голосами и укоризненными взглядами, обвинениями, оправданиями... Детское одиночество не томит, не гнетет, не удручает, оно цельно, замкнуто само в себе, не обращено ни в прошлое, ни даже в будущее, вбирает разве что из окружающего, оно — плодотворно, и я рад, что мое

детское одиночество пришлось на деревню, лето, было в окружении деревьев, птиц, полевых цветов, насекомых... Случались, правда, и очень часто, и в городе одинокие часы, — вспоминая о них, я всегда представляю себе начало городских сумерек, я вернулся из школы, пообедал, стою у окна, за окном мокрый снег, слякоть, черно-белая улица, надо делать уроки, я все ищу, чем бы отвлечься, не от уроков, а хотя бы от мысли о них, трогаю и рассматриваю цветы на подоконнике: алоэ с пылью в сочленениях ствола и листьев, недоступной для тряпки, цветную крапиву, еще какие-то, с сережками, опять гляжу в окно, там мокрый снег... Это не настоящее одиночество, это просто мальчик, оставшийся один в квартире и бессознательно, но неуклонно, как часовой механизм, всем своим существом отсчитывающий время до вечера и прихода родителей, до утра и школы...

В деревне я не искал уединения, оно само находило меня, например, лежащего в лопухах на задворках сарая, на теплой земле, в соседстве дремлющих кур — какая-нибудь еще встанет недовольно, поскребет, покидает землю из ямки под собой и снова угнездится, утопит шею, задернет глаз серой пленкой и вдруг мгновенно распахнет его, круглый и строгий. Я тоже закрываю и открываю глаза и, когда открываю, вижу близко над собой внутренность громадного толстого листа, прозрачнозеленую, высвеченную солнцем до мельчайшей жилочки, до пузырька в ней... И — без всякой мысли, без памяти о чем-либо: где я, что я... Иногда такая отъединенность от всего захватывала во время игры, — помню, вечерами, когда спадал зной, мы баловались на нашем бугре: ложились, плотно прижав руки к туловищу, и катились с боку на бок вниз, к речке. И вот остановишься где-то посреди бугра с кружащейся слегка головой, раскинешь руки и смотришь в небо. Оно уже не такое ослепительное, палящее, как днем, синева сгустилась и неотвратимо притягивает взор, и глядишь, глядишь, пока не перевертывается все: начинает казаться, что не лежишь под небом, а висишь над бездной, прилепившись спиной и распластанными руками к холодеющей земле, и сейчас она отпустит тебя и слетишь туда, не камнем, отвесно, а плавно, большими кругами. И тут незаметно для себя как бы разделяешься: ты опускаешься все ниже и ниже, сужая круги,

как в воронку, и ты же смотришь вслед себе, обращающемуся в точку, и тебе не то чтобы страшно, но невыразимо грустно при мысли, что никогда уж не вернуть себя из той вечерней бесконечной глубины...

Думал ли я в то время о вечности, о смерти, о Боге? Вряд ли. То есть о «боженьке», висящем у нас в переднем углу с непонятным выражением лица, я знал, знал в основном, что может он наказать, но, как всякому подобному обещанию со стороны взрослых, не очень-то верил. Никто и никогда меня не наказывал. Правда, он был — чужой, и в темноте угла было не различить, прячется ли в его глазах добрая и ласковая, разрешительная усмешка, тогда как перст предостерегающе поднят, и потому я нет-нет да и поглядывал с сомнением на этот перст... Но не в связи с «наказанием», а как о чем-то нескончаемом и всеобъемлющем, в сравнении с чем я всего лишь ничтожная, кратковременная частица, — думал, догадывался ли? Нет — в то время это было бы все равно что думать о себе, потому что я и вечность означали одно и то же. Я сам был нескончаем, бессмертен, и это не являлось моей верой или убеждением, но было безотчетно, несознаваемо, как ток крови, биение сердца... Конечно, я знал о смерти, видел умерших. Бывало, увлекшись своими делами, вдруг осознавал, что до слуха твоего давно уже доносится некий необычный для сонной деревни звук, и вот ты наконец его воспринял, встрепенулся, напрягаясь понять, выскочил за калитку, обшаривая взглядом улицу за речкой, ага, там толпа, и причитания, и плач, и движутся на тот конец, где кладбище, — хоронят! Стремглав мы неслись на деревню, невольно замедляя бег по мере приближения к процессии, с детским состраданием и одновременно жадно оглядывая все: сосредоточенные, жалостливые, горестные, плачущие лица провожающих, выползающих из домов и крестящихся старух, таких же, как мы, мальчишек, околачивающихся сбоку, и еще раз и еще, кружа все время взглядом вокруг главного — лика мертвеца, не решаясь приблизиться и неотвратимо приближаясь, скользнув по нему сначала бегло, как бы случайно, и тут же уведя взор, а потом приковываясь все дольше, с ужасом и отвращением... Но я помню совершенно точно: это не был страх того, что когда-то непременно

произойдет и с тобой, это было естественное отвращение к тому, что с тобой-то никогда не случится!..

...«Никто не остается язычником в царстве одиночества», — сказал какой-то французский писатель, романтик и христианин, но мое детское одиночество было, я думаю, именно языческим. Чаще и полнее всего я связываю его с лесом. Была рядом с нашим домом, на нашей же стороне речки небольшая роща под названием Руднево, туда я обычно и ходил. Тропинка по верху бугра, вначале натоптанная, становилась все неприметнее, сбегала вниз, — здесь, перед самой рощей, был луг, весь в цветах. Ромашки, колокольчики, незабудки, лютики — за совпадение этих названий с общепринятыми я ручаюсь, а еще у нас были свои, ребячьи: маленькие цветочки с малиновыми лепестками мы называли «часики», и точно, если поворачивать их между пальцами, начинали, как стрелки, вращаться и набегать один на другой лепестки, еще были «коробочки», большие белые зонтики на полых высоких стеблях, они росли поближе к воде, и их можно было есть, ободрав со стебля тонкую кожицу, был «анис», были невзрачные серенькие метелочки, на которых мы загадывали «курочка» или «петушок», в зависимости от того, как эта метелочка, ровно или с торчащим хвостиком, оборвется. И еще было множество голубых, желтых, красных, белых, лиловых, названия которым я не знал и до сих пор не знаю, а среди всего этого великолепия, как мрачный гость на пиру, обязательно высился где-нибудь одинокий, грубый, толстый, темно-зеленый конятник...

Через луг я мог и бежать, от обилия трав и цветов высоко, будто бежишь по мелкой воде, вскидывая ноги, но в лес я всегда вступал — чинно, молча, сосредоточенно. И сразу сворачивал с тропинки влево, на маленькую полянку в окружении дубов, — тут росли белые. Дальше у меня был ореховый куст, под ним, в прелюющих листьях, скрывались желтушки — так у нас называли лисички, — аккуратные, цвета сливочного масла кнопочки в начале лета, и они же большие, разлопушенные, с темными от старости, словно обугленными краями — к осени. Потом я шел к своему главному «белому» месту... И не надо было налетать, хватать, кричать «чур на одного!» — какое-то время я стоял и смотрел, еще и еще, стара-

ясь возобновить, продлить первое счастливое ощущение удачи. Начинал собирать, не торопясь, не трогая пока дальних, что на виду, прилежно глядя под ноги. Неизвестно откуда брались и оживали во мне наивные, суеверные ухищрения далеких наших предков, — я благодарил гриб за то, что он мне попался, и просил у него прощения, что срываю его, и умолял кого-то послать мне «ну, хотя бы еще один, пусть самый маленький грибочек», а когда он находился, я снова горячо благодарил, и просил прощения, и молил: «Ну, а теперь самый-самый последний, и все! Честно...» И, спохватившись, добавлял: «На этом месте...» Со стороны это действительно могло показаться священнодействием: я ползал на коленях, ворошил листья, что-то, наверное, бормотал... Лес этот я знал наизусть, помнил не только все старые, надежные, не раз проверенные грибные места, но и случайные, где когда-то, может быть, прошлым, а может, и позапрошлым летом, наткнулся на одинокий подъяблоневоый, или подосиновый, или белый. И в такие места я непременно заглядывал... Хорошо было, например, бродить в Березках — так называлась опушка на противоположной стороне Руднева, где кончался слитный лес и шла полоса редких, разбросанных старых берез, за которыми зеленело или желтело, смотря по времени лета, ржаное поле. Помню еще: далеко посреди ржи стояла одинокая дикая яблоня... По густой траве на тех полянах надо было ходить особенно осторожно, а найдя гриб, лучше всего опять же опускаться на колени и шарить, — там, один подле другого, сидели такие маленькие, крепенькие, с плотно подвернутыми к ножкам темными шляпками подберезовики. Или попадалось целое полчище свинушек, травинки намертво перехлестывали их, оставляя узкие, четкие, пересекающиеся следы на молодых, нежных, слегка вогнутых шляпках. А ближе к корням берез, в мелких усохших листиках и ломких опавших веточках, где суетились по своим делам муравьи, — с н о в а белые! И снова я ползал и выражал признательность кому-то — теперь, с полной корзиной, не так, конечно, горячо и искренне, как вначале, но все равно, обязательно, чтобы о н не обиделся, чтобы не припомнилась мне в другой раз моя неблагодарность... Замечали я тогда прелесть окружавших меня полей, перелесков, пригор-

ков, четы берез над желтой нивой? Намеренно, мне кажется, нет; никогда не останавливался я, не замирал в умилении, любясь видом, — все это незаметно, ненавязчиво входило в меня, становилось мною, дремало во мне, чтобы потом, спустя годы, пробуждаться счастливым, хватаящим за душу воспоминанием.

Долгое пребывание в лесу, наедине с собой, не наскучивало, не тяготило и тем более не пугало меня. Кого и чего мог я бояться в моем мирном краю, где не было ни нагромождения гор с пропастями, ни бездонных водных пучин, ни разбушевавшихся стихий, ни свирепых хищников, ни отвратительных пресмыкающихся? Единственный зверь, которого я видел в Рудневе, да и то всего раз, был заяц. Помню, как он беспечно выскочил на опушку, где я сидел, присел, оторопел, на задние ноги и — кинулся в поле. Вскочил в каком-то диком азарте и бросился было за ним и я, пока не сообразил, что это глупо: заяц был уже далеко, выметнулся на бугор и исчез... И из людей никто не встречался мне — деревенские из-за речки не ходили обычно в Руднево, у них был свой лес, по ту сторону деревни. Зато во множестве водились тут разные птицы, жуки, бабочки, кузнечики, шмели... И как не мог я осознать «нашего» леса, на который когда-то указала мне бабушка, так естественно, не задумываясь, считал этот лес моим, он и до сих пор — в воспоминании — мой лес. Я любил его немногие тропинки, небольшие уютные полянки, два старых дуба, стоящие поодаль от опушки, не страшился его пронизанных солнцем чащ, его темного оврага с пробивающимся на дне ключом и резким запахом трав и даже того мрачного урочища за оврагом, где всегда было сыро, глухо, деревья росли плотно, где ржавел папоротник и совсем не попадались грибы, разве что скрыпухи, истекающие на разломе горькой белой жидкостью, где птичьи голоса звучали реже и терялась тропинка, — я знал, что, если пойду вправо от нее и вверх, через несколько минут заголубеет небо между вершинами и я окажусь в Березках, а если налево и вниз, то скоро сверкнет в кустах речка, та самая, что протекает мимо нашего дома. Там, в лесу, у меня был и свой омут, где я купался. С моей стороны его закрывала старая толстая черемуха и ольховник, другой же его берег был открыт, чист, та половина

омута прогревалась солнцем. Я раздевался на бугорке, пробирался сквозь заросли к воде, держась за ствол черемухи, ступал на ее нижний полузатопленный сук, обрывался, замирая, в темную холодную глубину и поскорей выплывал из-под зеленого свода — туда, где на середине омута расходились навстречу солнцу снопы света...

...Помню, как однажды, спустившись к речке, услышал я за кустами плеск воды и разглядел купавшегося — это был парень лет шестнадцати-семнадцати, в моем тогдашнем детском восприятии большой. Купался он как-то странно: не пытался разогнаться на небольшом пространстве омута «на сажнях», или «на спинке», или хотя бы «по-девчачьи», то есть молотя изо всей силы по воде ногами, — он, как сказали бы у нас в деревне, просто курнулся. И было еще в нашем ребячьем языке особое для купания словечко «осмеляться». Мы не говорили: «осмелился взять без спросу», «осмелился залезть на самую макушку» и т.д. — «осмелиться» означало только одно: раздевшись, не стоять на берегу, не оттягивать этот миг, когда разгоряченное тело обнимет холодом, а кинуться с размаху в воду. «Ты осмелился? Я уж осмелился! Давай осмеляйся, не бойся!» — подбадривали мы друг друга в начале купания... Вот и этот парень как-то несмело осмелялся — стоя возле берега, он окунался, вставал, растирал грудь руками, и снова приседал с блаженной улыбкой. Одежда его лежала на том берегу. Заметив меня, парень присел насовсем, только голова торчала из воды. У него были светлые волосы и светлые, под очками, глаза — никогда в нашей деревне я его не видел... «Извините, — первый начал он, — наверное, это... в а ш е место, да?» И, помню, меня почему-то поразило не то, что он обращается ко мне на «вы», и даже не то, как он угадал, что это мое место (видимо, что-то такое, какая-то тень недовольства промелькнула на моем лице, пока мы друг друга разглядывали), но меня поразило, что он вообще заговорил об этом. Он, может быть, своим вопросом и утвердил для меня, заставил осознать, что это действительно мое место! Но согласиться с ним теперь — значит дать ему повод думать, будто я уязвлен его присутствием здесь, а кроме того, после его купания это место и в самом деле переставало быть моим, только моим, оно уже стало для меня — это я,

конечно, потом так определил, а тогда лишь смутно чувствовал, — оно уже было как бы осквернено... И, пожав плечами, я ответил: «Нет». — «Но вы, наверное, хотели здесь искупаться? Купайтесь, я сейчас вылезая», — предложил он. — «Да нет же, — повторил я, начиная ощущать какое-то превосходство над этой нелепо торчащей из воды головой с мокрыми, прилипшими ко лбу, потемневшими прядями, над этим «вы» в ее устах, над светлым близоруким взором из-под очков, казавшимся еще более расплывчатым и зыбким из-за капель воды на стеклах. — Нет. Я никогда тут не купаюсь. Я из лесу иду... За грибами ходил», — пояснил я и для пущей убедительности приподнял и показал ему корзину. «А-а... Вы из этой деревни?» — по-прежнему не поднимаясь из воды, кивнул он в ту сторону, куда я шел. «Да». — «А я — из той, — голова оборотилась. Я знал, что там, за полем, оврагом и еще полем есть деревня, но не бывал в ней. — Тогда... если вы не против, я буду приходить сюда...» — Он, видимо, хотел сказать «купаться» и почему-то не сказал. Все более крепнущее ощущение превосходства делало меня соответственно все сдержаннее, и я снова только пожал плечами, намереваясь идти. «До свидания! Может быть, мы с вами еще увидимся!» — крикнул он вслед. Оглянувшись, я увидел сквозь ветви, как он, оскользаясь и цепляясь за прибрежную траву, лезет из воды, увидел его незагорелое совсем тело...

Потом я еще не раз проходил здесь и даже, наверное, чаще, чем раньше, стал возвращаться из Руднева не верхом, а низом, вдоль речки, но странного того парня больше так и не встретил. Причем всякий раз, подходя к омуту, уверял я себя, что вовсе и не хочу его там застать, и, казалось мне, это было вполне искреннее нежелание — все-таки омут еще оставался немножко моим, — однако, завидев его невозмутимую тихую гладь, я бывал как-то непонятно для себя разочарован... Много позже, припомнив ту встречу, начал я раздумывать, что же невольно влекло меня тогда и заставляло искать ее снова, и вдруг сообразил, что, возможно, это была некая интуитивная и точная догадка о нашем внутреннем сходстве, родстве... Парень тот непохож был на деревенского, он, как и я, конечно, приезжал из города, и, может быть, ему в той деревне не с

кем было водиться или он, большой, не умел плавать и стеснялся купаться в их деревенскому пруду... Но сходство было не в этом, напротив, тут его почти не было, а было оно, обнаружилось в тот момент, когда он спросил про место, мое ли оно, и вот поэтому я еще ответил: «Нет», что мгновенно почувствовал наше родство, и что-то в этом родстве мне не понравилось, и, сказав «нет», я тем самым от этого родства отрекся. Мне было тогда неплохо и одному. Он, разумеется, тоже был одинок, но не так, как я, — он близился к иному, более уязвимому, мучительному, более взрослому одиночеству. И, может быть, оттого и жалел я, не встретив больше его, не рассмотрев еще раз как следует, что был это мне как бы первый знак, предупреждение в моем собственном, детском, привольном, покойном, беспечном пребывании с самим собой... Но, повторяю — понял я это все гораздо позднее...

## 7

Впрочем, был еще род одиночества, странного, и хотя по времени приходилось оно и на деревню, но в детство в деревне я почему-то его не включаю. Я говорю о чтении. При сельсовете имела небольшая библиотека, куда я довольно часто ходил. Но какие брал я там книги, какое действие производили они в моей душе — я не помню. Отлично могу представить вновь высокое крыльцо сельсовета, комнатку за легкой дощатой перегородкой, особенный запах книг, молодую библиотекаршу Валю, оставшуюся в моей памяти необыкновенно красивой, и солнечный свет сквозь ее пышные белокурые волосы, оттого что окно помещалось за ее спиной. Она встречала меня неизменно ласковым восклицанием: «Уже прочитал?!» Наверное, я был по-детски влюблен в нее, но это не выражалось у меня в том, что я переминался с застенчивой улыбкой, смущался, краснел — напротив, с незнакомой мне самому серьезностью, с каким-то даже отрешением я ходил вдоль единственного ряда полок у стены, а когда Валя пыталась помочь мне, что-то советовала, кратко, почти сурово отвечал: «Читал... Читал...» Наконец я выбирал книгу, сразу же, сойдя с крыльца, открывал ее и, пере-

листавая на ходу, брел потихоньку по дороге к мосту, под старыми ветлами, в вершинах которых стоял оголтелый крик и хлопанье крыльев молодых грачей. Не доходя до моста, я спускался к броду, по-прежнему не отрываясь от строчек и ставя босые ноги на ощупь, осторожно, потому что берег здесь был ископычен скотиной и подсохшие, окаменевшие края следов больно врезались в кожу. Какое-то время я стоял посреди речки, отвлекшись, наблюдая за спугнутой мною стаей мальков — как они вскоре успокаивались и стройно начинали ходить в мелкой воде возле самых моих ног, с удивительной точностью и согласием разворачиваясь все разом вправо, влево... А оказавшись на своей стороне, я и вовсе сядился где-нибудь в зарослях бурьяна и сирени на пустой Кусковой усадьбе...

Случалось, спохватывался я, только когда книга была дочитана, так что впору было нести ее менять, да поздно: я замечал, что уже вечерело, трава холодила ноги и что давно и бессознательно отмахивался я от комаров. Надо мной молча и целеустремленно пролетал запаздывающий к гнезду грач, так низко, что в шуме его крыльев я различал двойной звук — шелест и одновременно какое-то поскрипывание перьев. Или замечал я, что рядом, коротко зажужжав и вновь опрокинувшись, в который раз старается преодолеть путаницу травинок майский жук; инстинктивно я схватывал его и чувствовал, как он щекочет мне ладонь шершавыми, скребущими на месте лапами. Слегка разжимал я пальцы, и жук незамедлительно выбирался из недр моего кулака — лобастый, как маленький бычок, и, наверное, от этого сходства кажущийся таким же обиженным... Но что я читал?! Не помню. Видимо, все подряд, ведь говорил я, как много лет спустя узнал прочитанное у нас на чердаке «Преступление и наказание»... Разумеется, некий, неизбежный для детства перечень: «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо», «Остров сокровищ», «Робинзон Крузо» и т.д. — хранится в моей памяти, и вполне возможно, что какие-то из этих книг пришлось на деревню, но все-таки в целом все это чтение связывается для меня с городом. Именно в городе, в замкнутых его стенах продолжает работать пробужденное книгой воображение, мир д`Артаньянов и капитанов Немо входит в твой собственный, лишенный внешних

впечатлений, претворяется в нем, и начинаешь чертить тайные карты своих островов, изобретать гербы и флаги своих государств и, выскользнув на улицу с пробочным пистолетом в кармане, крадешься чужими дворами, полными незримых и очень еще явных опасностей, потому что это взрослый человек может безнаказанно войти в незнакомый двор, а в мальчишечьем мире зорко следят за нарушителями границы... Жизнь книжная переплеталась с жизнью действительной, вернее, со слабым подобием ее, — оттого так хорошо и помнится чтение в городе. В деревне же — хотя, казалось бы, где и поселиться Робинзону, или Зверобоею, или Следопыту, как не здесь, но вот тем не менее — книжный мир отодвигался сразу далеко: и без того всего было много для жизни. Лес, речка, печеная в костре картошка, набег на гороховое поле... А как, по всем правилам осады, разорвалось нами гнездо шершней в дупле старого дуба! С перебежками, залеганием, подползанием, метанием ядер, сделанных из сырой глины... Каждый из нас знал, чем рискует, — мы дружно и твердо верили, что у страшного этого насекомого сто жал и все смертельны. И когда, случалось, через несколько дней проходил мимо этого места и видел, как из круглой дырочки, прогрызенной в серой просохшей глиняной стене, вылезает, будто переламываясь, гигантская оса, то опрометью, согнувшись, кидался в кусты — вдруг возникало совершенно точное ощущение, что она запомнила, отличила тебя с прошлого раза и сейчас узнала...

...Да, мир прочитанного имел в те дни продолжение только в самом себе, то есть возобновлялся в тот момент, когда я опять принимался читать. Впрочем, не пытаюсь вывести из этого никакого правила: живи я в деревне безвылазно — и все, может быть, было бы по-иному... Или будь я тогда более восприимчив к слову... Я завидую тем, наделенным, видимо, исключительной чувствительностью и рано развившимся сознанием людям, которые уже в детстве поняли, что такое «Сказки» Пушкина, «Вечера» Гоголя. Конечно, мог бы и я сейчас постараться подыскать какие-то свои слова об этих великих и дорогих мне вещах, но по отношению к тому времени, о котором идет здесь речь, это было бы неверно: ничего, кроме начала истории, как витязь разыскивает свою суженую,

истории, разрешавшейся благополучно, не заключалось для меня тогда в строках: «У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том...» Но что-то ведь, помимо любопытства, «чем кончится», приковывало меня на долгие часы к книге, что-то во мне закладывалось?! Я думаю теперь, что чтение не было для меня процессом, однажды начавшимся и с тех пор непрерывным — от первой, разобранной по складам, книжки и, скажем, до той, что сегодня лежит на моем столе, — но происходило кругами. И этим я не хочу лишний раз подтвердить, что мы зачастую возвращаемся к некоторым книгам. Просто тогда, в детстве, я проходил через первый круг чтения, когда на данном нам от природы пресловутом «белом листе», или, лучше сказать, чистом холсте сознания не изображается пока ничего, никакого рисунка, но совершается нечто вроде грунтовки, приготовления к изображению. Моя память и понятие о литературе относятся уже ко второму и следующим кругам, когда начали появляться в душе какие-то эскизы, наброски, варианты и проступать постепенно замысел всей картины, какую, наверное, являет собой внутренний мир каждого из нас под воздействием прочитанного. Тут можно было бы еще порассуждать, как эта картина соотносится с той, что накладывает «сама жизнь», но это уже далеко от детства. Скажу только, что отдельные редкие следы в том первом, никем не руководимом и не направляемом круге чтения все-таки сохранились и я натываюсь на них до сих пор. Это — мои странные взаимоотношения с некоторыми словами и выражениями. Никто ведь не объяснял и не растолковывал мне их, и привычки спрашивать у меня не было. Как мне казалось наиболее благозвучным, так и расставлял я ударения в незнакомых словах, как умел, толковал для себя их смысл. Например, очень долго слово «небожитель» означало для меня «неверующий в бога», то есть тот, кто не молится, не божится, как говорили у нас в деревне. И совсем уж недавно, случайно, — видимо, потому, что выражение это редко теперь услышишь, — узнал я, что такое «гробы повапленные». Узнал и точно вспомнил, что в детстве это показалось мне символом какого-то небывалого, предельного, какое только может быть, кощунства. Стояли где-то гробы с усопшими, мгновенно вообразил

я, встретив однажды это выражение, и вот кто-то злонамеренный их опрокинул, поВАлил. Все раскрылось, распалось, повыпадали мертвецы в последнем их убранстве, и по этому поводу раздался некий вселенский воПЛЬ ужаса. Гробы поВАПленные... Воображаю теперь, как если бы кто-то, не случайный, посторонний взгляд, а чье-то объемлющее, всепроникающее и умудренное сознание подсмотрело за моим, детским, бедным и пока не ведающим о себе, но самостоятельно и сосредоточенно работающим где-то в зарослях бурьяна, — какую это бы, наверное, вызвало грустную усмешку...

## 8

...И была все-таки одна детская боязнь — ночной темноты. Не знаю, откуда она взялась — никто никогда меня ни темнотой, ни связанной с нею разной нечистью не пугал. Ну, певала, может быть, бабушка когда-то обычное: «Придет серенький волчок...» — но для того возраста, о котором я сейчас говорю, звучало бы это смешно, потому что помню я свою боязнь не просто как безотчетную, совсем младенческую, но с одновременным желанием ее победить, для чего и уходил каждую ночь спать один в сени. А перед тем, уже заранее, странно и угнетающе начинала действовать на меня пора сумерек, приуготовление к ночи. Давно прогнали по деревне скотину, и бабушка с дедом во дворе — она доит, а он помогает ей, держит за рога нашу старую, с норовом козу Серку, и не держит даже, а просто стоит рядом, слегка касаясь рукой покатога волнистого рога. Я сижу у раскрытого окна с книжкой, но букв уже не различить, только серые полоски строчек, а оглянешься: в избе еще темнее. Сумерки давят меня и обволакивают, как нечто вязкое, я слабо сопротивляюсь им и чувствую, что и все живое вокруг сопротивляется, но безуспешно. Звуки сквозь сумерки доходят медленно и тут же гложут: чей-то разговор на деревне, сонно взвизывшиеся на ветлах грачи, громкий, на всю избу, и оборвавшийся стук ходиков, и странно далекий голос деда со двора: «Ну, ступай, ступай...» И кажется мне, продолжайся без конца это наступление ночи — так бы и сидел я у окошка, неподвижно, в каком-то оцепенении... Но

вот в сенях слышались шаги, входил дед, обтирал ноги и замечал сердито: «А ты все глаза ломаешь?!» Он проходил к лампе, зажигал ее, гремя спичками, не сразу, а постепенно отвертывая фитиль, давая нагреться стеклу, и тут же на улице окончательно становилось темно, а я оживал со светом в избе...

Мы ужинали — ломтя домашнего черного хлеба и кружки парного молока бывало мне достаточно, — я бурно протестовал против увещеваний лечь в избе, дескать, и ночи уже холодные, желал бабушке и дедушке спокойной ночи, с внутренним томлением отворял и затворял за собой дверь избы и оказывался в темноте. Первым делом проверял я задвижки на обеих сенных дверях и смотрел еще, заперт ли вход в светелку. Потом ощупью находил большую деревянную кровать в углу, ложился, заворачивался с головой в отсыревшее слегка одеяло, оставляя маленькую дырочку, чтобы дышать, и — не дышал, не шевелился... Очень скоро мне становилось жарко под тяжелым ватным одеялом, кроме того, ничего не видеть и не слышать было еще страшнее. Тихонько я выпрастывал голову, поднимал ее от подушки, вслушиваясь в окружающий меня мрак сеней, всматриваясь в неприятный мне черный треугольный зев чердака над избой. Рядом со мной в бревенчатой стене было крохотное квадратное, не забранное ничем окошечко. Я садился и сбоку, осторожно выглядывал в окошко, там серела и двигалась ночь, угадывались темные массы деревьев. Вершины их шумели, не умиротворенно, как днем, а предостерегающе и тревожно. Небо закрывалось тучами, которых тоже не было днем, в просветах еще различались одинокие мелкие звезды. Тусклый и далекий блеск их никак не наводил на мысль о бесконечном и величественном многообразии мира, но как бы отталкивал взгляд обратно, сюда, к застывшим тучам, деревьям, к бревенчатой стене, окошку, мраку, и говорил: «Вот — мир»... Так я мучался долго...

Спасали меня живые звуки. Вдруг доносилось из избы приглушенное покойное похрапывание деда или где-то за речкой начинали петухи, а вот и наш, и соседский спохватывались, и странно — после долгой, отрадной их переключки всегда словно светлело... Но даже не потому, кажется мне теперь, в сказках о нечистой силе

пение петуха издавна считалось спасительным, что предвещало скорый рассвет, а потому, что в темноте и тишине, когда все живое будто затаивается и боится обнаружить свое присутствие, громкий да еще троекратный вызов петуха бесстрашен... А то со стороны двора, снизу вверх по стене раздавалось быстрое, в первый момент ледящее душу царапанье, и затем уже внутри дома, на чердаке, протяжное, не обращенное ни к кому, какое-то самоуглубленное мяуканье. Это возвращалась с ночной охоты наша кошка, на чердаке у нее был лаз. Звуки приближались, я знал, что кошка идет по балке в мою сторону, чтобы прыгнуть на кровать и с кровати на пол. Какое-то время, примериваясь и решаясь, она мяукала прямо надо мной, затем смолкала, и следовал прыжок, причем ни разу не попадала она на меня. Я быстро схватывал ее и судорожно гладил, как бы упрасывая остаться со мной, и, когда кошка, соглашаясь, сворачивалась рядом на одеяле и из глубины ее начинало исходить тихое успокоительное урчание, засыпал и я, уж не слыша, как под утро, мягко прыгнув, она покидала меня... Но самое большое облегчение приходило почему-то с дождем. Шум деревьев делался все сильнее, порывистее, тревожнее, и вот слышался первый звук, будто большая птица, вроде ворона или ястреба, прохаживалась по нашей крыше, оскальзываясь и стуча жесткими когтями. И — все затихало. Новый, сильный и последний порыв ветра, опережая приближающуюся во тьме стену дождя, отрывал первые струи и веером швырял на крышу. Затем вступал на нее и сам дождь. Мерный шум его звучал сперва в дальнем углу, за трубой, нарастал и становился особенно гулок над пустотой сеней, уходил дальше и снова как бы стихал над светелкой, потом эта неравномерность звучания смешивалась, сглаживалась, и ровный торжественный гул заполнял все пространство под крышей. Я вновь, уже без боязни приникал к окошку: в лицо мне веяло посвежевшим воздухом, деревья больше не роптали, там, снаружи, стоял тихий шелест льющейся воды, прерываемый лишь частыми и звонкими ударами капель, падающих с навеса крыльца на нижнюю ступеньку... С каким-то благодарным чувством я опускался на подушку — своим убаюкивающим шумом, этой шелестящей пеленой дождь надежно укрывал, будто простын-

кой с четырех углов колыбели, завешивал меня от чего-то, от таинственного страха, заключавшегося для меня в темноте, в тишине темноты...

Утомленный долгим ночным бдением, я не слышал, как пробуждались птицы, отряхались с листвы последние капли, как вставала со светом бабушка, доила и выгоняла коз... Зато как было радостно вдруг воскреснуть и увидеть над головой сквозь слуховое окно уже набравшие силу и яркость солнечные лучи и, приподнявшись, снова увидеть их в мучавшее меня ночью окошко! Что же мерещилось мне тогда по ночам, в одиннадцать-двенадцать лет, — ведь не домовые, не лешие? Тем более что все это очень скоро прошло само собой: на другое лето я уже спокойно отправлялся спать на огород, под навес, пристроенный к сараю, и не было ни дверей, ни щеколд, ни стены, ни окошка — был дедов тулуп да подушка, набитая соломой, и соломенная подстилка шуршала и кололась, и сколь угодно таинственно шелестели надо мной деревья, шарахалась спросонок овца за стеной, однообразно наяривала на деревне гармошка, и визжали девки, скрипела ночная птица, ходили в вышине светлые облака, и близкие грядки источали запах влажной, политой к вечеру земли. Все, и я сам, было полно той жизни, которая раньше для меня с наступлением ночи прекращалась. И я думаю, что тот прежний страх был звучащим во мне отголоском давнего времени, когда утро означало для нас рождение, день — жизнь, вечер — умирание, а ночь — небытие. Насколько я, живущий теперь всегда, умом не задумывался о смерти, настолько, видимо, бессознательно мучался ночью воспоминанием о былом небытии. И всякий намек на продолжающуюся ночью дневную жизнь утешал, успокаивал меня. Видимо, так. Иначе этого я объяснить не умею. И, наверное, страх этот свойствен нам только в детстве, ведь не было же его у моих бабушки и дедушки, которые каждый вечер, устав от дневных трудов, зевали, крестились и произносили с какою-то отрадой, как молитву: «Ну, день прошел — и слава богу! Можно и на покой...» Тогда это означало для меня одно: пора спать. Но как теперь понимаю я это, звучавшее в их устах, — на покой...

## 9

Помню еще особенные, томительные дни затяжного деревенского ненастья: льет и льет дождь, и уже не сменяют ведра, чтобы запасть дождевой водой, давно переполнено выставленное к углу крыльца корыто, и из него, переливаясь через край, берет начало ручей, струящийся вдоль стежки. Не видно кур, они укрываются под домом или в сарае, но и там не расхаживают, не переговариваются, как обычно, и даже не дремлют — просто стоят молча, оцепенело, в каком-то тупом, вопросительном ожидании. В палисаднике все уныло, листва на кустах и деревьях обвисла, а грустнее всего почему-то смотреть на мокрые темные кольца загородки. Дед, что-то делавший во дворе, возвращается, отряхивая и оставляя намокший плащ в сенях, но все равно с его приходом в избе возникает на время в избе неуютный и зябкий запах сырости... Дни эти безвозвратно выпадали из деятельной мальчишечьей жизни — что можно было тут предпринять? Можно было бы, вложив один угол мешка в другой, так что получалась накидка, покрывающая голову, плечи и спину, пробежаться по холодной скользкой траве к соседям, но и у них такое же безделье и скука... И вот, по отвесной лесенке из дубовых, давно отполированных руками и ногами, плашек я забирюсь к бабушке на печь; здесь всегда пахнет разогретым кирпичом, постланной сверху овчиной, сушеными грибами, и совсем по-особому, будто чем-то тонким укалывая ноздри, пахнет пересохшими березовыми поленьями, заготовленными на лучину для растопки. От прочего мира мы отделены пестренькой ситцевой занавеской, уличный свет пасмурного дня, делаясь в избе еще серее, становится у нас вовсе полумраком. «Бабусь, — прошу я, — расскажи случай». — «Да я уж не знаю боле, все пересказала», — отказывалась она. — «Ну, снова расскажи, — тот, про солдата!»...

Случай — это, как я теперь представляю, не очевидная быль, но и не сплошь придуманная история, это некое смешение их, порождение какого-нибудь дикого, возможного разве в темной старине факта, потрясшего и запомнившегося своей ужасностью, и рассказывать о котором впоследствии начинают только так: «А вот

еще, в одной деревне было...» — но в каких краях и в какое время существовала эта «одна деревня», никому не известно. Бабушка моя подобных «случаев» знала не так уж и много, и помню, что чаще всего я упрашивал ее рассказать про солдата. Наконец она соглашалась... «Ну вот, в одной деревне это было... Отслужил один солдат свою службу, а раньше помногу служили, и пришел домой. Постучался в избу, а уж стемнело. Мать-то его, одна она жила, и не узнала. Ну, не узнала, а он возьми и не скажись. Попросился, вроде как странник, переночевать. Завтра скажусь, мол... Поужинали, чем бог послал, легли спать. А мать с вечера, когда разбирался он в своем мешке, заприметила у него какое-то добро, може, ей же подарки. И, позарившись, ночью солдата-то и убила!.. Ну, утром пошла за водой. А его, как он вечером по деревне шел, кто-то уж видел, признал. Слух-то в народе пошел. Вот бабы у колодца ей и говорят... — Тут бабушка, наверное, чувствовала, что надо, наверное, как-то оживить, сделать подостовернее эту историю, где оставалось неведомо ни как солдата звали, ни мать его, ни какое добро было у него в мешке, и решала почему-то вставить для этого свое имя, хотя, господи, разве можно было вообразить ее на месте той страшной старухи! — ...вот бабы ей и говорят, ну, как мне бы, к примеру, сказали: “Авдоть, с радостью тебя!” А та знать ничего не знает: “С какой такой радостью?!” — “Как с какой?! С сыном! Сын ведь твой из солдат пришел!”... В этом месте обычно бабушка умолкала, и я спрашивал: «А дальше?» — «Ну, что дальше? Кинулась она глядеть, и впрямь — сын!»... — «А дальше?» — приставал я. — «Все! Чего уж дальше — мать сына убила!» — серчала бабушка... Теперь и я понимаю: чего уж тут могло быть дальше, но тогда я все-таки жаждал продолжения, мне нужен был какой-то внешний, похожий на назидание итог — описание уничтожившего ту старуху раскаяния и горя или того, как народ прознал и наказал ее, — словом, что-то, что никак не искупило бы и, пусть не для старухи, а для меня уравнесило бы хоть немного этот тяжкий и будто замкнувшийся внутри себя грех. Но бабушка, чуждая праздного морализирования, ничего более к «случаю» не прибавляла, моя же фантазия лишь возвращалась вспять и рисовала мне только низкую и тесную избушку

с непроглядной чернотой за стеклами, печальное дрожащее пламя не то свечи, не то лучины, озаряющее простую некрашеную столешницу со скудным ужином и две темные, согнувшиеся по сторонам стола и как бы застывшие фигуры, матери и сына, а лиц их я уже не различал... И странно, теперь мне и самому не надо было «дальше»: в этой исполненной зловещего предчувствия картине — как они согнулись и застыли, словно придавленные ощущением того, что должно было произойти с ними, — вот в этом единственном, воображенном мной миге вдруг виделась и постигалась мной непонятным для меня образом бесконечность...

...«И шепотом рассказывать мне станет о мертвецах, о подвигах Бовы...» Нет, ни о лихих Полканах и Добрынях, ни о мертвецах и подвигах Бовы, ни об Иване-царевиче с Василисой Премудрой, ни даже об Иванушке-дурачке или хитрой кумушке-лисе и вечно простоватом Топтыгине — никаких сказок в те ненастные дни на печке да и вообще никогда моя бабушка мне не рассказывала. Все это я прочел сам и в том, более позднем возрасте и настроении ума, когда воздействовать на мою душу и воображение сказки уже не могли. И сам я ничего не придумывал, не громоздил одно вымышленное приключение на другое, но зато какое завораживающее значение навсегда получили для меня реальный факт, каждое врезавшееся в память отдельное событие, какой заключался в них непреложный и бесконечный по возможности созерцания и постижения смысл! Недаром, видимо, столько раз просил я бабушку повторить «случай» — поскольку невозможно было его продолжить, расширить, чтобы стал он в сей жизнь, постольку надо было вновь и вновь его воспроизводить, пытаясь внутри него, в его замкнутых пределах отыскать намек на эту бесконечную жизнь... И не знаю, благодаря ли немногим тем «случаям», которые я теперь начисто, кроме как о солдате, забыл, из-за отсутствия ли ранних впечатлений, пробудивших бы фантазию души, но до сих пор любое подсмотренное мной и запечатленное мгновение, пусть грустное, пусть даже трагическое, — все равно больше и отраднее говорит мне о вечности и жизни, чем очень долгая и последовательная смена самых, казалось бы, благополучных событий...

Да, но отчего бабушка моя, Авдотья Филимоновна, при всем несомненном для меня богатстве и талантливости ее натуры, не рассказывала и, наверное, вовсе не знала сказок? Я думаю, это прямо вытекало из ее характера, сдержанного, доходящего до строгости, порой до суровости во всем, что касалось внешнего проявления даже ее собственных, истинных чувств, и тем более — вымышленных, представляемых. А ведь чтобы рассказывать сказки, не просто излагать содержание, но по-настоящему их рассказывать, нужно именно представлять, играть, создавать разные образы, изображать хитрых и доверчивых, добрых и злых, действовать на воображаемого слушателя, вселяя в него, где надо, грусть, и печаль, и страх и подводя умело к тому неизбежному моменту, когда все это разрешится в радость и успокоение по поводу счастливого конца... Бабушка «представлять» не любила, а раз не любила, значит, и не умела. Представлять, ломаться, кривляться — означало для нее одно и то же. Ее отличало природное неприятие всякой игры, — разумеется, игры внутри своей, однажды данной тебе, единой и цельной человеческой сущности, — и в других она этой игры не одобряла, оттого, живя впоследствии у нас в городе, не соглашалась ходить ни в кино, ни в театр, не смотрела телевизор. «Эк, эк выламываются!» — с осуждением, бывало, говорила она, глянув мельком на экран, и, когда передавалась какая-нибудь «сцена из балета», я еще мог не удивляться ее невосприимчивости, ее отказу понимать, но, например — пьеса Островского?! Или другие — также «истинно народные» произведения?!.. В таких случаях я, уже взрослый и, стало быть, «думающий и наблюдающий», испытующе поглядывал на бабушку — не привлекут ли ее внимание эти бородатые купцы и мужики с их обязательными кафтанами, сапогами и проборами посреди головы, эти старухи в цветастых шалях, с их всамделишными старушечьими голосами, с вечным приговариванием «так-то, батюшка мой», и эти философствующие босяки в расхристанных рубахах, и, наоборот, помалкивающие, аккуратно застегнутые на все пуговицы мастеровые, словно знающие что-то про себя и выжидающие чего-то, и вконец потерявшиеся мещане с их общим, мучительным, бесконечным переталкиванием: «Нет правды... должна

быть правда... а где правда... в чем она, правда?!» — и видя, как бабушка безучастно продолжает в сторонке заниматься своим штопаньем или вязанием, сам звал ее посмотреть, на что Авдотья Филимоновна, махнув рукой, отвечала неизменно: «А, бóзнять што они там показывают!»...

Но как она настораживалась, как оживлялась, когда слышала знакомые звуки своей, деревенской песни! А если была в это время где-нибудь на кухне, я, уже без сомнения, бежал и сообщал торопливо: «Бабусь, там по радио — “Меж крутых бережков...”!» — и бабушка тотчас шла в комнату, садилась прямо и строго и со строгим же, придерчивым выражением лица вслушивалась.

Меж крутых бережков  
Волга-речка течет,  
А за ней по волнам  
Легка лодка плывет.  
В ней сидел молодец... —

и когда бабушкино лицо прояснялось и сама она начинала тихонько подпевать: «Шапка с кистью на ём...», это был знак, что исполнение ей нравится. Слушал и одновременно вопрошающе следил за бабушкиным лицом и я, потому что это была и моя песня, то есть наша с нею песня, потому что это была самая первая песня, которой бабушка обучила меня в детстве. И так же внимательно и серьезно, как сейчас певца, слушала, когда я, маленький, пел ей:

Он ко бережку плыл,  
Лодку в мель становил,  
Сам на берег взошел,  
Соловьём просвистал...

Грустная это была песня: на том берегу в высоком тереме жила красотка, ее-то и вызывал молодец своим свистом. Но —

Муж красавицы той,  
Воевода лихой,  
Молодца повстречал

Он в саду над рекой.  
Долго бились они  
На крутом берегу,  
Не хотел уступить  
Воевода врагу...

А заканчивалась она, как и начиналась: «Меж крутых бережков Волга-речка течет...», только теперь по волнам уж не «легка лодка», а «шапка с кистью плывет»... Эх, как жалел я молодца, удалого, смелого, ловко правящего веслом и вот только что исполненного непонятной мне тогда, но хорошо чувствуемой дерзости и отваги! Помню, однажды, наверное нарочно для меня, бабушка спела эту песню с другим концом, где молодец уплывал и увозил с собой красотку, но это все равно не могло дать мне нового, легкого и счастливого восприятия песни, я ощущал почему-то, откуда-то я уже знал, что настоящий ее конец — тот, печальный... Да и все те песни были печальны: и Ермак тонул в Иртыше, не доплыв до своих челнов, и ямщик замерзал в степи, передавая жене обручальное кольцо, и рябине суждено было век качаться одной, вдалеке от дуба, и нянька доносила князю на Ваньку-ключника, который «призаривал княгиню своим белым лицом»... Особенно трогала меня одна из них: «Над серебряной рекой, на желтом песочке...» — и ни от кого, кстати, кроме бабушки, я ее после не слышал. Пелось в ней, как один молодец напрасно искал свою возлюбленную — «долго девы молодой я искал следочка» — и вдруг услышал колокольный звон.

Над серебряной рекой колкол раздается,  
У меня ль, у молодца, сердечико бьется...

Сел он на ворона коня, конь стрелою полетел прямо к церкви. Молодец взошел на паперть, помолился богу... — и в том, что не сразу вошел он в церковь, а помолился сначала, заранее чудилась мне обреченность, угадывалось несчастье, — затем:

Тихо двери отворил, там народ толпою,  
А размилую мою водят вокруг налою.

«Опоздал, вишь. С другим уж ее венчают», — спев песню, обыкновенно прибавляла бабушка, как бы поясняя мне, что означает «водить вокруг налою», но я и сам чувствовал эту роковую, мучительную бесповоротность, непоправимость свершившегося. Почему, как так вышло, что молодец потерял свою разmilую, что оказалась она с другим в церкви, пока он искал ее, в песне не говорилось, да и не надо было: главное было — тоска, горькая кручина молодца, и еще я чувствовал, что безнадежная эта тоска странно превращается в моей душе в мою собственную, приятно теснящую, полную смутных надежд и мечтаний грусть...

Сколько песен слышал я от бабушки в детстве! Смолоду был у нее сильный голос, который и до старости сохранился. За голос, рассказывала она, звали ее когда-то даже в город, в хор, но бабушка не пошла: «Не было раньше у нас такой моды по деревням, шtbody в какой-то там хор...» Я-то, конечно, по младости, по наивности жалел, что не очутилась она в хоре, не стала знаменита, что «пропал ее талант», не умея еще задаться вопросом, а пропал ли он, про па да ю т ли в о о б щ е т а л а н т ы — разве талант есть нечто, засвидетельствованное непременно большим количеством людей?.. Зато была бабушка желанной и любимой гостьей на всяких деревенских праздниках, свадьбах, гуляньях — и из своей, и из соседних деревень приходили, приезжали за ней празднично преображенные, веселые, ласковые: «Теть Дунь! Без тебя наказали не ворочаться!» — «Что ж, такое дело — надоть собраться...» Песни были ее страсть, и был, кстати, только один главный смысл, в котором употребляла она слово «играть»: играть песни... Все это никак не противоречит сказанному мной выше о нелюбви бабушки к «игре» — ведь песню не надо было «представлять» на людях, ее можно было петь и для себя, тихонько, за делом, ну, а если в застолье, так в месте со в с е м и. В песне сдержанная бабушкина натура давала себе волю, вот тут она выпевалась! Но и тогда не позволяла себе бабушка никакой похвалбы, не выказывала без нужды всего своего голоса. Опять же потом, в городе, когда доводилось ей слышать профессиональных и даже великих певцов, заметил я, что ей не нравились в исполнении именно те места, где артист начинает... как это назы-

вают специалисты: «варьировать мелодию»? «создавать образ»?.. Ближе всего, но и то не всегда, было ей пение Руслановой, ее бабушка постоянно слушала с особенным, ревнивым вниманием. «Голосу-то сколько, голос-то какой богатый! — говорила она. — А “на́ голос” не так!» И запевала по-своему... Помню, как однажды, слушая в исполнении Шаляпина «Прощай, радость, жизнь ты моя...» — разумеется, «в обработке», — когда от слов «как садились на песочек» и дальше голос Шаляпина стал неудержимо нарастать, угрожающе крепнуть, Авдотья Филимоновна сказала с неудовольствием: «Орёт, как его кто душит!» Мне было тогда неловко за бабушку — ведь Шаляпин! — но неловко и за Шаляпина, потому что тут я не мог не доверять бабушке, потому что это была одна из самых любимых ею песен, и у нее было свое понимание и своя манера петь ее...

## 10

Не представляю, как бы я помнил, что бы я знал о бабушке, да и вообще о нашей семье, если бы не выпало нам с нею вот это позднее, после «детства в деревне» общение.

В первый год занятий в университете увлекся я фольклором и диалектами, ездил в студенческие экспедиции в Архангельскую область. И вот, наслушавшись там бойких, говорливых и голосистых старушек, начал я по-иному прислушиваться и к своей бабушке, сам стал расспрашивать ее. Конечно, говор наш был победнее, попроще северного, не встречались в нем эти неожиданные для уха, прелестные соединения многих приставок и суффиксов, так что хорошо знакомое слово обретало какое-то обновленное звучание и смысл, казалось вот только что сотворенным. Могли сказать в нашей деревне: коровка, коровушка, коровёнка, но никогда не сказали бы — коровёнчишка. Могли сказать: урвал, подскочил, но не придумали бы — приурвал, заподскакивал... Были и у нас свои, близкие и памятные мне с детства деревенские словечки: бедовый, скорохватный, мудровать, жалиться, страмить, вдóсыта, греховодник... — но все это было устоявшееся, неизменное, привычное, не было той цветистости, многозначности, праздничности речи, творческого

отношения к ней, не было таланта на разговор, как ощутил я это на Севере... Так же просто и моя бабушка говорила, так продолжала она говорить и прожив более десятка лет в Москве, — никогда не замечал я в ней стремления усвоить новое, «городское» слово и щегольнуть им... Зато выведал я у нее, что знала она, оказывается, помимо общеизвестных для той поры, еще множество других песен — обрядовых, хороводных, круговых, игровых, величальных, — какие давно уже не пели в деревне, а пели, наверное, во времена бабушкиного девичества, когда собирались парни и девки на лугу, а зимою — по избам. Не знала и не любила только причетов — по той же, видно, причине, о которой я говорил прежде...

Бабушка, надо думать, и сама забыла, что знает те песни, но мои расспросы пробудили ее память, и часто с этих пор слышал я, как она потихонечку, сама как бы пробуя, начинала:

Вдоль по морю...  
 Вдоль по морю... морю синему...  
 По синему...  
 По синему, по Волынскому  
 Плывет стадо лебедушек...

И, перебив себя — скороговоркой, чтоб не нарушить, не пресечь течения песни: «Это уж старинная, это бóзнать какая старинная!» — продолжала:

Эх, уж так плывет, уж так плыве-от,  
 Да не встряхнется,  
 Не встряхнется, не ворóхнется...

...Услышал я тогда же и про разбойничков, которые шли «из тех лесов дремучих» и несли в могучих руках сраженного своего товарища, «молодого Чуркина». Очень нравилось мне в этой песне сочетание суровости и трогательной братской любви, скорби по убитому:

Носилки не простые,  
 Из ружьев сложены,  
 И поперек стальные  
 Мечи положены...

Давайте поскорее  
Могилу брату рыть...  
Мы выроем, опустим  
И скажем: брат, прощай!  
Прощай, прощай, наш братец,  
Товарищ дорогой...

И я уже привык, что, спев иную песню, Авдотья Филимоновна обязательно прибавляла, чья она: «Это Васильева любимая... Все, бывало, просит: “Мам, сыграй!”» Или: «А эту дед Филимон часто пел...» Песня деда, то есть для меня прадеда Филимона — бабушка по деревенскому обыкновению не различала: и мой дед Андрей был «дед», и собственный ее отец Филимон назывался «дед», — поразила меня совершенной безысходностью, звучала она одинокой, кроткой жалобой на мир, на людей, на судьбу и выпевалась словно на одной горестной ноте. Я запомнил ее от слова до слова:

Все люди живут,  
Как цветы цветут,  
Одна моя голова  
Вянет, как трава.  
Куды ни пойду,  
В беду попаду.  
С кем сведу совет,  
Ни в ком правды нет.  
Кину-брошу я мир,  
Уйду в монастырь.  
Я там буду жить,  
Монахам служить.

Не думаю, чтобы эта песня выражала сущность самого деда Филимона — он был работящий, содержал, и не в бедности, большую семью, и, мне кажется, песня нравилась ему, как порой нравится нам удачно выраженное кем-то и обычно нам не свойственное состояние духа, и оттого, что несвойственно, нравится еще более... Припомнив песню деда Филимона, бабушка вспоминала и его самого: «Дед Филимон был строгий, а детей любил. Бывало, мои расходятся, а у меня их четверо уж было, тетка Матрена и скажет: “Ох, Авдоть, набаловала ты ребят!” А он ей с печи: “Матрен, Матрен, смирей твоих нету,

как у тебя их нет. А дети — все с баловством растут...» И я уже ощущал, проникал, как человека, этого прежде абстрактного для меня «строгого прадеда», начинал любить его и за грустную его песню, и за добрые слова о детях — единственные и немногие его слова, дошедшие до меня бог весть из какой старины, из какого дня...

Но отчего я тогда, лет в восемнадцать-девятнадцать, так жадно ухватился за все это, так приник — к бабушкиным песням, к ее рассказам о нашей семье, о деревне, о старине?.. Сам я в ту пору переживал смутное, тревожное время, с неожиданными и резкими сменами настроений, от радужного до самого угнетенного, был исполнен всяческих сомнений, и прежде всего в себе, неизвестно откуда брались и вспыхивали во мне вдруг озарения, откровения относительно дальнейшей моей жизни, равно непреложные в своей безотрадности или, наоборот, лучезарности, вера оборачивалась отчаянием... — короче, было со мной то, через что проходит, развиваясь, всякая молодая душа. И накладывалась на все это, осложняла, усугубляла еще любовь, не детская, даже не юношеская с ее светлой безотчетной грустью, но по силе томления, по связанному с нею трагизму чувствований близящаяся к мужской... И вот сижу я, бывало, за своим столом, оцепенело склонившись над белым листом бумаги, пытаюсь отыскать хоть какой-нибудь эквивалент, внешнее выражение — разумеется, в стихах! — своим ощущениям, и вдруг ловлю себя на том, что давно уже отвлекся от себя и прислушиваюсь к бабушкиной песне или к рассказу ее, который она ведет, не спросив, слушаю ли я ее ай нет, — как строились на новой усадьбе или как забрались к нам ночью в светелку воры, а дома никого, дед куда-то по делам уехал, и ребят, как на грех, не было, и бабушка, услышав шум, сразу смекнула, вышла в сени и сказала громко: «Кошка, должно быть, в светелку забралась! Лексей, Гарасим, вставайте, кошку надо выгнать!» Воры-то и убежали... Или как Лексея, когда скотину стерегли, бык поддел: «Лексей-то тоже, малый бедовый был, вон что одумал — красное яблоко взял и на спор перед быком встал! Бык его и толкнул, ну ничего, легонько... Бабы со стойла бегут, шумят: “Дядь Андрей, тетя Дуня, вашего Лексея бык брухнул!” Дед к стаду, а я за ним, боюсь, щас он Лексею еще наподдает — дед горячий был, баловства не терпел... Ну, а все-таки мы с ним

хорошо жили, с дедом твоим, не ругались... Бывало, поспорим если, так норовишь один на один... Мы вот на квартире при фабрике стояли, хозяйка говорила: “Вон, лучше Раисковых никто не живет. Сколько они у меня на квартире стоят, никогда худого слова друг дружке не сказали...” Выпимши, бывало, придет, я вижу такое дело, я с ним и не связываюсь. Утром трезвому скажу: што ж ты делаешь-то?! “Ну, мать, прости, больше не буду...” И на людях никогда не пострамила... Ну, он тоже — труженик был, дед-то. Мы с ним, как не хотели бедствовать, всю жизнь работали... Я неделю полежу в родильном дому — и на работу. Недельных оставляла... А вон сколько ребят вырастила, да какие все ребята-то!.. — Потом, помолчал: — Надясь видела я его. Пришел вроде такой ласковый, борода светлая, поцеловал даже. Тут я пробудилась. Не знаю, что дальше было... Звал, наверное... И то — жить-то маленько осталось. В деревне, на своем погосте — как славно схоронят. К деду поближе... Ай там уж кого положили рядом?»...

«Господи! вот истинная жизнь, — говорил я себе, слушая свою восьмидесятилетнюю бабушку, — вот истинное чувство! Что такое все твои теперешние страдания, вся сложность твоих мыслей, которым придаешь ты столько значения... как ничтожны они в сравнении с этой простотой, с этой жизнью!..» И — отрезвляли, укрепляли, спасали меня немудреные бабушкины речи... А еще, повторяю, в наших разговорах как бы восполнялось мое невнимательное, забывчивое, беспонятливое детство...

Обмолвилась она однажды, что могла заговаривать. Нарвал как-то у дяди моего Ивана зуб. «Терпел он, терпел и взмолился: “Ой, мам, заговори!” — “Да как же я тебе заговаривать буду, ведь ты комсомолец, в бога не веруешь!..” А сама уж шепчу! Прошло...» Вспомнил тогда и я, как сам заболел в детстве непонятной болезнью — единственный, кстати, раз, что болел я деревне, — с жаром, беспамятством, бредовыми видениями. Что это было? За фельдшером, он жил в соседней деревне, верст за семь, не ходили — то ли с обычной деревенской верой «авось обойдется», то ли с непривычки вообще обращаться к врачам. Не знаю, сколько времени пролежал я пластом, не в силах двигаться, есть, попросить о чем-то... И что-то

необыкновенное сотворилось с моим зрением и слухом — словно к нервам, ведающим ими, приставили какой-то регулятор и кто-то забавлялся, вращал его, то совсем выключая мои уши и глаза, то обостряя их восприимчивость до степени, для меня непереносимой. Был я укрыт пестрым лоскутным одеялом, и вот казалось мне, что я нахожусь где-то высоко-высоко, а всхолмленная равнина одеяла далеко внизу, вся в крошечных разноцветных кусочках. И вдруг эта равнина начинала стремительно надвигаться, оставляя передо мной всего один, гигантский, пламенно-красный, с оранжевыми завитками узора лоскут, болезненно резавший мне глаза, продолжавший резать их даже сквозь прикрытые веки... Так же мучал меня и звук. «Это муха, — понимал я в минуту просветления, — она жужжит и бьется о стекло...», но понимание уходило, а звук оставался, истончаясь до комариного зуда или, наоборот, обращаясь в почти самолетный гул, перемежаемый тяжелыми, вязкими ударами: бум-м... бум-м... Потом все выключалось: зрение, слух... И вот в какой-то миг, это было ночью, я очнулся. Очнулся и не расплывчато, как все до сих пор, а явственно, насколько возможно было это в темноте, различил возле себя бабушку, увидел ее, крестящую меня руку, услышал ее шепот... так же отчетливо мелькнуло во мне, что она меня заговаривает, и с благодарностью и доверием отдал, подставил все свое существо под этот целительный шепот, соединивший в себе и слова молитвы, и языческое заклинание: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа... выйди, щука, из синя моря... выйди, хворь...» И опять провалился куда-то... А наутро, проснувшись — именно уже проснувшись, а не очнувшись, — с радостью ощутил живительный голод и не просто захотел есть, а попросил почему-то головок зеленого лука с черным хлебом. День был тихий, серый, накрапывал дождик, бабушка ходила в огород, принесла пучок мокрых глянцевого перьев с белыми омытыми луковичками — они были в ту пору как раз молодые, сочные, скользкие под верхней кожей, — накрошила мне их, полила подсолнечным маслом, отрезала до середины ломоть большого круглого хлеба. Я съел и попросил еще, потом еще... Маме, которая вскоре приехала, мы с бабушкой дружно, не сговариваясь, о болезни моей не сказали...

В нашей деревне еще при мне жили две одинокие загадочные старухи, Фекла и Анисья, известные способностью ворожить; мы, ребяташки, называли их промеж себя «колдуньями», рассказывали о них друг другу всякие невероятные истории и мимо их домов пробегали всегда с замиранием. Люди ходили к ним за наговорной водой и маслом, звали к заболевшей скотине... К моей бабушке с подобными просьбами никогда не обращались, об умении ее никто не знал, и сама она этой славы о себе не распространяла, справедливо, видимо, полагая, что мало тут простого «заговора» — нужно, чтоб слово было соединено с думой о близком человеке, с любовью к нему... Очень сдержанная с виду была эта любовь — ни при каких обстоятельствах, например, не сочувствовала бабушка моим детским слезам, могла одернуть: «Што рюмы-то распустил?!» — или поощрить насмешливо и добродушно: «Поплачь, поплачь, помене посышь!» Но никогда не могла моя бабушка крикнуть ни на меня, ни на кого так страшно, как однажды, слышал я на деревне, одна старуха крикнула на моего приятеля, своего внука: «А-а, пр-ралик тебя расшиби!»...

...Рассказала она мне еще свой давний сон, совершенно дивный, необычный, сон во сне, по яркости, образности и грозности представившегося ей знамения — прямо апокалиптический. Пришлось Авдотье Филимоновне, что выходит она во двор и видит: на небе, в половину его, огненная курашка — так называли у нас курицу с цыплятами, — да такая сердитая, крылья расщеперила и цыплят своих кругом себя так и клюет, так и клюет!.. И — пробудилась бабушка. А тут вроде воскресенье, в церковь к обедне пошли. Все уж зашли в церковь-то, а бабушка поотстала: «Думаю, дай взгляну к маме на могилку... Подхожу: мама-покойница сидит в оградке. “Здравствуй, говорит, дочка!” А мне и ничуть не странно, вроде так и надо. И сразу про сон ее спросила — вот, говорю, мама, сон нынче какой удивительный видела, к чему это? “О, дитя, это к войне!”... Тут я спохватилась: “Што ж, говорю, ты здесь сидишь, пойдем, наши все уж в церкви!” — “Нет, дочка, — она мне отвечает, — нам этого не велят: со своих могил сходить...” — “Ну, так я за ними сбегаю, я ментом!” Побежала — и проснулась... Эх, думаю,

што ж это я — и не спросила ее, как ей там, и не попрощалась...» Сон этот, во сне же истолкованный, действительно приснился бабушке незадолго перед Первой мировой войной: «Тут вскорости и афишки расклеили...»

...И наконец, что-то ведь она имела в виду... что-то ведь должно было для меня означать, и с каждым годом потом значило все больше и больше, наполнялось все более определенным смыслом то, что мне, не кому другому из многих детей и внуков, а именно мне передала бабушка в последние годы самое дорогое, что у нее осталось, — коробку, где сохранялись ею письма сыновей с фронта, деда из больницы, кое-какие семейные фотографии, — все, что так часто мы с нею перебирали, разглядывали, перечитывали... И может быть, оттого я и пишу сейчас эти строки...

...Опять же в юности, в пору всевозможных самостоятельных теоретических построений, когда стал я пытаться как-то привести в порядок свое сумбурное, раздерганное восприятие себя и мира, очень интересовали меня человеческие лица — то есть в том смысле, насколько соответствуют они внутренней, духовной сущности человека, какие бывают здесь закономерности, а также случайности и ошибки природы. Тогда-то и вывел я для себя теорию, по которой все лица разделил на три вида: «личина», «образ» и «лик»... Давно уж потеряла для меня значение и забылась та теория, не помню всех ее многих и важных в то время тонкостей, но хорошо помню главный принцип. «Личина» возникала тогда, когда так называемая внешняя жизнь возобладала над данной человеку сущью, подавляла совершенно его дух, лепила и преобразовывала по-своему, накладывала суетный отпечаток на природные черты его лица. Когда же, напротив, дух человека сам пробивался, несмотря ни на что, ни на какие обстоятельства извне, и торжествовал над случайным, наносным и мелким, создавалось лицо-«образ»... Так что, если вернуться к той юношеской и, может быть, наивной теории насчет лиц — потому что впоследствии я никак ее не совершенствовал и иной не придумывал, — то у бабушки был «лик», то есть тот наиболее редкий между людьми случай, когда черты лица, всем видимого, и черты другого, лица души, настолько счастливо совпадают, преобража-

ются друг в друга, настолько нет в них никакого противоборства, что любая жизнь, с любыми ее печальями, горестью, нуждой, трудом, весельем и радостью, может только помогать еще совершенствоваться этому гармоническому лику...

Вот такой и запечатлена Авдотья Филимоновна Райская на сохраняющемся у меня большом фотографическом портрете, сделанном во времена, когда те, кого фотографировали, и, главное, те, кто фотографировал, относились к этому серьезно. Провинциальный мастер обладал несомненным вкусом: он не усадил бабушку на фоне намалеванных берез, не поставил рядом с какой-нибудь вычурной тумбочкой, не попросил глядеть прямо в объектив. Бабушка снята вполоборота, по грудь, в старинном платье с пышными рукавами, узко схваченными у запястий, в темной, накинутой на плечи шали. Она, видно, просто присела к столу, подперев рукой голову — так, как иногда у себя дома присаживалась, задумавшись, к окошку... Гладко и прямо причесанные волосы, открытый лоб, тонкие морщинки меж бровей и спокойный, соединивший в себе и знание многих скорбей, и неизменное достоинство перед невзгодами жизни, и твердую веру в ее высшую мудрость и смысл... — словом, истинный человеческий взгляд... Фотографировалась она в день своего шестидесятилетия, а я-то долго полагал, что ей здесь — пятьдесят, и вот, кстати, одна из подробностей давнишней моей теории: «личина» всегда старит, «образ» равен в возрасте сам себе, а «лик» молодит... Но уже на этом портрете можно разглядеть на бабушкиной руке, повыше маленькой кисти, два-три витка домашней шерстяной нитки, какую я потом у нее часто помнил. Бабушка повязывала ее, когда «развивалась», как говорили у нас в деревне, то есть переставала «владать» натруженная рука...

## 11

С деревней же связано мое первое в жизни самостоятельное путешествие. Впоследствии, забыв о нем, я всегда считал, что серьезные путешествия мои начались позднее, в юности, когда уехал я в Сибирь, на Ангару, и потом регулярно, с какой-то неподвластной

мне самому тягой стал уезжать из дома, забираясь с каждым разом все далее на Север: в Магадан, на Колыму, на Чукотку... — а теперь я вижу, что самое-то первое (но с теми же, хорошо узнаваемыми приметам: внезапной мгновенностью и бесповоротностью решения, сильным волнением и особой обновленностью и обостренностью чувств) было, оказывается, тогда, в детстве, и всего за двадцать верст, в соседний с нашей деревней городок...

В тринадцать лет — это я помню точно, потому что было приурочено к успешному окончанию шестого класса, — мне купили велосипед. На лето мы увезли его в деревню. Как раньше пропадал я из дому на целый день, так и теперь, только теперь — с велосипедом. Я быстро освоил его, научился садиться, закидывая ногу через седло и пронося ее спереди, над рамой, соскакивать на обе стороны, ездить, не держась за руль и даже положив на него ноги — обычные все мальчишечьи фокусы... Освоил и все окрестные тропинки, проселки, лесные дорожки, лихо скатывался в овраги, чтобы с налету выскочить на другой склон, пролетал, не тормозя, по узким мосткам через ручьи. И всегда, возвращаясь домой, силился въехать на самый верх нашего бугра... Ни у кого в деревне, ни у мальчишек, ни у взрослых, не было тогда велосипеда, тем более такого: новенького, сверкающего, с такими изящно выгнутыми, наклоненными вниз дугами руля, с тугим, звонко щелкающим зажимом багажника. Надо ли говорить, как возрос мой авторитет в глазах деревенских ребят, да и в моих собственных тоже, потому что появились у меня новые, почти уравнивающие меня с колхозными трактористами и шоферами, «взрослые» заботы: чистить свой велосипед, смазывать его, подтягивать гайки, регулировать высоту седла и руля, заклеивать проколотую камеру, для чего, прежде накачав ее, сбегать к речке, погружать в воду и следить, откуда заструится тоненькая ниточка пузырьков. Мне нравился даже запах велосипеда — запах машины...

И помню, нечто странное стало происходить со мной в то лето, словно томило что-то, и особенно сильно чувствовал я это под вечер: я вдруг хватал велосипед и, наскоро пробормотав что-нибудь на бабушкин возглас: «Куды на ночь глядя?!», мчался через дерев-

ню и дальше по дороге, гнал, изо всех сил налегая на педали, будто очень хорошо знал, куда тороплюсь и зачем... И вот открывалась другая, совершенно незнакомая мне деревня, я останавливался в отдалении и долго смотрел на ее избы, ветлы, по ровному прямоугольнику деревьев угадывая, что в том месте, наверное, пруд, а по отдельной густой рощице с возвышающейся над ней церковью определял, что там кладбище, и узкая полоска вечеряющего неба в просвете колокольни всегда казалась мне почему-то более далекой и печальной, чем то же небо вокруг... До меня доносились звуки — точно такие же, как в нашей, когда готовилась она к ночи, деревне: мычание и блеянье скотины, скрип ворот во дворах, звяканье ведра, поколачивание движка, чей-то зов, затихающая возня грачей... Так постояв, я разворачивался и ехал обратно, теперь медленно, как бы успокоившись, будто неизвестная мне самому цель и впрямь была достигнута. Пыль на дороге от выпавшей росы увлажнялась и уплотнялась, на ней особенно отчетливо виднелся оставленный мной только что узорчатый, местами двоящийся след, машинально я пытался повторить этот след, потом сосредоточивался бездумно на застрявшей в спицах синей головке василька, глядел, как она обращается вместе с колесом, низвергается вниз, возносится вверх... В лощинах явственно ощущалась сырость, прохладой веяло и от близкого леса с его непроницаемой темнотой, начинающейся сразу от опушки, и лишь в поле, среди хлебов, по-прежнему было еще сухо, сохранялось слабое тепло... Я думаю, что странные те и необъяснимые для меня тогда прогулки и были первыми попытками, предвारे ние м путешествия...

Конечно, и раньше, до того, как ему случиться, я каждый год собирался и отправлялся на лето в деревню, а к осени возвращался в Москву, однако кажется мне, это было не путешествие, а привычный переезд. Из города в деревню, из деревни в город... Заманчивей, радостнее, нетерпеливее, разумеется, было — в деревню. Сидя в поезде, я посматривал в окошко на перелески, поля, овраги, речки, деревни с единственным интересом — сравнивая, насколько похожи они на известные мне поля и овраги, на нашу речку, на нашу деревню, — с интересом, охлажденным заведомым знанием,

что все это — иное... Я ждал того момента, когда мы с отцом сойдем на маленькой знакомой станции, пропустим вагоны, которые тут же и трогались, распределим поклажу, перейдем железнодорожные пути и, наконец, двинемся по полю к виднеющейся вдали деревушке Козьяково, симпатичной, в отличие от предыдущих, уже тем, что через нее вела дорога в нашу деревню... Миновав Козьяково, мы углублялись по тропинке в окаймленную лесом ложину с извилистой речушкой на дне, переходили эту речку. Каждый раз после половодья переправа была новая: то одинокое гладкое бревнышко, то ряд неплотно положенных жердей, каждая из которых прогибалась под ногой на свой лад, а какая-нибудь и вовсе погружалась в воду... А то в сторонке от натопанной стежки, обрывающейся теперь у берега, просто была свалена старая ольха и перебираться надо было по ней, хватаясь руками за серые необрубленные сучья с не успевшими как следует развернуться, пожухшими резными листочками... Идти было верст семь, отец время от времени спрашивал, не устал ли я, я мужественно отвечал: «Нет»... — но я и в самом деле не уставал! Уже в детстве был я вынослив, хорошо ходил, кроме того мне не терпелось поскорее дойти до нашего дома... Опять мы проходили мимо деревни, снова пересекали поле, на котором зеленело что-то разреженное, недавно пробившееся, вступали в лес, а когда выходили на противоположную его опушку, сразу же попадали к крайним избам нашей деревни. Поблизости высились огромные старинные тополя и липы, окружающие школу, и белые прямые стены, оставшиеся от церкви. Тут мы с отцом советовались, пройти ли нам деревенской улицей к плотине или свернуть за огороды, в знакомом месте перейти речку и от Руднева подняться на наш бугор. Обыкновенно сходились мы на том, чтобы свернуть, — оба мы не любили посторонних пристальных взглядов, которые непременно провожали бы нас, если б шли мы деревней... И вот он — бугор, ослепительно зеленый, и такая же ослепительно зеленая роща нашего палисадника, и празднично сквозит через нее красная крыша! Едва снимал я с калитки, открывая ее, плетеное из лыка кольцо, как звякало другое, железное кольцо на двери нашего дома и бабушка с дедушкой торопливо спускались с крыльца нам навстречу. Зна-

комая сухость бабушкиных ладоней, обнимающих мою голову, и губ ее, целующих меня в щеку, привычный и успокаивающий запах дедовой бороды и гимнастерки, в которые я утыкался... Жадно и быстро оглядывал я все вокруг, отмечая, что изменилось, что не изменилось возле нашего дома, а вот и самая большая и в буквальном смысле ошеломляющая новость: взбежав по ступенькам крыльца, я с размаху больно стучаюсь лбом о притолоку двери!.. И еще помню: войдя в дом, тут же скидывал я башмаки и носки, и скидывал уже на все лето...

...Да, и все-таки ежегодные эти поездки не были путешествием, самостоятельным путешествием, — и дело даже не в том, что ездил я в деревню не один, а с отцом: я вижу, что бездумно употребленное мной определение «самостоятельное» здесь совершенно излишне, ничего к понятию путешествия не прибавляет, ибо всякое путешествие по природе и назначению своему самостоятельное... Но дело, как мне кажется, в том, что настоящее путешествие сопряжено с усиленной душевной работой, с деятельным восприятием именно дороги и с благотворным ее влиянием, а тут, по приезде в деревню, дорога сразу позабывалась, как и не было ее!.. Кроме того, настоящее путешествие не имеет — по крайней мере для меня никогда не имело — особенной конечной, «практической» цели, а если и имело, то как повод, чтобы хоть как-то объяснить себе и, главное, другим, оправдать смутное, но властное движение души, заставляющее тебя неожиданно срываться с места, куда-то ехать... Например, такой внешней и якобы разумной, в расчете на взрослых, целью моего первого путешествия было — навестить дядю Васю, Василия Андреевича, жившего в ближайшем городке, но для меня-то самого это действительно был только повод, а настоящая, первоначально важная причина выглядела бы с точки зрения взрослого человека такой детской и глупой, когда бы я попытался рассказать о ней: мне очень хотелось, чтобы бабушка и дедушка смотрели мне, уезжающему, вслед и так же высматривали меня возвращающегося обратно, как они делали это всегда, встречая и провожая своего сына...

## 12

Василий Андреевич обязательно несколько раз в лето приезжал в деревню — проведать родителей, помочь по хозяйству... С нашего огорода хорошо был виден уходящий в гору большак, и, когда появлялась там далекая точка, старики начинали гадать: машина ли это или кто на лошади, а может, на велосипеде... Вот становилось ясно, что это велосипедист, и дед говорил: «Мать, а ведь никак Василий?! Рубашка-то навроде его...» — и снова мы вглядывались неотрывно, пока путник, так и не узнанный нами, разлетевшись с горы, не исчезал из наших глаз. Теперь я выбегал за калитку палисадника следить и — или с разочарованием видел, что велосипедист проскочил мост и едет по деревенской улице, или же, когда он долго не показывался за речкой, во мне укреплялась надежда: значит, он свернул с большака в нашу сторону, затормозил у ручья, перешел по бревнышку и скоро покажется на тропинке внизу бугра. И вот он появлялся из-за поворота, ведя за высокий руль свой старомодный, прочный, на мощных широких шинах велосипед с перекинутыми через раму сумками, — дядя Вася!..

Я любил его... Какие отличные луки он мне делал! Мы отправлялись с ним в Руднево, выбирали молоденький дубок и несколько тонких стройных побегов орешника. Лук из дубка выходил необыкновенной упругости и крепости, а из орешника рука Василия Андреевича, точная рука учителя математики, привыкшая без инструмента вычерчивать на доске любую геометрическую фигуру, выстругивала замечательно прямую и гладкую стрелу. Испытывать лук мы шли на открытое место. Дядя Вася до отказа натягивал тетиву, пускал стрелу вертикально в небо, она быстро терялась в синеве, и вот пора бы ей было и возвращаться, а ее все не было, я с недоумением глядел то вверх, то на дядю, а он с улыбкой на меня, как вдруг стрела с тупым звуком вонзалась в землю рядом с нами... Он был такой же страстный грибник, как и я. Помню, на опушке, перед тем как войти в лес, Василий Андреевич всегда с неизменной торжественностью, с расстановкой, будто стихи, произносил: «Ну, кто первый белый гриб найдет, тот мне лучший друг!»

Как я старался! И все-таки первый гриб находил обычно он... Я уже говорил, как хорошо знал Руднево и считал его «своим», но мой дядя не раз указывал мне новое, не известное для меня, а ему памятное с юности грибное местечко. И я понимал, что это и его лес, что этот лес еще прежде, чем сделаться моим, был его, и странно — не ревновал...

С Василием Андреевичем связывались разные истории из моего бессознательного младенчества. То бабушка рассказывала, как ни моей маме, ни ей не удавалось уложить меня спать, как я разыгрывался, сидя в кроватке, сам веселясь и веселя окружающих, безошибочно улавливая, наверное, сдерживаемый смех в их притворно строгих голосах, но подходил дядя Вася, приказывал совершенно серьезно: «Спать! Спать!» — и я, посмотрев вопросительно и очень внимательно и прямо ему в глаза, как это могут делать только совсем маленькие дети, и не увидев там и тени улыбки, послушно отворачивался к стене и быстро затихал. Уверен теперь, что вот тут, переглянувшись с бабушкой и мамой, Василий Андреевич улыбался... То сам он вспоминал, как случилось ему везти меня, едва научившегося ходить, в деревню, как я рыдал и цеплялся за мать, не желая идти к нему, а оставшись с ним на вокзале, потопал куда-то, видимо, в надежде отыскать родное лицо. Дядя Вася не поспешил тут же за мной, — спокойно сидя на месте, просто следил, что стану я делать, я же, окончательно растерявшись в толчее, вдруг нашел его, узнал, кинулся, приник и, когда уже приехали в деревню, не захотел отпускать дядю и оставаться с бабушкой и дедом... Снисходительно, как не о себе, но о ком-то другом, смешном и несмысленном, слушал я в детстве эти рассказы, и все-таки тогда они были обо мне — я понял это позже, понимаю сейчас, когда они превратились для меня в рассказы о дяде Васе... Да, я любил его, вначале безотчетно, по-детски, как любим мы всех, кто с младенчества окружает, и любит нас, и занимается с нами, — любил вот за эти воспоминания о нас с ним, за лук со стрелами, за грибы... — а потом, взрослея, стал любить все сознательнее, вдумываясь в его характер, в его необыкновенную судьбу и все более считая идеалом человека.

...Рассказывала бабушка, что все ее ребята — и Лексей, и Иван, и меньшей Гарасим — росли бедовые, только Василий был «смирный», однако слово это никак не подходит к нему, просто на нашем деревенском языке означало оно, что не любил он озорничать, драться... Был бы мой дядя «смирный» в обычном, распространенном смысле, то есть был бы он кротким, боязливым, покорным, — как помыкала бы им безошибочно угадывающая эти качества и беспощадная в таких случаях мальчишечья компания! Но опять же говорила бабушка, что ребята-сверстники никогда не трогали его, напротив, уважали и слушались, чувствуя в нем взамен воинственности какую-то иную силу. Силу эту я определял как очень рано развившееся в Василии Андреевиче сознание своего человеческого достоинства, сознание твердое, спокойное и сдержанное, без малейшей заносчивости, без высокомерия, которые, как правило, вызывают в окружающих естественное желание подвергнуть сомнению, проверить, умалить вот такое чрезмерно бьющее в глаза достоинство. И что, пожалуй, немаловажно: сознание своего достоинства было присуще ему постоянно — ведь как часто бывает у многих из нас, что оно то есть, то нет... А еще лучше сказать — это было чувство не столько собственного, сколько чувство человеческого достоинства вообще, так что любой из встречающихся с Василием Андреевичем людей, пусть самый недоверчивый, злобный, самый сомневающийся в других и в себе, непременно ощущал в нем это воплощение всеобщего достоинства, и сразу или постепенно, но обязательно верил в него, и, мало того, проникался в конце концов таким же спокойным, уверенным чувством в отношении себя...

После рабфака Василий Андреевич кончил пединститут, успел немного поучительствовать. В войну, как и все бабушкины сыновья, ушел на фронт, был артиллеристом. С весны сорок второго года пропал без вести и только летом сорок пятого прислал письмо: находился, оказывается, в концлагере, в немецком плену. Письмо это, по семейному преданию — сам я не помнил, — принес я, дал мне его наш деревенский почтальон, увидав меня на речке с ребятами и поленившись, наверное, идти к нам на бугор. Говорят, я пришел с письмом под вечер, и впоследствии дед с бабушкой всегда ужа-

сались задним числом, как это я, заигравшись, не потерял его, а я, в свою очередь, изумляюсь теперь легкомыслию почтальона — как смог он в то время доверить мне такое, по обличью явно фронтное еще, письмо?! ...Перебывала у нас тогда вся деревня, и начинали утирать глаза сразу же, после первых слов: «Здравствуйте, мои дорогие родители, Папа и Мама! С большим душевным волнением пишу Вам эти строки после столь продолжительного перерыва и полной неизвестности...» А дальше там шли слова: «Десятки раз смерть своими костлявыми щупальцами пыталась вырвать меня из этой жизни...» — и тут уже плакали навзрыд... Потом дядя сам приехал, и опять собирались и плакали, слушая его, хотя рассказывал Василий Андреевич с обычным своим спокойствием и сдержанностью. Известные это теперь все рассказы — о жизни в немецком плену — и выглядят сейчас даже не очень «страшными» в сравнении с ужасами, о которых потом мы услышали и прочли (а скорее всего, дядя Вася о многом еще и не говорил, щадя нас, жалея отца с матерью), но все-таки те рассказы были первыми, и от родного человека, и слишком действовали тогда на всех, слишком реальны и ощутимы были тогда для всех вот хотя бы «костлявые щупальца смерти»...

Я жадно слушал Василия Андреевича и, конечно, все это понимал: неволю, издевательства, унижение, ежеминутную возможность гибели, побои, голод, — но понимал неожиданно еще что-то иное, поражался каким-то своим странным мыслям и ощущениям, возникающим в связи с дядиными рассказами, отчего некоторые из них особенно запомнил. Вот, еще до плена, дядя Вася — он был лейтенант — пытается вывести своих бойцов из окружения. Идут они где-то опушкой леса, мой дядя впереди, и вдруг, как бывает, в последнюю секунду, замечает, что сапог его готов поддеть замаскированную в траве проволочку, и мгновенно догадывается, что это — мина. Василий Андреевич тут же поднимает руку, бойцы останавливаются, он отсылает их и велит залечь за деревьями, а сам начинает потихоньку, стараясь не шевельнуть ни проволочку, ни траву, высвобождать сапог... Я гордился мужеством и самообладанием дяди Васи в момент, когда он был на волосок от смерти, и

живо и по многу раз, совсем как бабушкин случай с солдатом, представлял и опушку леса, и проволочку в траве, и как дядя, не обрачиваясь, приказывает бойцам уйти и остается один на один с этой проволочкой... И опять, как в случае с солдатом, я не пытался расширить этот миг, продолжив его вперед или назад, но внезапно расширил совершенно неожиданным для себя образом: однажды, так представляя, я сообразил, что ведь миг этот был и в бабушкиной жизни тоже, а что же она делала в этот именно миг?! Топила печь, кормила кур, возилась в огороде, просто ли сидела у окошка, а может, раскидывала карты как раз на него, Василя?.. Ощутила ли бабушка это мгновение как особенное или на фоне постоянной тревожной думы о детях оно никак не выделилось, слившись с другими мгновениями ожидания, которые для нее были такими же, как это?.. И я очень отчетливо почувствовал, что задумано было это мгновение, в сущности, как одно, единое, но разделилось на два, стало отдельным для бабушки и ее сына, и воссоединить его теперь невозможно, да и тогда было невозможно, потому что нет такого человеческого глаза, чтобы подсмотрел это мгновение сразу в двух, тем более далеких друг от друга местах... Но оттого, может быть, что я часто и очень хорошо представлял то дядю Васю, вызволяющего сапог, то бабушку, не известно что в этот момент делающую, — все-таки чаще всего склонялся я почему-то, что сидит она у окна, — то получилось само собой, что я словно отодвинулся куда-то страшно далеко и оттуда увидел их разом и совсем рядом: Василя Андреевича примерно как у нас в палисаднике, сосредоточенно наклонившегося и замершего, и бабушку, смотрящую в окошко, но будто бы и не на дядю Васю, а мимо, или на дядю Васю, но как-то сквозь, вдаль, — то есть они как бы не видели друг друга, но чувствовали, незримо были соединены напряжением момента, и бабушка, с виду сидящая спокойно, тоже словно замерла, а еще они были соединены тем, что я в тот момент видел их обоих... И впоследствии, вспоминая этот рассказ, я всегда представлял Василя Андреевича только так — вместе с бабушкой...

Рассказывал он, как кидались некоторые пленные на сырую свеклу, брошенную для потехи немецкими солдатами, как дрались

из-за нее, и прибавлял: «Я не кидался...», и я помню, слышу до сих пор, как звучал при этом его голос — без гордости за себя, за свою выдержку, без противопоставления себя потерявшей человеческий облик толпе, но задумчиво, с печалью: «Я не кидался...» Печаль эта пронзала меня, я уже тогда понимал, не мог бы высказать, но точно чувствовал смысл: если вы так остро ощущаете не свое отдельное, но общее человеческое достоинство и видите, как другие его теряют, как их заставили все-таки, довели до этого те, кто утерять его еще раньше, то вас, наверное, мало утешит, что лично вы-то свое собственное достоинство сохранили, но в вас неизбежно родится вот такая — высшая, за всех, печаль... И странно, как я, понимая тогда, лет в шесть, все эти до сих пор сложные для меня вещи, не догадывался в то же время о самых простых. Помню, я все приставал к Василию Андреевичу с просьбой повторить какой-нибудь рассказ, и особенно нравилось мне «про тачку» — как кто-нибудь из пленных, хорошо изучивший психологию своих истязателей, застывал вдруг с груженной тачкой и в ответ на понукания надсмотрщика смиренно изображал, что у него нет сил поднять ее, сокрушенно тыкал в усохший свой бицепс. «Э, рус! крепирлинг!» — с презрением проворчав что-то в этом роде, немец легко хватал тачку, сам отвозил, сваливал и возвращался с довольным, гордым и назидательным видом: вот так, мол, надо! — не замечая, как «крепирлинг» вместе с другими пленными посмеивается за его спиной... Такие рассказы слушались нами всегда с торжеством, с облегченным смехом, они как бы разряжали немного кошмар той каторжной жизни; и вот, желая, по-видимому, вновь и вновь испытывать это облегчение и торжество, я все упрашивал дядю повторять про «тачку», пока бабушка не оборвала меня: «Будя! Дай человеку покой!» ...Да, ничего-то я, конечно, не соображал...

Жена его, решив, что он погиб, уехала из наших мест и вышла замуж, и дядя спустя некоторое время женился в другой раз — на местной учительнице. Бабушка, правда, присмотрела ему другую невесту, — по ее словам, и поглядеть хорошую, и петь, и плясать, и работать ловкую. А дядя взял вот эту, болезненную, в свою очередь оставленную мужем женщину, да еще с ребенком. Много позже, в

Москве, перебирали мы с бабушкой ее архив и снова нашли в нем дядино письмо, самое дорогое. Написано оно было на распространенном в те годы бланке с рисунком: строй тяжелых самоходных орудий с уставленными в небо стволами, изготовившиеся бойцы и командир с поднятой рукой. Под рисунком было начертано: «Пусть живет и здравствует советская артиллерия на страх врагам нашей Родины!» И еще, помельче: «Смерть немецким захватчикам!» Бланк этот складывался пополам, заклеивался и становился конвертом, поэтому место для письма ограничивалось двумя линиями с предупреждениями: «Выше линии не пишите!» и «Ниже линии не пишите!» — а между линиями шел четкий дядин почерк. «...С большим нетерпением жду возвращения на родину, жду встречи с Вами после такой долгой разлуки. Хочу, очень хочу жить прежней полной жизнью, равным среди равных, ибо рабство, в котором я находился, очень тяжело... Хочется знать о судьбе моих братьев. Живы ли они? И если они погибли, то смерть их благородна, так как была ради свободы нашего многомиллионного народа. Папа, я надеюсь, что Вы дадите прочитать это письмо всем нашим родным... Обнимает и горячо целует Вас любящий Вас по-прежнему Ваш сын Василий. 19 июня 1945 года». ...Опять бабушка ужаснулась, что мог я и потерять его, а потом сказала, подавая фотографию: «Вот это он как раз с плена вернулся», — и я, рассматривая исхудавшее дядино лицо и строгий и какой-то помертвевший, обращенный внутрь себя взгляд недавнего узника, вспомнил, как бабушка одернула меня, приставившего с просьбой рассказывать, а еще, казалось мне, понял, отчего он не женился тогда, как прочила бабушка, на «веселой»...

Вскоре после женитьбы переехал дядя в райцентр и снова начал учительствовать. Постепенно природное жизнелюбие, деятельная его натура взяли верх над пережитым, с увлечением отдался он своей работе, часами, приезжая, говорил о ней, и заражал нас, и так же интересно, как ему работать и рассказывать, было интересно нам слушать. Он действительно был настоящий учитель, но когда, случалось, приходилось слышать ему от коллег, что у него врожденный педагогический талант, смеялся и возражал: откуда у него, сына крестьянина, бывшего подпaska, может быть «педаго-

гический» талант, да еще «врожденный»? Просто привык добросовестно относиться ко всякому делу... Было это правдой, но правдой был и талант, я не думаю, чтобы Василий Андреевич не знал о нем, не чувствовал его в себе, так что отрицал его, скорее всего, опять же в «педагогических целях». Про себя-то он уж наверное понимал, что такой талант только и должен быть врожденным, что умение обращаться с детьми и учить их главному, человечности, — не специальность, и что нигде, ни за какие годы этому не обучишься, если нет в тебе начального сердечного умения и желания... Но, кажется мне, он потому еще отрицал признаваемый за ним талант, что под этим талантом, как и под иными, обычно подразумевается нечто присущее отдельным, редким людям, а Василий Андреевич считал, твердо верил, что учительским талантом положено обладать каждому, что это даже и не талант, а одно из необходимых человеку качеств... И за многие годы работы и жизни в городке дядя Вася незаметно, вовсе о том не помышляя, осуществил идеал властвования над людьми, тем самым способом, который смутно мерещился мне в детстве, — то есть сам, прежде всего являя образец человеческой любви, самоотверженности, бескорыстия и чести и вызывая такие же ответные чувства в окружающих...

Он умер несколько лет назад, от неизлечимой болезни желудка, развившейся в нем постепенно, видимо, со времен голодовок в концлагере. Но до сих пор, когда случается быть мне в том городке и обмолвиться, что Василий Андреевич мой дядя, я всякий раз начинаю ощущать особенное, доброжелательное отношение к себе и отлично понимаю, что это отблеск уважения и любви к нему, и мне тоже хочется совершать хорошие и добрые дела, — более того, я понимаю, что теперь мне просто невозможно не совершать их. Так я включаюсь в ту самую цепочку, в «цепную реакцию» чувств, о которой уже говорил, с разницей, что первое звено, источник ее здесь не я, а Василий Андреевич... Да и вообще — как можно было полагать себя источником, откуда возьмут начало доброта и любовь и распространятся на других, когда жило столько людей, предшествовавших тебе и передававших друг другу эти тысячелетние понятия, и, наконец, жили те, у кого и ты непосредственно учился!..

Ну, вот — хотя бы еще один коротенький урок... Помню, в какое-то лето приехал я в деревню с твердым намерением отучить бабушку от веры в бога, в которого она, кстати, верила без особой истовости, без частого упоминания и обращения к нему по всякому поводу. Она, по-моему, и молитв-то особенно не знала, кроме самых простых, повторяемых ежевечерне, с просьбой помиловать, заступиться, дать насущный хлеб... Я же вдруг почел себя достаточно обученным, грамотным, во всяком случае грамотнее бабушки, и терпеливо и обстоятельно растолковывал ей, почему всходит и заходит солнце, откуда берется ветер, отчего проливается дождь, какова природа «молонии» и грома. Распространенная, наверное, для нашего времени история взаимоотношений стариков и внуков... И надо сказать, бабушка все это допускала — так убедительно я объяснял, — соглашалась принять, и только одного она признать не могла: что человек произошел от обезьяны. «Ну, а щас-то от обезьянки што ж не родится?!» — был ее всегдашний ответ. И все мои доказательства, что получилось это не сразу, что ушли на это многие тысячи лет, да и обезьяны сейчас другие, успеха уже не имели. Приехал, как обычно, Василий Андреевич, и вот, когда были мы одни, я ему сказал — как образованный, современно мыслящий человек образованному, современно мыслящему человеку — с доверительностью, со снисхождением к темноте бабушки и вместе с тем с некоторой досадой, выглядевшей как забота о ее же просвещении: доказываю, мол, бабушке, что бога нет, а она не верит!.. Ожидал я, что дядя Вася улыбнется мне сочувственно и понимающе или поскрущется вместе со мной на этот счет, — дескать, старые люди, что с них взять, — а может, подскажет какой-нибудь безотказный, испытанный довод. Но — ничего-то он мне не сказал. Не ответил того, что, по моим тогдашним понятиям, должен был бы ответить, не объяснил и того, чего я еще не понимал, — не сказал ничего и даже не глянул. Как бы вовсе и не услышал. Это мой-то дядя, с его живой реакцией на все, с его неизменной ко мне внимательностью... Но это и был ответ и запомнившийся мне урок. Как совместно сделалось мне тогда моего снисхождения, и озабоченности, и этого доверительного тона, и якобы высшего понимания...

## 13

...Так вот, именно то, как Василий Андреевич под нашими взглядами несется вниз с горы по большаку, а еще более, как уезжает потом, уводит свой велосипед в гору и садится там, так далеко, что уж не разобрать, обернулся, машет ли, подействовало на мое воображение и соединилось, наверное, с внутренней настоявшейся потребностью путешествия, только однажды вечером — помню, я уже лег спать — меня вдруг словно толкнуло: ехать! После чего большую часть ночи я не мог заснуть, заранее представляя свою поездку. Что же я видел: дорогу, неизвестность, встречу с дядей, город? Нет, опять — как я сам проверяю свой велосипед, не разболталось ли чего, достаточно ли накачаны шины, как вывожу его в гору... и как только достигал я места, где надо было садиться и ехать, воображению наступал предел, я снова оказывался возле дома — и заново прокручивалась вся картина. И в то же время, как я уезжал, я, кажется, стоял еще с дедушкой и бабушкой на огороде, глядя вслед себе: мне обязательно надо было и уезжать, и видеть, как я уезжаю...

Наутро, когда объявил я о своем намерении, сколько было отговоров! И заплутаешься, и дорогой кто встренет, и мать узнает — она ведь с ума сойдет, а главное, не могли бабушка с дедушкой взять в толк, с чего это я «одумал»... Я был непреклонен. Моей любви к ним противостоял долг, да, я уже ощущал, что должен ехать и что ни моя любовь к ним, ни их любовь ко мне не могут меня остановить, и оттого все это — любовь и чувство долга — еще более обострялось.

Пять лет спустя, в Братске, я прочел в «Песне Большой дороги» Уитмена:

Едва ты придешь в город, куда направлялся,  
едва расположишься в нем отдохнуть,  
как властный зов тебя потянет вперед.  
Тебя проводят злобные улыбки, насмешки тех, кто остается позади.  
На все изъявления любви ты ответишь лишь горячим поцелуем прощанья.  
Ты не дашь удержать себя тем, кто стирает вослед  
тебе руки... —

прочел и узнал свои тогдашние чувства. «Злобных улыбок и насмешек тех, кто остается позади», я не понимал, пропускал без внимания, но «властный зов», «горячий поцелуй прощанья», «протертые вослед руки» и особенно «ты не дашь удержать себя» — это было мое, это я очень хорошо чувствовал...

Я долго, с сосредоточенностью путника, которому предстоит дальняя и трудная дорога, выводил велосипед в гору, наконец, сел и поехал. Почти сразу, слева, среди понижающегося поля увидел я узкую серповидную полосу невысоких деревьев и догадался, что это ведь знакомый мне Глинный обал, а «невысокие деревья» — это только макушки их, действительно выглядевшие сверху подрастающей рощицей, если не знать, с какой страшной глубины тянулись они. Глинный обал как бы проводил меня, был последним приветом моей деревни... и вдруг я спохватился, что не оглянулся на том месте, не помахал на прощанье бабушке с дедом, и так и не узнал, видит ли нас дядя Вася, когда мы машем ему, — совсем забыл обо всем этом, дорога захватила меня! С каким упованием я ехал!.. Кругом разворачивался новый, но и привычный пейзаж: перелески, овражки, одинокие деревья поодаль дороги и — поля, поля, отрадный сердцу простор полей, замыкающийся на горизонте темными полосками далеких, загадочных, подернутых дымкой лесов. День был солнечный, жаркий, какими бывают они в разгаре лета, знойный воздух почти не двигался, и не двигались легчайшие облака, ослепительно белые среди чистой синевы неба. И надо всем стояло тоже будто недвижимое, в какую-то минуту утра начавшееся, быстро набравшее силу, да так и застывшее на самой ликующей ноте звенящее пение всех, кто незримо обитал в траве, в хлебах, в придорожных кустах, в небе... Жаворонки! Я нарочно останавливался, задираю голову, безуспешно искал их в вышине. Вот краем глаза замечал я, что совсем близко от меня, из травы, трепеща крылышками, начинает подниматься вертикально вверх маленькая птичка; шурясь от льющегося с неба света, я следил за ней неотрывно, чтоб не потерять, и все-таки терял, потом, казалось, снова находил, но был это, наверное, уже некий призрак, обман зрения, был это лишь

отпечаток темной крошечной точки, возникший в моих глазах от долгого пристального глядения.

..Неожиданно под горой открылась деревня, о которой я знал, что она в шести верстах от нашей, и я поразился, как быстро и незаметно проехал это расстояние, треть моего пути. Еще я обрадовался, что была она в стороне от большака, — мне почему-то было бы неприятно проезжать по чужой деревне. После долгого и пологого спуска опять пришлось слезать, идти пешком в гору, именно о ней дядя Вася говорил, что это самая большая и крутая, самая тяжелая гора по дороге. И я внимательно следил, тяжело ли мне, — странно, я хотел чувствовать усталость... Из деревни по проселку тоже выехал велосипедист, направляясь к большаку; получалось, что мы были должны сойтись с ним, и я стал медлить, останавливаясь, делал вид, что проверяю что-то в велосипеде, — чтобы пустить этого человека ехать себе вперед. Я не желал попутчика, разговоров, мне было так хорошо одному на дороге, кроме того, все-таки смутно жило во мне предупреждение бабушки — «кто встренет»... А выйдя наверх, я с неудовольствием увидел, что он просто стоит и поджидает меня. Но он так приветливо мне улыбнулся, так легко со мной заговорил!.. Это был молодой мужчина, небольшого роста, черноволосый, кудрявый, смуглый, с крутым, темным от загара лбом, в шелковой полосатой рубашке с короткими рукавами. Левая штанина его чистых, нерабочих брюк была схвачена специальным, для езды на велосипеде, зажимом. «Поехали?!» — весело предложил он, и ничего не оставалось, как садиться и рядом с ним ехать. «В город?» — спросил мой спутник, я коротко отвечал: «Да». — «А из какой же деревни?» Я назвал. «Это чьих там?» — продолжал он, не смущаясь, что отвечаю я так односложно. «Райских». — «Слышал, слышал... Василий Андреевич не родственник вам?» Мне польстило, что он слышал нашу фамилию и знает Василия Андреевича. «Это мой дядя». — «Ага! Значит, к дяде в гости?! А сам небось у бабушки с дедушкой на каникулах?!» По его обличью, по особой свободе и умению расспрашивать меня, подростка, и по тому, как быстро он выведал обо мне, и разгадал меня, и упомянул вдобавок дядю Васю, я предположил, что он тоже, наверное, учитель. Настороженность

моя исчезла, я все охотнее отвечал ему, поглядывая, как изящно и небрежно лежат его маленькие, крепкие, загорелые руки на руле — не на резиновых ручках, а на сгибах, ближе к середине, — и уже незаметно сдвигал свои, чтобы они лежали так же, как вдруг, сказав: «Ну, счастливо добраться!», он свернул с большака на другую сторону и уехал по узкому заманчивому коридорчику, сразу терявшемуся среди высокой ржи. Оглядываясь, я некоторое время видел его темную голову — как она, то пропадая, то выныривая, будто сама по себе движется над колосьями. Я расстался с ним без сожаления, но и без досады, что нарушил он ненадолго мое дорожное уединение. И снова отдался дороге...

Снова замечал я посреди поля круглый курчавый островок кустарника, над которым обязательно высилось одно-два больших старых дерева, и мне хотелось свернуть и доехать туда, я воображал там уютную скрытую полянку с необыкновенно высокой свежей травой, всю в ромашках, и маленький прозрачный родничок с шевелящимися песчинками на дне... Я пересекал неглубокую ложбинку со следами бывшего здесь ручья, теперь он обозначался только полоской темно-зеленой осоки, да разбитая молнией ветла торчала рядом, и над кургузым выжженным ее стволом возносилась чаша тонких молодых побегов... Иногда я слышал шум нагоняющей меня машины, или она шла мне навстречу, я смотрел, в какую сторону от дороги относится пыль, и сходил на противоположную. Машина громыхала мимо, люди, сидящие в кузове, махали и что-то кричали мне с веселыми лицами — быстрота езды возбуждала их. Отдаленно и ровно стрекотал где-то трактор, там же стоял гомон собравшихся грачей и ворон, они невысоко взлетали, следуя по вспаханной полосе, и напоминали мне издали большие, растрепанные хлопья сажи и пепла, кружащиеся над невидимым жарким прогорающим костром...

Да, моя душа уже не была детской, воспринимающей все бездумно и впрок, — она ощущала потребность чувствовать и одновременно тут же отдавать себе отчет в своих чувствах. Мне теперь надо было останавливаться, замирать, созерцая деревья, облака, травы, струящийся над полями воздух, надо было вдыхать полной

грудью этот воздух, и еще, и еще, пытаюсь уловить в отдельности каждый из бесчисленных его ароматов, запечатлеть навсегда само мгновение вдоха, разобраться, что же все это такое, что окружает меня, и разобраться сверх того, что же такое моя потребность разбираться в этом... И я вдруг в первый раз осознал то, чего не замечал раньше, осознал свое одиночество в мире, показавшееся мне безнадежным, ибо, сказал я себе, никто и никогда не узнает, что я сейчас здесь стою и смотрю, а главное, не узнает, как я вижу, что при этом чувствую... Но что я чувствовал?! Я пытался определить это хотя бы для себя и ощутил свое бессилие, я понял, что и сам никогда не сумею рассказать об этом, что все будут лишь жалкие попытки. Впервые в жизни и не однажды с тех пор я смотрел на эту прекрасную землю с мучительной грустью, даже с тоской от сознания невозможности постичь до конца и выразить ее красоту. В самом деле, отчего мы можем, по крайней мере пытаемся как-то высказать свое отношение к событию, к книге, к любой сотворенной человеком вещи и даже к человеку, но удивительно немые становимся перед природой?! Может быть, это какое-то завораживающее нас воспоминание о далеком невообразимом времени, когда были мы еще неотделимой счастливой частичкой природы — как эти деревья, вода и травы, — а отделившись безвозвратно, ради слова, все равно были закланы ею, обречены в общении с ней на бессловесность... Помню, что тогда же, на дороге, чтобы как-то избавиться от охватившего меня угнетающего ощущения одиночества и беспомощности, я вообразил, что вокруг собрались незримо все-все и увидели, как я тут стою и смотрю, и увидели вместе со мной, что я вижу... А еще было бы лучше, — продолжал я мечтать, — если бы здесь оказался кто-нибудь один, но чувствующий и понимающий совсем как я, и ему ничего не понадобилось бы показывать, объяснять — молча мы стояли бы рядом и были не одиноки...

Видимо, это зрела потребность в иной, не мальчишеской дружбе, это пробуждалась необходимая в юности жажда духовного единения...

## 14

Город я увидел неожиданно и будто с высоты, несмотря на то, что ехал по равнине. Он предстал вдалеке, как яркое, чуть размытое в мареве жаркого дня, нарядно-пестрое пятно: зеленое, белое, красное, золотистое... Равнина медленно понижалась вместе с дорогой, и чем ближе я подъезжал, тем выше становился, вырастал надо мною город. Под высоким и крутым обрывом, на котором он стоял, угадывалась река. По склону обрыва лепились домики, одними крышами выглядывая из сплошной зелени садов. А надо всем, на холме выделялся кремль с четкими и строгими очертаниями крепостной стены и башен, с могучей единственной главою храма в центре его и еще, поодаль, с целой стайкой маленьких, легко вознесшихся в небо куполов... На краю города торчала темная старинная водонапорная башня, похожая на шахматную ладью... К моему большаку приблизились еще несколько: сначала они продолжали идти как бы сами по себе, как бы не желая сливаться, но вот, ближе к мосту, соединились в одну широкую дорогу со многими колеями... Что была наша деревенская речушка в сравнении с этой рекой и наш ветхий, со сквозными дырами мост перед этим мостом, тоже деревянным, но очень длинным, с крепкими деревянными перилами, с ровным, без зазоров, дощатым настилом во всю длину, по которому мой велосипед покатил плавно, как по асфальту!..

Город я воспринял с тем же обостренным чувством, что и дороге. Я знал, что уже бывал в нем: раза два или три, когда я был маленький, меня возили через него в деревню. Поезд наш приходил всегда поздно ночью, сонного меня одевали, несли или вели по темным улицам, приводили в какой-то дом, снова раздевали, укладывали, — и свет, пробивающийся сквозь веки, и приглушенный разговор взрослых, доходящий сквозь дрему, как слитный неясный шум, создавали впечатление, что мы опять в вагоне... Наутро отец отправлялся куда-то ловить попутную машину или подводу и всегда возвращался торопливо, с известием, что идти надо немедленно, сейчас же, что кто-то деревенский ждет с лошадью возле базара. Мы быстро собирались, шли, устраивали среди сена, брошенного в

телегу, свои вещи, устраивались сами, ехали. Помнил я ощущение легкого озноба после сна, помнил, как неожиданно и резко откидывались мы назад в телеге всякий раз, как наш возница взмахивал кнутом и как весело становилось от ускорявшегося бега лошади, помнил, как смеялись мы однажды, приняв издали одинокую приземистую ветелку с растопыренными сучьями, растущую рядом с большаком, за встречающего нас деда... Самого же города я не помнил. Зато теперь я шел, озираясь, по мощенной булыжником улочке, страшно круто поднимающейся вверх, внимательно разглядывал домики, в большинстве одноэтажные и деревянные, но на высоких каменных фундаментах, или двухэтажные, с каменным нижним и деревянным верхним этажами, с глухими высокими воротами и такими же калитками, в которых были прорезаны узкие щели для почты. По обочине, как и у нас в деревне, росла гусиная травка, так же бродили гуси и куры... Странно, что я, в общем-то городской мальчик, то есть живущий большую часть года в городе, в огромной столице с ее огромными домами, с собственной большой рекой («Москв́арека», — неразделимо слышалось в детстве, — «Пошли на Москв́ареку») и многими другими достопримечательностями, тогда, приехав из деревни в этот маленький городок, вступил в него с ощущением деревенским, и сравнивал его дома не с московскими домами, но с деревенскими избами, и реку не с «Москв́арей», а с нашей деревенской речкой, и с почтением приготовился отнестись к показавшейся вверху улочки красно-белой стене кремля... Отыскав дом Василия Андреевича, с деревенской же застенчивостью вошел я во двор и долго стоял у крыльца, не решаясь подняться...

И жизнь в городке — разумеется, я говорю о жизни ребячьей — оказалась и похожей, и непохожей на жизнь в деревне. Дядя Вася познакомил меня со своим приемным сыном Глебом, спокойным, серьезным мальчиком моих лет, Глеб тут же свел со своими товарищами, и разом я окунулся в эту новую для меня жизнь. В ней удивительно соединялись сельская свобода и раздолье и столь хорошо знакомые мне по Москве запреты города, а в сочетании и то, и дру-

гое приобретали особую, обновленную прелесть... С утра мы убегали купаться и удить рыбу с высокого моста; его деревянные сваи наклонно уходили в воду, серые сверху и зеленые в воде, и, приглядевшись, можно было различить темные спины ходивших в глубине возле свай рыб, увидеть, как вспыхивают иногда на солнце их серебряные бока. Еще конопатили и смолили какую-то старую разошедшуюся лодку, обнаруженную где-то в осоке и неизвестно, насовсем ли брошенную хозяином, поэтому приходилось ее прятать. План был: спуститься на ней вниз по реке с ночевкой... По дороге с купанья обязательно заглядывали мы на базар, вечно замусоренный соломенной трухой, — здесь продавалось все то, что в изобилии и задаром имелось в наших деревенских садах и огородах. Равнодушно миновали мы огурцы и помидоры, пробовали смородину и крыжовник, выставленные в граненых стаканах, и яблоки — кислую, брызжущую соком антоновку и другие, с неизвестным названием, сладкие, почти белые, с тонкими красными штрихами на боках. Более же всего привлекал нас молодой горох в стручках и семечки: мелкие, угольно-черные и крупные, сизые, с продольными белыми полосками. Мы оттопыривали майки, и все это насыпалось нам за пазухи... Или мы покупали большой, причудливо выгнувшийся от зрелости круг, темный с краев и светлеющий к сердцевине, — никогда толком было не понять, какой узор образуют в нем семечки: то, посмотришь, это прямые пересекающиеся ряды, то плавные кривые линии, соединяющиеся в лепестки, а то увидишь исходящую из центра туго закрученную спираль. Мы разламывали подсолнух на части; меж плотным и жестким покровом семечек и желто-зеленой шершавой изнанкой скрывалась такая белоснежная, такая воздушная на ощупь мякоть!.. Возвращаясь к обеду домой, мы лениво, размеренно шлепали босыми ногами по горячему булыжнику базарной площади, потом сворачивали в тенистую улицу, на прохладные каменные плиты тротуара... Помню, на этой улице, возле одного из домиков, соседствующих с дядиным домом, целыми днями просиживала в легком плетеном кресле сторбленная старуха в черном, несмотря на летний зной, одеянии, в черном кружевном платке на голове. Сидела она всегда одиноко,

молча, ни на кого не глядя. Когда я в первый раз увидел ее, Глеб шепотом сообщил мне, что это была помещица. Тогда я не обратил на старуху особенного внимания, но потом, вспомнив, решил для себя быстро и совершенно точно, что она оттого так угрюма и сидит всегда в черном, что это ей, наверное, принадлежал раньше дом, отданный теперь под общежитие педучилища, тот самый дом, где жил дядя Вася...

Это действительно был старинный высокий двухэтажный дом, с намеками на колонны на фасаде, с двумя массивными каменными воротами, за которыми открывался просторный, поросший травой двор. При доме сохранились кирпичные службы, флигель, в глубине двора имелся небольшой садик из нескольких раскидистых яблонь, давно сомкнувших свои ветви, так что образовалось что-то вроде живой беседки. Рядом разбит был цветник... И все это: и двор, и дом с его двумя подъездами, со сквозным коридором, узкими и крутыми деревянными лестничками, огражденными перилами на толстых фигурных столбиках, с отвесной железной лестницей и люком на чердак — все это тоже как нельзя лучше подходило для наших игр. Отлично было, например, играть во дворе в прятки, хоронясь в лопухах и бурьяне у забора, в пустой кадучке, врытой зачем-то в землю, и даже под раструженном для просушки сеном. Любили мы забираться в сарай на сеновал, куда тотчас являлась изгонять нас бдительная дворничиха тетя Дуня. «Вот щас метелкою-то охабачу!» — нестрашно грозила она, и очень нас веселило это «охабачу», и, притаившись, давились мы от смеха и зажимали друг другу рты, невидимые наверху сена. А сколько веселья было однажды, когда играли мы совсем в другом углу двора и вдруг услышали, как тетя Дуня, упустив нас из виду, покрикивает на сеновал — на всякий случай, для острстки!.. Еще хорош был этот двор тем, что к нему вплотную примыкал большой городской парк. Вечерами пускали туда по билетам. И вот, как только смеркалось и из парка начинала звучать музыка, мы влезали на крышу дровяного сарая, прыгивали с другой стороны и оказывались на запретной территории. Теперь задача была: незаметно, по кустам, пробраться в ухоженную часть парка — с клумбами, аллеями, фонарями, танцверандой — и сме-

шаться с гуляющей толпой. Но тут, на границе света и тьмы, как правило, поджидали нас сторожа, и, спасаясь от них, с воплями: «Срывайся!» и «Атас!» — мы убегали вниз, под обрыв, в темноту, в дикий и запущенный угол, где на немыслимой крутизне удерживались могучие деревья. Ноги несли тут сами, и приходилось на бегу хвататься за толстые стволы, обнимать их с налету, чтоб не разогнаться слишком, не полететь кувырком, не свалиться в воду. Там, в самом низу этого бесконечного обрыва, мы знали, покоился обширный некогда пруд, с каждым годом все более зарастающий осокой, затягивающийся ряской, и уцелевшее посреди пруда маленькое зеркальце воды напоминало чье-то усталое, медленно и навсегда закрывающееся око...

Но хорошо также помню, что в это время не только ребячьи игры, преследования, убегания, соперничество в ловкости, быстроте и силе прельщали меня. Я уже начинал смутно волноваться иным: звуками музыки из парка, всеми этими популярными тогда падеспанями, падеграсами, танго, грустными и прекрасными старинными вальсами, а еще пряным запахом цветов, оживающих к ночи на клумбах, неожиданно таинственным обликом столь, казалось, обычной и скучной днем улочки, с яркими редкими пятнами электрического света возле фонарных столбов и густым мраком под деревьями, стойким теплом позднего летнего вечера, лунными бликами на ветвях и траве, неясно белеющими в темноте платьями, тихим говором на скамьях у заборов, внезапным девичьим смехом, — всем, что с такой силой ощущается в юности и именно вот в таких маленьких городках... В том же доме жили девушки, студентки педучилища, они часто проходили, пробежали мимо нас по двору, и всякий раз я чувствовал, как непонятно, томительно и счастливо замирает что-то в глубине меня, выражаясь наружно полным безразличием и незамечанием, да усилившимся вдруг интересом к нашим мальчишечьим делам. Но при этом «незамечании» я уже выделял среди них одну, отличал по особенному внутреннему трепету, охватывавшему меня, когда я видел ее. Не так уж был я мал, чтобы не сказать себе, что это любовь, и в самом деле — что же это еще могло быть, если не любовь?!.. Была она тоненькая, трогательная,

с прелестным чередованием светлых и темных прядей в ярко-русых гладко зачесанных волосах и с тем цветом глаз, которые в зависимости от освещения кажутся то серыми, то голубыми... Очень нравилось мне и платье ее, в тонкую синюю и белую полоску, с белым пояском, и белые подвернутые носочки, и белые легкие парусиновые тапочки, какие мы все носили тогда, начищая мелом. Помню, как был я удручен, увидев вдруг такое же платье на другой девушке. Это было чуть ли не оскорблением моему чувству: как она могла, какое имела право носить такое же платье, что и у предмета моей любви?! Откуда было мне в то время знать, догадываться, что эти два одинаковых платья, скорее всего, были одним, которое по обычаям общежития подруги надевают по очереди, но если бы и знал, еще более вознегодовал бы... Еще помню, как однажды я с грохотом несся вниз по лестнице, перемахивая разом через добрую половину марша, и, повернув, чуть не сшиб ее, поднимающуюся мне навстречу. Мгновенно я замер, она подняла голову и — улыбнулась. Окно было за моей спиной, вверху, и даже от тусклого луча, проникшего сквозь это годами пылившееся лестничное окно и упавшего на ее лицо, глаза ее сделались совершенно синими... Во мне же в тот момент возникло сразу два противоположных ощущения: я был рыцарь, да, я был рыцарь, возвышавшийся над нею со скрещенными на груди руками, сильный, властный и суровый в своем отречении от любви ради долга, и одновременно это она стояла надо мной, а я был паж, на коленях припадающий к ее стопам и готовый немедленно, по единому ее слову жертвовать собой ради любви к ней... Причем сами эти ощущения не противоборствовали одно другому, но как бы восполняли, усиливали друг друга, они, будто сговорившись, помимо меня, нарочно объединились во мне, чтобы еще сильнее, еще верней меня мучать... Господи, и все это в одно мгновение, спустя которое я уже летел дальше! Запомнила ли она это мгновение так отчетливо, как я, а если не запомнила, то может ли когда-нибудь вдруг вспомнить?! Ощутила ли она сотворившееся во мне смятение чувств или ничего, кроме подчеркнутой досады от прерванного бега, не увидела на моем лице?!

Конечно, я стыдился тогда своего пробуждающегося волнения, украдкой вопрошающе смотрел на Глеба, видел, что он-то равнодушен, далек от этого, сосредоточенно, не поднимая головы, продолжает возиться со своим планером, когда девушки проходят мимо нас по двору. И мне тоже хотелось оставаться таким же невозмутимым, самоуглубленным, не замечать этих девушек, и я, естественно, делал вид, что не замечаю их, и понимал уже, что Глеб-то не замечает их по-настоящему, а я, однажды заметив, теперь не могу не замечать иначе, как только делая вид, и что от этого, выходит, я еще более их замечаю...

Может быть, именно это послужило толчком к тому, что я начал раздумывать о нашем несходстве с Глебом, интересоваться, почему один человек столь отличается по характеру от другого. Я был живым, беспокойным, подвижным, быстро на все реагировал, мгновенно схватывал суть, легко увлекался каким-нибудь предприятием и так же скоро к нему охладевал. Глеб, напротив, выглядел медлительным, неуклюжим, тяжелым на подъем, но был дотошным, основательным и упорным в любом деле, если уж брался за него. Он увлекался авиамоделированием и мог часами строгать, так и эдак соединять какие-то ажурные планочки, терпеливо клеить и переклеивать папиросную бумагу на крыльях. Пока что он мастерил только планеры, но у него была мечта раздобыть моторчик — бывают такие маленькие специальные моторчики — и сделать действующую модель самолета... Мало того, он уже твердо решил, знал в тринадцать лет, что после школы пойдет учиться в авиационный институт... Я спохватился, что сам никогда не задумывался над этим. Что интересовало меня? Добросовестно я перебрал многочисленные школьные предметы, по которым успевал одинаково легко: математику, физику, историю, зоологию, географию... — ни один из них в особенности не увлекал меня, иные же были просто скучны. Литература? А почему? Только потому, что я любил читать книги? Но разве не любили читать их многие другие, тот же Глеб?! Нет, кроме чтения книг непременно должен быть еще какой-то настоящий, серьезный, взрослый интерес. У меня его пока не было, а у Глеба уже был. И, завидуя ему, я разбирался, означают ли его сосре-

доточенность и целеустремленность, что Глеб взрослее меня, или черты эти бывают присущи человеку с самого начала, от рождения. Конечно, не от рождения, говорил я себе, ведь не мог же он с младенчества знать, что хочет стать, к примеру, авиаконструктором?! Следовательно, качества эти приобретаются, когда определяется цель, и как только я найду предназначенное для меня дело, я тоже стану сосредоточенным и целеустремленным... Но, может быть, наоборот, — именно его врожденные серьезность и цельность помогли ему сосредоточиться и избрать себе главную цель в жизни, в то время как я еще и не помышлял об этом?.. Тут я терялся... Одно я чувствовал точно: мне нравились эти качества Глеба, и я прямо связывал их с его внешним обликом, и в ожидании, пока во мне вырабатываются такие же качества, я невольно начал заимствовать наружные признаки их — подражал медлительности Глеба, его неловкой походке, рассеянности, его манере говорить, как бы подбирая... нет же! он не как бы подбирал и обдумывал слова, он действительно всякий раз медленно подбирал и тщательно обдумывал их!..

И опять же — я замечал, что подражаю ему! Ах, это неизвестно откуда и зачем свалившееся на меня свойство все, решительно все замечать: в себе, вокруг, в других людях — и замечать, как я замечаю, и успевать посмотреть, замечает ли кто еще, и попытаться определить, так же, как я, или нет!.. Свойство это, без привычки к нему, я воспринимал как обременительное, как очень мучительное порой, и просто как недостаток, как «отрицательную черту» — я инстинктивно понимал, что это свойство будто расщепляет меня изнутри, раздробляет, рассеивает как личность, а я, безусловно, хотел быть цельным, интересоваться чем-то одним и только об этом думать. Могло ли тогда прийти мне в голову, что это и означало, что я уже заинтересовался, давно и незаметно для себя увлекся только одним и раздумывал — о человеке, о едином и первоначально цельном человеке, неизвестно когда и как разделившемся — вот на бабушку, деда, маму, отца, дядю Васю, Глеба, соседских Коробков, на меня... — и что с помянутым упорным стремлением к цельности я стану снова собирать их в себе, со мною же, опять в единого человека, и снова он будет дробиться на многих людей, которых я еще

узнаю, и всю жизнь, как замороженный, только и буду делать, что собирать и следить, и пытаться постичь это бесконечное сходство и несходство, изменчивость и постоянство, разъединение и общность человека...

...Помню, был вечер, наша компания носилась по двору. Через двор, к столику под яблонями, как обычно, проследовал Василий Андреевич со своим коллегой по педучилищу и соседом по дому Василием Михалычем. Неизменно в этот час Василий Михалыч стучался к нему и с церемонностью спрашивал: «Готовы ли вы, сударь, пожаловать на ежевечернюю партию в шахматы-с?» И Василий Андреевич откликался: «С удовольствием, Василий Михайлович!»...

Мне вдруг расхотелось — убежать, догонять... Я постоял немного возле дяди Васи и его партнера, послушал тот характерный для шахматистов диалог, который ведут они почти бессознательно, уставясь в фигуры, не глядя друг на друга и как бы не слыша ни своих слов, ни ответов противника, повторяя одно и то же на разные лады, то медленно и с раздумьем, то с оживлением и наконец, когда решение найдено, с грозным весельем:

— Следовательно... вы полагаете... что вскрытие этой линии... позволит вам...

— Да, я надеюсь!

— Итак, вы полагаете... что эта линия... эт-та линия...

— Надеюсь, надеюсь!

— Значит, полагаете?!

— Да уж смею, смею надеяться!

— Ну, а... и т.д.

С похожей безотчетностью действий, словно ища чего-то, я покинул двор, прошел по улице, обогнул дом и вышел к обрыву. Будто впервые за все дни в городе я увидел далеко простирающиеся за рекой поля с темными разбросанными пятнами лесов и нашел среди них серую ленточку дороги, уходящую к горизонту, где уже сгустились сумерки, и дальше, в нашу деревню. Вдруг представил я наш дом, бабушку с дедом, одних... Сердце мое сжалось, впору было хоть сейчас ехать! И наутро ехал, и опять было то же: уговоры

погостить еще, и твердость, и чувство освобождения от чего-то, и предвкушение дороги... Все-таки откуда возникла эта тяга у меня, чьи предки всю жизнь сидели на своей земле?..

Минувя кремль, я сошел с велосипеда и перед окончательным спуском к реке постоял у Караульной башни. Конечно же, лазили мы и здесь, бегали по широким крепостным стенам, протискивались в узкие бойницы, нависали над темными провалами в башнях, рискуя обрушиться на груды осывавшегося кирпича. Я вспомнил, как Глеб с уверенностью сказал мне: «Все это восстановят!»... Я вообще очень хорошо почувствовал гордость, с какою показывал он мне эти приземистые, суровые, настоящие боевые стены и башни с грубо и несимметрично прорезанными на разной высоте бойницами — узкими и высокими, а еще прямоугольными, почти квадратными, — с глубокими и глухими каменными нишами, показывал щель, через которую поднимали и опускали несуществующие теперь ворота... С неожиданной в нем живостью Глеб тащил меня в музей, размещавшийся неподалеку от кремля, в церкви, говорил, что «вот эту кольчугу нашли именно здесь, у стен», и с восторгом растолковывал воинственную символику старого городского герба: княжеская шапка, обнаженный меч и башня с расходящимися от нее лучами... Запомнилась мне висевшая там же, в музее, картина: молодая женщина с длинными, светлыми, красиво разлетающимися волосами, прижимая к груди малолетнего сына, ступает на край башенной кровли. Это была княгиня Евпраксия, узнавшая, что муж ее, любимый князь Федор, отправившийся на переговоры с ханом Батыем, убит... «И абие наполнися слез и горести и ринуся из пре-высокаго храма своего, и с сыном своим со Иваном на среду земли, и заразися до смерти...» Удивительно: до сих пор живущая старуха помещица как-то не интересовала, ничего не говорила воображению, а эта жившая бог знает когда княгиня... Ведь где-то здесь, на этих кручах ринулась она «на среду земли»!.. Но более всего в кремле почему-то поразило меня место у Караульной башни, где я теперь стоял. Граненый ее цоколь мощно расширялся книзу, из щелей между белых нижних камней пробивалась трава. Стена в этом месте поворачивала и уходила вдаль, к следующей башне. Отвесная

сверху, линия стены ближе к земле слегка преломлялась, а еще более преломлялась она, переходя в ровный земляной зеленый вал с проплешинами рыжей глины. Вот эта округлость древней башни, прясло стены, угол между стеной и валом... Никогда никакое историческое сочинение не сказало мне больше, чем это место...

...А потом так же долго стоял и глядел на нашу деревню, когда показалась она наконец под горой, на ее крыши и ветлы, на знакомый изгиб речки, на окружающие леса, и с особенным чувством, будто вернулся издалека и после очень долгой разлуки, — на наш бугор, на мое Руднево, на одинокий вяз у колодца, крышу нашего дома... Казалось все это милым, родным, и почему-то очень беззащитным, хотелось укрыть, защитить...

## 15

Наверное, я не вспоминал бы наш дом так, как вспоминаю сейчас, во всеобъемлющем значении дома, если бы не выдавались для него счастливые дни, когда в нем собирались все... Вдруг — это для меня, конечно, вдруг — начинали один за другим съезжаться в нем все бабушкины и дедушкины сыновья и дочери, и каждый со своими детьми, моими двоюродными братьями и сестрами... Только теперь могу себе представить, как они все там заранее списывались, сговаривались, подгадывали с отпусками — ведь не двое-трое съезжалось, человек до двадцати собиралось на бугре... Объявлялись они со всех, причем с самых неожиданных сторон: кто приезжал попутной машиной из города, кто приходил пешком с ближайшей станции, кто, пройдя задами, выходил с огорода, кто махал и кричал из-за речки, спрашивая, где перейти... И по мере того, как гостей прибавлялось, в доме все нарастала радостная суэта, бестолковость которой усугублялась оттого, что все наперебой рвались помогать бабушке и деду в хлопотах по хозяйству: топить печь, замешивать тесто, готовить еду, приносить дрова и воду, скоблить, прибирая в доме, поливать в огороде, задавать корм скотине... Находились дела и мне: то меня посылали за чем-нибудь в лавку, то по соседним деревням созывать родных... Посреди всех пригото-

лений моя мама улучала момент вымыть меня; это, помимо самой процедуры, было неприятно еще тем, что я всячески старался выказать перед съехавшимися братьями и сестрами, что я здесь живу и сам себе хозяин, что хочу, то и делаю, а получалось, что и со мной могли сделать: вот — поставить так унижительно в корыто, тереть мочалкой, намыливать голову... Чистый, в новых трусах и майке, я выходил, хмуро садился на ступеньках крыльца, саднили отмытые руки и ноги... Деда тоже «ображивали» — повязывали полотенцем, подстригали, ровняли бороду, дружно уверяли: «Помолодел, Андрей Ячлич!» Дед с удовольствием глядел в зеркало: «Мать! И впрямь помолодел!»...

Обедать конечно же решали в палисаднике, выносили под березы столы и лавки. Звали по-соседски и Паню Коробчиху. Последними гостями, соблюдая приличие, приходили из деревни подруги бабушкиной юности — бабка Ганя и бабка Елена. «Ох, Дуняш, как к вам на бугор-то всходить! Насилу дошли!» — отдышавшись, говорила одна. «Зато благодать! Райский прямо уголок!» — откликнулась другая... Мне нравилось наблюдать застолье, наблюдать всех, слушать разговоры... Дядья произносили тосты — за недавнюю тогда победу, за родителей, за всю нашу родню, вспоминали Ивана, единственного из братьев, который не вернулся... Бабушка подносила к глазам конец платка. «А ты погоди, Авдоть, погоди горевать-то! — это бабка Ганя с бабкой Еленой. — Путают иногда! Вон в Гремячеве тоже так-то...» — и приводили в пример, как в другой деревне кого-то считали погибшим, а он возьми да объявись! Бабушка моя этот пример, конечно, знала, она и с этим примером горевала, она и без этого бы примера ждала... Засиживались до темноты и конечно же пели. Всякий раз я удивлялся, как тонко угадывала бабушка этот миг, когда сидящим за столом словно начинает чего-то не хватать, и тут она вдруг запевала, и все согласно подхватывали, будто осознав: вот, вот чего им не хватало! Как пела наша семья! Голоса у всех были хорошие, особенно выделялся сильный красивый баритон дяди Лени. Талантом петь он был, наверное, в бабушку, он и лицом единственный из детей походил на нее — светлый, голубоглазый. Все остальные были темноволосые, кареглазые, смуглые —

в деда Андрея. Глядя на дядю Леню, я вспоминал бабушкин рассказ, как в детстве ребята смеялись над ним: «Тебя подменили!» Лексей серчал и лез драться... Мне казалось, я понимал, отчего его любимая песня — «Ревела буря, дождь шумел...», здесь его голосу было где развернуться.

Ко славе страстию дыша,  
В стране суровой и угрюмой,  
На диком бреге Иртыша  
Сидел Ермак, объятый думой...

Пели Лексееву любимую, Васильеву любимую, Иванову любимую, Герасима любимую, дедову любимую... И останавливался кто-нибудь на деревне, глядя на наш бугор: «Ну, у Раисковых гуляют!»...

Затем наступали дни ленивого, размеренного, «дачного» существования. С утра кто-то оставался помогать по дому, а все остальные уходили за орехами в дальний Федоровский лес или за грибами на Дубакинский край. Потом сушили их, рассыпали на противнях, плащ-палатках. Куда ни заглянешь: на сарай, на чердак, на пологий навес крыльца, на печку — везде грибы, орехи... Вечерами усаживались играть в лото — к этой игре допускали и нас, детей, — или в карты: в «петуха», в «козла», в «свои козыри». Тут требовались соображение и память: какие карты на руках, какие вышли... Расходясь спать, договаривались, куда пойдут завтра. Спали кто где: в сенах, в светелке, в сарае на сене, в дедовом шалаше на огороде, прямо в палисаднике — всем хватало места...

Помню, однажды эти счастливые и спокойные дни чуть не омрачились одним происшествием. Нашу козу Серку покусал волк. Он было схватил ее, но пастухи подоспели, отбили. Несколько дней Серка недвижно лежала в хлеву. Я приносил ей свежие ветки, рвал для нее траву... — все оставалось нетронутым. Решили: издохнет коза, надо резать... Все уже было готово: позвали из деревни мужика, укрепили во дворе горизонтальный шест, поставили рядом таз, вытащили из хлева кучу веток, которые я наломал... Все ходили мрачные, молчаливые, и я уже с подступающими слезами, сжимая кулаки, отворачивался в угол двора и вообще собирался бежать, за-

бываться где-то и плакать, как вдруг Серка показалась из хлева, пошла, пошатываясь, к веткам и стала щипать!.. Все оживились, заговорили! «Надо же, умница, почувствовала! Значит, поправится... Ведь это она почувствовала!..» Всем стало хорошо, легко, и начали снимать шест, а я все-таки бросился со двора плакать — теперь от облегчения и радости...

Еще обязательно бывали дни, с утра до вечера наполненные работой. Кто-то шел к леснику договариваться насчет дров, кто-то к председателю — насчет машины, ехали в лес, валили деревья, привозили на бугор, пилили, кололи, складывали в поленницы — на зиму... Заготовливали и сено: мужчины вооружались косами, женщины ходили с граблями... И в этой сосредоточенной деловитости чувствовался близкий отъезд. Еще раз, на прощанье, ставили столы в палисаднике... После, когда все разъезжались, бабушка не раз принималась считать, загибая пальцы: «Лексей сам-пят, Гарасим с Надей, Василий с Дусей, Зина с твоим отцом...» Перечисляла всех и спрашивала: «Сколько ж это выходит?» — «Девятнадцать», — отвечал я. — «Больно чтой-то мало: девятнадцать! — сомневалась бабушка. — Шура, Тамара... Дору с Зоей считал?!» — «Считал... Нас еще трое», — напоминал я, имея в виду бабушку, дедушку и себя. — «Ну, нас-то чего считать!» — махала рукой бабушка, и мне почему-то было лестно, что меня считать не надо... — «Значит, Лексей... Гарасим... Василий...» — снова, совсем как в чеховской «Канители», начинала перечислять бабушка, и я поначалу возмущался, что не доверяет она моим математическим способностям, а потом понимал, что ей просто хочется еще раз назвать их всех...

Теперь, вспоминая, я радуюсь за бабушку и деда, что выпадали им такие дни. Повезло и мне: я видел большую нашу семью в пору ее расцвета, в момент наиболее полного выражения ее духа. Не зная вовсе жизни и людей, первое понятие о мире я составлял по нашей семье, и мне, я считаю, повезло, что я составил это понятие по тем добрым, любящим друг друга, ласковым, великодушным, самоотверженным, трудолюбивым, стойким и мужественным, которых привелось знать мне в детстве... И еще я знал с тех пор, с какою верою мы живем, — всегда мог себе ответить, что мы для того и

выгоняем дальше этот ствол, для того и откладываемся в нем, что в какой-то его точке вдруг опять завяжется узелок и снова отойдут от него во все стороны многие ветви...

## 16

Это было весной, в мае, я заканчивал седьмой класс. Что-то я делал за своим столом в нашей московской квартире, а мама, помню точно, гладила. По радио передавали какой-то концерт в сопровождении пары конферансье, из невидимого зала доносился смех зрителей... Вот странно: казалось мне, что целая жизнь, целая вечность прошла с того вечера, а пара эта и поныне увеселяет публику, и все теми же пронзительными пошлыми голосами, все теми же ужимками и такими же пошлыми шутками... Принесли телеграмму. «Папа... дедушка умер», — сказала мама. Она выключила радио и продолжала гладить, утирая глаза.

Смерть деда не была для нас неожиданностью, он долго болел, последний месяц лежал не вставая. Он и сам знал, что умирает, и созывал детей. Одну минутку, полминутки капельных, рассказывала потом бабушка, не застал его Герасим Андреевич. Она увидела в окно, как отворяет он калитку палисадника, и подошла к деду: «Отец! Гарка приехал!» — «Ну вот и хорошо», — сказал Андрей Яклич и умер... «Он все боялся, — рассказывала бабушка, — все мне говорил: “Мать! Ну-ко, я помру — буду нехороший!” А я ему: “Нет, дед! Ты будешь хороший...” И правди, в гробу-то он лежал — такой хороший...»

Спустя месяц, когда сдал я многочисленные экзамены, мы, как обычно, поехали в деревню, и все так же было в доме, посажен был огород... Бабушка, как я уже упоминал, не позволяла себе никаких наружных изъявлений скорби, и тем более на людях. На кладбище она иногда ходила — «Проведаю деда...» — но нас, то есть меня и восьмилетнюю мою сестру Олю, с собой не звала, и в этом, как я теперь понимаю, тоже был свой смысл... Но я сам однажды, оторвавшись от приятелей, забежал на кладбище и разыскал среди старых могил свежий деревянный крест. Я знал, что должен испытывать

грусть, печаль, однако чувств этих во мне не было... Конечно же я любил деда. Бывал он минутами вспльчив, ворчлив, в основном из-за своей приверженности к порядку в доме, доходившей до мелочей. Например, никому не доверял он отрывать листок от численника, это он каждый вечер делал сам и тут же смотрел и сообщал нам, какая нынче была долгота дня, во сколько взошло и зашло солнце, внимательно изучал статейку на обороте и, если там было что-то интересное, складывал к себе на полку... Нипочем не дозволялось мне поднимать гирыку у ходиков — с тех пор как я, усердствуя, подтянул ее до отказа и часы остановились. Из года в год Андрей Яклич вел учет разрушений, вызванных мной в хозяйстве, и при каждом новом напоминал мне их все, начиная от носика чайника, отбитого якобы мной в какие-то доисторические для меня времена. Сам я решительно этого не помнил, но в чайнике-то — с блекло-сиреневыми цветочками на белых фарфоровых боках, с крышкой на тонкой серебряной цепочке и, увы, с отбитым краешком носика — продолжали заваривать чай, и всякий раз он являлся на столе как бы немым мне укором...

Но лишь один-единственный раз мой дед позволил себе, как говорится, «поучить» меня. В огороде у нас, среди многого прочего, рос мак... Надо сказать, что каждый год, как только приезжал я в деревню и принимался заново изучать свои летние владения, Андрей Яклич считал своим долгом самолично провести меня по огороду. С некоей торжественностью, с гордостью показывал он, где и что этой весной посажено. Иные грядки были еще загадочно пусты, на других уже что-то всходило — редкое, слабенькое, робко зеленеющее, никак пока не походившее на сплошную, буйную, бесчисленных оттенков зеленого цвета поросль, забивающую огород к середине лета. И обязательно были грядки для меня — с горохом, турнепсом... Я любил забегать на огород, наблюдать, как все это растет, цветет, наливается, разглядывать ботву, цветки, плети, усики, срывать и пробовать какой-нибудь листок — все равно: огуречный, свекольный, картофельный... — пытаюсь в горьковатом, терпком, вяжущем вкусе его предвосхитить вкус будущего плода... Привлекал меня и мак: посеянный не сплошь, а в разных местах,

красиво возносил он там и тут, над чуждой ему, грубой, плотной и приземистой ботвой свои большие алые цветы, диковинные в сравнении с привычными цветами леса и луга... И вот однажды рассматривал я таким образом цветок мака. В глубине его уже начала ваяться крохотная ваза с круглой зубчатой крышечкой, а в сложном изгибе лепестков как бы запечатлелось стремление дать простор тому, что росло внутри, и, дав простор, защитить, а защитив, опять приоткрыть теплу и свету... Я наклонился над самым цветком, я тихонько, кончиками пальцев касался его лепестков, ощущая их выгнутость и упругость, я, наконец, сам будто поместился в середину чашечки и глядел оттуда на мир сквозь огромные прозрачно-пламенеющие стены... И — незаметно как — один лепесток оторвал... Тут и появился в огороде дед. Инстинктивно я спрятал руку с лепестком за спину и пошел ему навстречу. «Что это у тебя?» — поинтересовался он. — «Ничего», — отвечал я, отпуская лепесток падать за спиной на землю и протягивая раскрытую ладонь. Тогда Андрей Яклич тоже извлек из-за спины руку — а я как-то сразу не заметил, что была она у него за спиной и что сходились мы с одинаково спрятанными руками, — и легонько жикнул меня вожжами... Боли никакой не было, не было и ощущения несправедливости — ведь почувствовал я, стало быть, свою вину, раз спрятал лепесток, — но была неожиданность, и, наверное от неожиданности, я заплакал...

Впрочем, была какая-то смутная обида... Как просто выглядело бы это наказание, если бы и вина моя была проста: сорвал лепесток, не дал дозреть головке мака, и, разумеется, даже не в головке дело, а дело в бабушкином и дедушкином труде, ради нас всех, ради меня же — разве возбранялось мне, когда все это вызревало, рвать огурцы, дергать морковь, обламывать тот же мак?.. Но... — сколько мне тогда было, лет пять? — кто-то мне уже внушил, откуда-то я уже знал, что самая большая, самая непростительная вина — говорить «неправду», и если скажешь «правду», то есть признаешься в другой вине, то эта заведомо меньшая вина может проститься... Итак, главная моя вина была в том, что я, пытаюсь утаить сорванный лепесток, сказал «неправду». И если бы дед тут же, сгоряча выдернул откуда-нибудь жичинку и стеганул ею, тоже все было бы понятно.

Но он прятал за спиной приготовленные вожжи — единственное, кстати, что осталось в хозяйстве от лошадей, телег, санок, Орлика и без надобности с тех пор висело в сених, — значит, он увидел, как я сорвал этот лепесток, и специально сходил в дом за вожжами. Получалось, что он уже знал мою вину и шел наказывать. Ну, а если бы я вдруг протянул ему руку с лепестком, он что ж — так и повернулся бы и пошел с непригодившимися вожжами, простив меня за «правду»? И получалось, что он заранее предвидел «неправду», да еще помогал ей, спрашивая, что у меня в руке!.. Вот так примерно могу я сейчас расшифровать мою тогдашнюю обиду — и на себя, за «неправду», и на деда, за то, что знал о моей вине и притворялся, что не знает, — и вот отчего я заплакал и, конечно, кинулся к бабушке. Бабушка во все эти тонкости вникать не стала, а на деда очень рассердилась. «Ишь! За пустяковину, за маков цвет!» — выговаривала она ему. Но дед и сам был смущен. Вряд ли и он учитывал эту сложность, когда заметил беспорядок и вознамерился поучить меня, а раз — «поучить», то и отправился по старинке за вожжами... Но так или иначе, а с тех пор он никогда не наставлял меня именно таким образом. Да надо сказать, что и мои провинности бывали невелики и случайны — не было во мне склонности к преднамеренному озорству...

Более же всего я помню деда ласковым, благодушным, миролюбивым... «Дедушка, голубчик, сделай мне свисток...» — это прямо о нем. Были мне и свистки из молодых побегов липы, с которых легче всего сходит цельной трубочкой кора, были деревянные мечи, которые он терпеливо выстругивал, были пучки земляники и карманы орехов, были легонькие кошелочки, сплетаемые им специально для меня, чтобы ходить мне в лес... И что нас еще соединяло — это его сохранившаяся до старости способность удивиться, поразиться чему-то, не уступая в остроте и свежести восприятия мне, ребенку. Для него приносил я в сохранности из лесу необыкновенный гриб, сквозь который пробился росток дуба, да так, что туго скрученный листок торчал, наполовину высовывался прямо из середины шляпки! «Я его рву, рву, а он не отрывается! Глянул: батюшки! а под ним желудь и вот такой корень! Ну что ты будешь делать...» — рассказывал я с восторгом, заимствуя невольно у стариков их словечки... Или

описывал, как вышел к деревцу, вокруг которого точно по окружности и строго по росту сидели семь белых, и рылся в корзине, находил их, выкладывал, как именно они сидели, так что самый маленький оказывался рядом с самым большим, и пытался выразить, что я сам чувствовал, любуясь ими и жалея рвать, и как все-таки не устоял... — и видел в глазах деда непритворный интерес, и понимание, и такое же радостное, как у меня, изумление перед чудом...

Он вообще любил и умел заметить жизнь всякого деревца, цветка, былинки, умилиться разной мелкой твари: пташкам, букашкам... Пчел он называл не иначе, как «пчелками», воробьев — «воробушками», ласточек — «касаточками»... Помню его обычные слова, когда выходил он вечерами посидеть на крыльце: «Благодать-то какая! Листочек не шелóхнется!»... И эту доброту и ласковость деда безошибочнее всего чувствовала вся обитающая в нашем доме живность: к нему доверчиво, не опасаясь строгого хозяйского окрика, подбегали овцы, не шарахались от него заполошные наши куры, коза Серка давала молоко, только если он стоял рядом, ласточки не боялись залетать в сарай, когда он там работал, к нему сама подходила и прыгала на колени кошка... И любимая его песня была грустная и умилительная:

Однажды в рощице гулял я,  
где пташки пёрхают одне,  
и песне соловья внимал я,  
вдруг чтой-то грустно стало мне...

Не помню точно следующих слов, — видимо, обратился человек со своим предчувствием к соловушке и тот подтвердил ему печальную весть, потому что заканчивалась песня так:

Соловушка вспорхнул, помчался  
свою любезную искать,  
а я под деревцем остался  
о милой плакать-горевать...

Хорошо говорила бабушка: «Он жаланый был, дед-то...» Именно: не «желанный», а жаланный, то есть жалостливый, всех жалел, любил...

А еще он был книголюб, знал на память многие старинные стихи, любил порассуждать. Как схватывались они с бабушкой из-за «Анны Карениной», которую дед читал для нее вслух. Бабушка Анну Каренину по-житейски, в простоте, конечно, осуждала: «Ну ладно, от этого свово она ушла, энтот был не мил, а другой-то теперь чем не хорош?!» Но, главное, ни при каких условиях Авдотья Филимоновна не допускала, чтобы женщина настолько позабыла о детях, что могла «над собой такое одумать». Дед возражал с иных совсем позиций, точно чувствуя, что раз все это свершилось, значит, включает в себе какой-то промысел, и пытался растолковать бабушке эпитафия, упирая особенно не на вторую его часть: «Азь воздамъ» — обязательно, мол, накажу, а на слово «мне» — «Мне отмщение...» — понимая это так, что не нам, людям, судить других людей, то есть, по сути, самих же себя...

Была у деда записная книжка в белом картонном переплете, схваченная резинкой, пухлая от сберегаемых в ней квитанций на районную газету «Смычка», вездливым читателем которой он являлся, и прочих памятных бумажек. В эту книжку Андрей Яклич заносил всякую всячину, вроде: «Зорька окотилась», «Был Василий» и т.д. Записывал и всевозможные явления мирной нашей природы: небывалый град, чрезмерный разлив речки... Помню, надвигалось однажды на нас из-за деревни большое ливневое облако, сверху пышное, взбитое, четкое, осиянное солнцем, а снизу плоское, туманно-серое, размытое, и мы смотрели с нашего бугра, как пелена воды скрывает постепенно дальний лес, избы, как разом потемнела пыльная дорога посреди деревни, как начинает трепетать и выворачиваться светлой изнанкой листва на заречных ветлах, и вот уж услышали, как зашумел дождь в ольховых кустах на берегу, увидели, как вскипел край речки, и приготовились укрываться на крыльце, но... дальше дождь не пошел, так на той стороне и остался!.. Как мы дивились, глядя на эту пелену, сверкающую неподалеку от нас, хотя в самом деле — бывает же где-то всякий раз край дождя... «Такого я отродясь не видывал! Это надо записать!» — сказал Андрей Яклич и пошел в дом. И может быть, именно благодаря деду я с первых детских лет усвоил, что можно не только узнавать из книг о запечатленных кем-то другим мгновениях, но и самому запечатлеть их!.. До сих пор слово «за-

писать» звучит для меня не в обычном смысле — «сделать запись», но так же, как, например, звучат слова «заговорить», «заколдовать», то есть произвести какое-то магическое действие над тем, о чем пишешь. За-писать... Очень жалею, что с дедовой смертью его книжка куда-то подевалась. Уцелел такой же белый картонный очешник, и я его храню. Еще храню отданные мне бабушкой несколько писем, которые Андрей Яклич написал ей в последний год из больницы. Писаны они были лежа, слабой рукой, карандашом, карандаш почти стерся, так что не все теперь можно разобрать:

«Здравствуй дорогая моя старушка Евдокия Филимоновна прожили мы с тобой вместе 56 лет много мы с тобой видели горя и невзгод много поработали наши ручки и много ходили наши ножки но сейчас подходит конец нашей совместной жизни я прошу у тебя моя милая старушка прощения прости меня если я когда либа тебя обидел и помоли богу чтобы пришел тот час ..... и прошу прощения у всех моих деток простите меня пожалуста когда чем я вас обижал и прошу прощения у своих дорогих внучат...»

«...Как ты там живешь без меня милая моя старушка я беспокоюсь о тебе моя дорогая подруга жизни небось намучилась без меня я только усну забуду про тебя а то постоянно у меня на уме и сны часто снятся нехорошие небось мука вся сходи к Денису он выпишет за рож муки...»

«Еще пишу к своим детям милья вы мои дети прошу я вас не бросайте свою маму она за вами ходила и как она вас любила любите и вы ее так...»

«Дорогой наш сынок Вася вы наш попечитель... так прошу тебя поедиш в деревню сходи к бондарю чтобы он вставил рамы и обмазал а как приедет Алексей то вы должны свою маму обеспечить смолоть муки навозить дров чтобы ваша мама зиму провела в тепле пустите в зиму одну молодую Зорьку и 5 кур с нее и хватит дорогой наш сынок поедишь в деревню сходи к Денису попроси у ево чтобы он выдал взамен ржи муки я заработал в колхозе июль 17 дней август 31 день сентябрь 25 дней еще капусту сажал 3 раза и маты плел 6 дней...»

«Вот если я помру вы свою маму возьмите к себе не давайте ей мучится одной в лервене...»

«...попилите березки в палисаднике и ветлы на задах и сломайте всю загородку дров с ней хватит и она проживет зиму а когда дом продадите деньги отдайте маме вот моя к вам просьба мои дорогие дети...»

«...боль невыносимая... я просил врача усыпи ты меня и зарежь мне легче будет а он мне сказал я выличил многих таких стариков и ушли домой... теперь только одно чтобы я все перенес помоли за меня богу чтобы он дал мне крепость и силу и дал бы мне вернуться в свой родной дом и какая же это будет радость...»

«...Целую тебя крепко крепко моя дорогая Авдотья Филимоновна еще раз прощай твой старичек Андрей Яковлев Райский».

Вот и все эпистолярное дедово наследство... Сейчас я думаю, что это хорошо, что мне не привелось быть при его смерти, провожать его. Мне кажется, что это дело сынов, а не внуков, — я понял это, когда и мне выпало исполнить такой же сыновний долг... А тогда я был внук — любимый, беспечно уверенный в этой любви и не задумывающийся о своих собственных чувствах внучек. Разве осознал бы я, почувствовал, как должно, его смерть и мою любовь к нему, как осознал все это потом, спустя годы, когда и обвел чернилами полустершиеся карандашные слова?! И разве было бы счастливо и беспечно наше детство, если бы мы с ранних лет ощущали и понимали так же остро и хорошо, как замечали, видели?.. Все это уготовано нам «на потом», для воспоминания, а детству суждено спасительное детское неведение. И в самом деле: как сложно и, в конечном счете, грустно было бы нам жить, если бы мы уже в детстве знали бы о своей любви к близким, а следовательно, обязательно знали бы о неминуемой разлуке и заранее страдали в ожидании ее. Ибо понятия любви и разлуки неразделимы... Но тогда, стоя на кладбище возле дедовой могилы, я ничего этого не чувствовал, не понимал. Я был как путник, остановившийся на мгновение в самом начале дороги с ощущением, будто его позвали, окликнули там, откуда он вышел. И оглянулся он, пытаясь разобрать, постичь смысл этого зова, но ничего более не услышал и бодро двинулся дальше...

...Зато я был при продаже нашего дома. Василий Андреевич быстро сыскал у себя в городе покупателей, приехали какие-то люди, к

которым я тотчас проникся неприязнью, придирчиво осматривали со всех сторон наш дом, замечали где-то и указывали бабушке на тронутое шашелем бревно... Потом нагрянула целая артель. Наше имущество мы снесли в сарай и во двор. Как-то безучастно, а порой даже с деловым любопытством поглядывал я, как разбирают наш дом: снимают с крыши железные листы, разводят стропила, сбрасывают с чердака засыпку, раскрывают потолок, как обнажается и становится несуразно высокой печная труба... Целый день ходили в город груженные машины, а с последней, собравшейся поздно под вечер, вдруг не выдержал, будто сорвался и я — сказал бабушке, что съезжу к дяде Васе. В кабине, рядом с новым хозяином нашего дома, оставалось место, но я в кабину сесть не захотел, забрался наверх. Тяжело нагруженная машина катилась медленно, переваливалась на ухабах, опускались и вздымались подо мной наспех увязанные бревна и доски. Несколько раз хозяин выглядывал и кричал: «Парень, эй, парень! Ты там не убится?!» — на что я не сразу и сурово — хотя он-то чем был виноват? — отвечал: «Нет, нет!»... Печальны были наступающие в полях сумерки, темнота в рощах, слабеющие в прохладном воздухе запахи цветов, печальна серая, с темными точечными следами дождевых капель дорога. На горизонте настлались длинные обложные тучи. За день дождик собирался не однажды и вот теперь потихоньку начал накрапывать и разошелся. Опять хозяин позвал меня в кабину, я отказался. Машина шла все тяжелее, буксовала и в какой-то лоштинке, недалеко от города, окончательно села. Тогда я слез и пошел, только не в город, а назад, в деревню, в темноте, с какою-то горькой отрадой подставляя лицо мерно льющемуся дождю... Так простился я с нашим домом...

Но мы еще оставались жить в деревне до конца лета. Бабушка с сестренкой спали в сарае, я на улице. Стол у нас стоял посреди двора, дожди его поливали, солнце высушивало. «Вот и мыть не надо», — говорила бабушка... Печку кто-то предприимчивый из деревни купил и разобрал на кирпичи. Из остатков кирпича я выложил в палисаднике очаг... Повадились к нам, будто на пепелище, разные старухи. Бродит, бродит по двору, высматривает и: «Авдоть, а ушат-то тебе небось не нужен?» Или — коса... Или — грабли... Ба-

бушка раздавала... Из живности у нас осталась коза да куры. И, на удивление, вопреки распространенному поверью, все лето с нами жила, не сгнула славная наша кошка...

Зато сам я, будто сознав, что это лето в деревне — последнее, пропал... «из дому», — теперь не скажешь... пропал с нашего бугра с утра до ночи. Ходил по-прежнему в свой лес, убегал с ребятами на деревню, а еще неожиданно увлекся всякими сельскими работами: пробовал косить, ездил на конных граблях, помогал складывать стога и копны, таскал снопы, возил зерно с поля на ток, веял... то есть делал все, чем мы и раньше, ребяташками, мимоходом, между играми занимались, но теперь серьезно, с особенным наслаждением, до изнеможения... Чуть не ушел однажды с гуртовщиками, гнавшими куда-то на убой молодых бычков и заночевавшими неподалеку от нас. Потянуло меня на их костер, ел печеную картошку, поджаривал на прутике над углями выловленных в речке плотвичек, смотрел, как вспыхивает вдруг в темноте в отсвете костра бездонно-фиолетовый глаз бычка, слушал разговоры, сам рассказывал что-то, и уже звали меня гуртовщики с собой, возможно шутя, а я всерьез соглашался, но — пришла встревоженная бабушка и увела меня... Начал ходить вечерами со сверстниками на большак, к «червонному тузу». Когда-то давно деревенские ухагеры сняли здесь, на лужайке, дерн и выложили в форме «сердца». Потом снова все заросло, а название осталось. Собирались здесь взрослые парни и девки, жгли костер, пели и плясали под гармошку. Мы в сторонке смотрели. Все эти частушки мы знали. Вот какая-нибудь из девок кончала про свои платочки, которые «вышивала, да забыла передать», и тут же нарочито низкий и разгульный голос ей отвечал:

Эх, меня били, колотили и зарезали во рже,  
Молодая кровь горячая кипела на ноже...

И девки уже замечали нас, — заигрывали, больно наступали своими «танкетками» на наши босые ноги, вдруг обнимали со смехом, тащили в освещенный круг. Мы упирались, вырывались...

## 17

Извечный вопрос: когда, в какой момент кончается наше детство? Как соблазнительно было бы мне обозначить, что мое детство кончилось именно тогда: со смертью деда, продажей нашего дома, прощанием с деревней. Но я хорошо помню, как что-то бесконечно и жалостно детское отлетело от меня много лет спустя, в миг, когда я услышал о смерти отца. Утраченное это ощущение я назвал бы безопасностью, но не той, противоположностью которой считается обычно житейская самостоятельность и практицизм, а безопасностью онтологической, молодой безоглядностью во взаимоотношениях с бытием... Видимо, детство определяется не количеством отведенных ему четырнадцати-пятнадцати лет, но состоянием ума и души. И, исходя из этого, я думаю, что мы взрослеем гораздо раньше, чем принято считать, но в то же время и детьми остаемся дольше. Противоречия тут нет, просто оба эти состояния сосуществуют в нас... Да: детство в нас гораздо более длительно и неизменно, чем мы сами отдаем себе в этом отчет. Но одно я знаю совершенно точно — мое детство в деревне, о котором я здесь пишу, кончилось именно в то лето, хотя бы потому, что с тех пор я не ездил больше в нашу деревню. Продолжением, а точнее, параллелью ему могло быть теперь только детство в городе...

Конечно, по прошествии многих лет я поехал проведать дорогие места. Деревня была все такая же и — другая: больше стало добротных домов, но появились и заколоченные, пустые, исчезли совсем соломенные крыши, а вместо старых деревянных амбаров, скотного двора, конюшни вытянулись ряды кирпичных строений... С удивлением заметил я, как преобразилось кладбище! Во времена моего детства было оно запущенным, заброшенным, оград почти не было, кресты погнили, надгробные камни скрылись в сплетении трав, а ближний к церкви угол сплошь зарос деревьями и кустарником и походил бы на островок обычного леса, когда бы еле заметные продолговатые бугры не указывали, что здесь тоже могилы... Теперь же все холмики были расчищены, убран хлам осыпавшихся с деревьев сухих веток и листьев, давнишние повалившиеся памятники под-

няты, возобновлены старинные надписи. Будто живые вдруг спохватились и сказали себе о ценности и непреложности бывшей жизни... И может, от этой возродившейся в людях заботы и памяти не возникали мысли о бренности, скоротечности, прахе, — здесь, где как бы положено возникать таким мыслям, — напротив, как-то уверенно ощущалось, что все лежащие здесь действительно Были, и чувствовалось основание и прочность всего живущего сейчас...

Навестил я и наш бугор, где теперь оставался один старый Коробков дом, в который я зашел с почти родственным чувством. Ребята поразъехались: старший, Валентин, после армии ездил на целину, вернулся, женился, жил теперь и работал на заводе в каком-то подмосковном городе. Младший, Витька, с которым мы когда-то с упоением воображали себя «хозяевами земли и неба», в самом деле стал, как принято говорить, «хозяином неба»: кончил летное училище, где-то летал... Сильно постаревшая Паня с гордостью объявила мне, что сама она живет здесь «как дачница», с весны до осени, а на зиму уезжает то к одному сыну, то к другому...

Постоял я на нашей усадьбе, где обосновалась разнообразная совхозная техника. Трактора, комбайны, сеялки и прочие, незнакомые мне современные агрегаты стояли на нашем бывшем огороде и вокруг. Вдруг пришло мне в голову, что это какой-то рок, что после нас на усадьбе становится техника, — ведь и раньше, на месте прежнего «райского уголка», возле речки стояли трактора!.. Но и тут же решил я, что это все-таки лучше, не так грустно, как если бы кто-то чужой жил... Березы в палисаднике, конечно, были порублены... О! недолго предавался я обычному в таких случаях и бесплодному элегическому чувству, — наоборот, быстро оглядел, какие кусты и деревья сохранились, заметил с отрадой, что целы сирень, акации, черемуха, две липы, и на матером стволе одной из них еще различалась поперечная серая полоска, след бывшей загородки... И мне представилась соблазнительная мысль: восстановить наш дом — точно на этом месте и точно в том виде, каким он был!.. Я даже помечтал, как сделаю что-то необыкновенно важное и ценное для людей, и, когда люди приступят ко мне с благодарностью и восторгом и спросят, что я желаю в награду, я скажу: отдайте

мне наш бугор!.. Я повыведу, повыжгу из земли пролившийся мазут и соляру, возделаю заново эту землю, насажу такие же березы... И я даже вообразил, что все это исполнилось: и дом наш стоит, и деревья растут, и сам я присел к окошку, глядя в палисадник, словно в ожидании... Но как только вообразил, так и понял, что это будет не дом, но — памятник! «...Вот так же, — сказал я себе, — пристраивал ты в детстве брошенное гнездо в развилку липы, обозначая, что здесь жили, но птицы все равно не селились в нем... Нет, надо как-то по-иному...»

Я побродил по моему Рудневу. Была весна, снег уж стаял, трава зеленела, а деревья еще не оделись. Роща сквозила от края до края, и голоса птиц, не приглушенные листвой, звучали на весь лес, прорезая его звонко и радостно. Отсыревшая под снегом прошлогодняя листва не просохла, сквозь нее пробивались отдельные упругие зеленые травинки, из цветов один первоцвет полыхал тут и там яркими желтыми огоньками. В детстве мы называли его «баранчиками» и с удовольствием поедали его нежные сочные стебли... В ворохе листьев подобрал я несколько желудей. Вернувшись в Москву, я насыпал в банки земли и просто положил желуди на влажную землю, как лежали они в лесу. Через недолгое время плотная глянцева их кожа лопнула, разошлась посередине, как надкрылья жука, и каждый желудь выкинул раздвоенный язычок ростка, один конец которого, изогнувшись петелькой, зацепился за землю и стал корнем, а другой потянулся вверх. Когда выросли они сантиметров на пятнадцать и имели уже по два развернутых листочка, я высадил их возле своего, недавно отстроенного в Юго-Западе Москвы, длинного, как линкор, дома — как раз против окон квартиры, где я жил. Вокруг каждого ростка сделал я загородочку из дощечек, чтобы видно, понятно было, что не трава здесь растет... Так, много лет спустя, исполнил я дедов завет: посадил возле своего дома дерево... Вскоре один росток был просто затоптан, по другому — я понял это по узкому глубокому следу — слесари проволокли водопроводную трубу, третий выдернул живший этажом ниже толстый кандидат каких-то наук, неукротимый в своем рвении «озеленять». За честно сданные им на озеленение три рубля ему привезли на грузовике двухметро-

вый тополь, его-то он и воткнул вместо моего дуба, гордый, что тоже не чужд любви к природе. На мой упрек, что он погубил дуб, и на мой довод, что он не посадил, а лишь пересадил дерево, которое и без того где-то росло, он отвечал убедительно, что моему дубу расти и расти — «дубы вообще растут очень медленно», — а тут, пожалуйста, готовый большой тополь... Но еще один, последний дубок уцелел, укоренился, он уже выше меня ростом, ему восемь лет... только сам я больше не живу в том доме... И тут можно было бы посокрушаться, порассуждать, отчего, например, ветхая изба, купленная моим другом в исчезающей северной деревне, отчего этот чужой дом, где неизвестно кто родился и вырос, все равно преисполняет нас уважением, когда мы приезжаем туда, и все равно кажется нам более домом, чем наши городские квартиры, но... — все это и без того слишком понятно... Хорошо хоть, что был у нас такой дом в детстве, хорошо, что мы знаем о таком доме...

«Если хотите всю мою мысль, то, по-моему, дети, настоящие то есть дети, то есть дети людей, должны родиться на земле, а не на мостовой. Можно жить потом на мостовой, но родиться и *всходить* нация, в огромном большинстве своем, должна на земле, на почве, на которой и хлеб и деревья растут». Это написал Достоевский, как никто интересовавшийся детьми и детством и как никто понимавший значение детства для всей дальнейшей человеческой жизни... Следовательно, могу считать, что мне посчастливилось: я хотя и родился в городе, то есть в этом смысле «на мостовой», но тут же был возвращен на землю, «на которой и хлеб и деревья растут» и на которой всякому ребенку так легко быть счастливым... Я, в свою очередь, убежден, что детство обязательно должно быть счастливым — хотя бы потому, что вовсе не ранние невзгоды и лишения закаляют человека и готовят для жизненной борьбы, но прочное ощущение счастья, бывшего в детстве. Нужно же для этого совсем немного: в детстве человек должен ощущать, что у него есть всё! То есть у него может и не быть «всего», ему и не надо «всего», и, с точки зрения материальной, у него может быть очень мало, но сознание, что у него есть всё — быть должно. Тогда любые возможные в будущем несчастья человек воспримет достойно и пере-

несет стойко. И напротив: человек с развившимся в детстве ощущением своей обделенности пусть впоследствии преуспеет, все равно эта неудовлетворенность жизнью в нем так и останется, все равно будет он маяться мыслью, что чего-то у него еще нет... У него и действительно нет, только не «еще», а «уже» нет, и теперь никогда не будет — счастливого детства, счастливой памяти о детстве, любви к нему. А в любви к своему детству мне видится неперемнное условие любви к своим детям, к другим людям и вообще — к жизни.

Вот почему, наверное, мы так часто обращаемся к воспоминанию о детстве — ищем в нем намека, предсказания, ответа... И если само детство, возможно, когда-то кончается, то воспоминание о нем хорошо тем, что оно бесконечно. Как, например, завивается стебелек одуванчика, если сунуть в рот расщепленный его кончик с капелькой горького белого молока и, не разжимая губ, бормотать специальные, та й н ы е слова... Или как отчаянно, долгим криком кричат привязанные на задах усадьбы козлята, в ужасе перед надвигающейся грозой, когда что-то угрожающе посверкивает, погромыхивает и жутко мрачнеет над полем — ближе, ближе... И все попрыталось, приумолкло, даже воробьи, трещавшие без останова в недосягаемой вершине вяза, где у них многочисленные дупла, схоронились и затихли, только сама вершина вдруг начала страшно шуметь и выгибаться ветвями. Вспылил вдали большак, а вот и колосья с краю поля заходили, закланялись над дорогой в размашистых, истовых поклонах... И еще пуще мечутся козлята на своих привязях, натягивают их, дробно обегаят вокруг кольев, закручиваются и, не в состоянии двинуться больше, с надеждой глядят в сторону дома — только оттуда может прийти спасение... И вот прибегает мальчик, укравшийся мешком от первых капель, торопливо распутывает, отвязывает, отпускает одного, второго, а с последним, совсем изощедшим страхом и нетерпением при виде удирающих брата и сестры, мчит бок о бок. Ливень настигает, козлята опрометью кидаются и исчезают в отворенной двери теплого, родного, спасительного хлева; небо раскрывается напоследок, кажется, прямо над домом, уже не с величественным, раскатистым, отдаленно замирающим гулом, а с оглушительным, сухим и коротким треском, и мальчик, в

мгновенном ужасе и восторге, сорвав с головы мешковину, начинает приплясывать в палисаднике перед крыльцом, воздевая руки под хлынувшим потоком, глядя на захлопнутые окна, враз ослепшие от сплошной стекающей по ним воды, и выкрикивая в самозабвении что-то несуразное:

Гром гремит, земля трясется,  
Поп на курице несется!..

Этот мальчик — «был я сам»...

...И никогда не перестанут всплывать в памяти все новые и новые, полузабытые, прекрасные для нас подробности. Но, даже помимо припоминания бесчисленных мгновений детства, память о нем может быть бесконечна и прелестна в простом повторении, ибо всегда можно, поставив точку в самом произвольном месте, вернуться и начать сначала: наш дом стоял на бугре...

...Да, и вот еще отчего, кажется мне, обращаемся мы время от времени к своему детству... Иногда, включив телевизор, можем мы видеть, как прыгают и снуют по площадке спортсмены, как убывает на световом табло число, обозначающее время игры, — так стремительно, что начертания цифр не просто сменяют, а неуловимо для глаза словно переливаются друг в друга. И вот это современное изображение исчезающего неведомо куда и зачем времени более впечатляет, чем, скажем, струившийся некогда песок, утекающая потихоньку вода... Но вдруг какая-то из команд с согласия судей собирается в кружок и, сблизив головы, договаривается о чем-то. А цифры на табло замирают, что тоже всегда не менее удивительно. Кажется, это называется — «тайм-аут»... Не такую ли передышку и мы берем у жизни, принимаясь вспоминать беспечное ее начало?.. Ведь вполне возможно, что, пока мы, склонившись над своим детством, перешептываемся с бывшими там ветлами, ручьем, головастиками, стрекозами, ржаным полем, перепелиными гнездами, — время, отпущенное нам, стоит...

---

# ОТРОЧЕСТВО В ГОРОДЕ

Уцелеют по крайней мере хотя некоторые верные черты, чтоб угадать по ним, что могло таиться в душе иного подростка тогдашнего смутного времени — дознание не совсем ничтожное, ибо из подростков созидаются поколения...

*Ф.М. Достоевский. Подросток*

## 1

«12 июня 1968 г.

8-го, в субботу, вечером, в половине десятого умер папа. Далеко от нас, один, в Звенигороде, куда он уехал с утра на открытие пионерлагеря. Я гулял с детишками перед сном, поодаль от дома, на лужайке, и вдруг увидел жену, молча бегущую к нам. Почему-то не встревожил меня этот молчаливый и стремительный бег. “У нас дома несчастье. Инфаркт у папы”, — сказала жена. Теперь я бежал к автобусной остановке, оглядываясь, не нагонит ли такси, — найти такси на нашей окраине можно только случайно. “Но ведь это инфаркт, только инфаркт, не смерть”, — говорил я себе и вдруг поймал себя на том, что думаю, как будет без папы... Когда я вошел в квартиру, мама твердила: “Мы его не застанем! Мы его не застанем!..” Оказывается, уже шла за нами из Звенигорода служебная машина, на которой он уехал. Улучив момент, сестра позвала тихонько: “Поди-ка!” — и ушла в спальню, я за ней. “В общем... знаешь... папа умер”, — сказала она и заплакала. Мы обнялись, и тут вошла мама: “Вы что-то знаете, он умер, да, вы скрываете от меня!..” Потом я ехал на этой машине в Звенигород, уже ночью, один. Сначала мы выехали вместе, и мама продолжала просить: “Ну, скажите, умер, да? Ведь вы не понимаете, ведь тогда надо взять одежду, одеть его...” Я колебался, наконец сказал шоферу: “Вернемся за одеждой”. И когда развернулись, мама поняла. Тут было ощущение: пока мы не говорили ей, папа еще как-то не совсем умер, а теперь, когда и мама узнала, он умер уж окончательно... Из дому я позвонил в Звенигородскую больницу, чтоб не переносили папу в морг, подождали, пока мы приедем. Врач, заведующая отделением, обещала,

только просила не привозить жену, то есть маму. И я сказал маме, что ехать поздно, папу уже перенесли в морг и нам не покажут и не отдадут его до вскрытия, а вскрытие будет только в понедельник, завтра выходной. Все это тоже объяснила мне заведующая... “Пойду, отпущу машину”, — сказал я, глядя на сестру и кивая ей, спустился и поехал. За городом был туман, он находил из низин, и когда мы въезжали в такую низину, то двигались очень медленно, и машина точно была как похоронная. Шофер рассказывал — он и перевозил папу из лагеря в больницу, — что после торжественной линейки был концерт, и вот посреди концерта папе стало плохо. Он вдруг встал, пошел куда-то в сторону и упал. Когда приехали в больницу, ему сделали укол, прямо в машине. Потом стали укладывать на носилки, а он сказал: “Я сам пойду”. Но ему не разрешили. Подъехали они к старому корпусу, а надо было в новый, и его несли туда на носилках, там с километр... “Так вот когда он почувствовал, — думал я. — Когда стали класть на носилки... И он не захотел...” В машине был телефон, и я еще несколько раз звонил заведующей, что еду. Слышимость, хотя и приближались мы к Звенигороду, с каждым разом делалась все хуже, потому что связь все равно была через Москву, а от Москвы мы удалялись. Под конец телефон вообще не ответил.

Этот новый корпус мы долго искали, наконец остановились возле совершенно темного здания. Все подъезды были заперты, я упрямо стучал, пока какой-то старик не приоткрыл мне. Я протиснулся, он глядел с недоверием. “Какую заведующую? Больницей? А здесь общежитие техникума. Больница там”, — он махнул в темноту. Я кинулся в ту сторону, там тоже оказалось неосвещенное здание с вывеской при входе. Разобрать вывеску было невозможно. Тут из соседнего дома вывалилась подгулявшая толпа с песнями. “Где больница?! — крикнул я. И еще раз: — Больница где?!” — потому что с первого раза они не услышали. “Больница? Вон”. — Мне показали на белеющий в отдалении корпус... На первом этаже уборщица мыла пол. “Заведующую? Вы из Москвы? Это на третьем, в хирургическом...” Я взлетел по лестнице, стал искать, две девушки сказали мне, что это четвертый этаж. На третьем я пошел на голоса,

толкнул дверь с надписью “Операционная”. “Сюда нельзя! — Женщина в белом халате решительно загородила мне дорогу, и я в этот момент увидел, как из другой двери, в глубине операционной, выносили какие-то окровавленные тряпки. — А заведующая, должно быть, у себя, на втором”. При входе на второй за столиком сидела молоденькая медсестра. “Я из Москвы, — опять начал я. — Мне...” Она встала. “Пойдемте. Он в первой”, — сказала она и повела меня по длинному коридору, в самый конец. Я смотрел: дверь в палату была стеклянная, и я испугался, что сразу увижу папу через дверь и буду идти к нему, видя его. В узкой комнате со множеством кроватей никого не было, а в углу, на самой дальней кровати, я увидел накрытое — под простыней обозначилось острие лица. “Да, ведь накрывают!” — с каким-то облегчением вспомнил я. Я посмотрел на девушку, чтоб она догадалась уйти. Она не уходила. Тогда я сказал, она ушла, а я пошел к той кровати. Теперь я уже сожалел, что накрыто, теперь мне самому предстояло открывать. Я взял простыню за углы и осторожно стал отворачивать, открыв сначала лицо, всегда страшное лицо мертвого, только теперь это был папа. Это был он, но непохожий на себя — в застывшей последней смертельной гримасе. Я продолжал открывать, обнажая грудь и живот, все ожидая увидеть какую-то страшную рану — окровавленные тряпки запомнились мне, — но не увидел. Дальше открывать я не стал. Я снова посмотрел на папино лицо. Оно было как-то очень напряжено, и это впечатление напряжения усиливала мощная, поднявшаяся, будто замершая на вдохе грудь, и мощные, вытянутые вдоль тела, будто с силой вжатые в туловище руки, и неестественно запрокинутая голова с запавшим подбородком, отчего губа казалась прикушенной... “Папа, — тихонько позвал я. — Папа...” — как давно уже не называл его: про себя “отец”, а в обращении коротко — “па...” Я заметил, что и шея, и плечи у него — в синих пятнах, особенно с левой стороны. Я приложил ладонь к его груди, где сердце. Тело было еще теплое, и я ощутил, как пульсирует кровь. Нет, я ни на секунду не поверил, что он жив, слишком мертвое было лицо, но что-то нелепое, дикое, смятенное: “Как так, тело живое, а лицо мертвое?!” — все-таки мелькнуло.

Ну, а следом я понял слишком обычную вещь — что это пульсирует кровь в моих пальцах.

Тут я услышал, как набегают по коридору, топот близился, но я успел поцеловать и закрыть папу, прежде чем вошли. Они не вошли, а влетели — две молоденькие и одна пожилая — и застыли у двери, таращась на меня с жадным и простодушно откровенным интересом.

— Вы заведующая? — спросил я старшую, хотя мог бы и не спрашивать.

— Нет, сестра.

— Тогда что надо?

— Я тут работаю, — ответила она с достоинством.

— Выйдите, — велел я.

Они исчезли, но тут же вошла другая, это и была заведующая. Быстро и внимательно глянув, она пригласила меня в свой кабинет и стала рассказывать со множеством специальных терминов, из которых я запомнил: острая сердечно-сосудистая недостаточность и атеросклероз коронарных сосудов.

— Он говорил что-нибудь? — спросил я.

— Жаловался на боли в груди...

— А еще?

— А так ничего не говорил. Потерял сознание...

Заведующая еще раз повторила уже сказанное по телефону — что тело нам отдадут в понедельник, после вскрытия. В морг надо приехать до четырех.

Я сказал, что хочу еще раз посмотреть, но чтобы никто не входил.

— И мне не входить?

— Да.

— Знаете, по-разному ведь бывает, — как бы извиняясь, сказала она. — Обмороки, слезы...

...Снова я открыл и снова увидел страшное, непохожее, напряженное папино лицо, и, сколько ни вглядывался, ничего больше не мог прочесть, кроме вот этого последнего, предсмертного мучительного усилия. Я еще раз поцеловал папу и ушел.

Шофер спал, но тут же проснулся, как только я подошел к машине. “Извините, что причиняем вам столько беспокойства”, — сказал я. Действительно, мотался ведь человек с самого утра. Но он не ответил, не возразил, как я ожидал, “ничего” или “что вы”, и я подумал, что и мне извиняться в общем-то не следовало. Я сел теперь сзади и мы поехали. И вот тут меня охватила дикая слабость. Перед рассветом похолодало, туман сошел, и шофер всю гнал по пустынной ночной дороге. На поворотах меня кидало из стороны в сторону, не было даже сил, чтобы ухватиться за что-нибудь. У меня перед глазами все был отец — как он лежит там, в узкой палате с пустыми кроватями, с мертвым, без абажура светом. И вдруг я вспомнил, что когда проходил по коридору, там, несмотря на поздний час, сидели на подоконнике и бродили какие-то старички в больничных пижамах. Теперь я догадался, что это были больные из той палаты, дожидавшиеся, пока папу перенесут в морг.

### *13 июня*

В понедельник после обеда приехала наконец машина с папиной службы — небольшой газик с гробом. Гроб не помещался в кузове целиком, торчащий снаружи его конец был обмотан материей. Еще в машине сидели трое мужчин — тоже с папиной службы. По дороге я думал, успеем ли до четырех, а еще думал, отдадут ли мне папу без моих документов — у меня с собой был только его паспорт. К четырем мы опоздали: сначала долго ждали перед шлагбаумом на Звенигородском шоссе, потом искали старый корпус больницы — его называли чеховским, потому что когда-то здесь работал Чехов. Но мы все равно успели, морг еще был открыт. Он находился в глубине двора. Там стоял крытый грузовик, тоже с гробом, и толпились люди. У входа, прислонясь к дверям, курила старая, очень худая женщина с веселыми глазами. Я направился было внутрь, спросив мимоходом, где врач. “Никого нет. Вам ко мне”, — сказала она. “Да, да. Вот они — наши хозяйшкы”, — подтвердил мужчина из ожидавших возле грузовика. “Приготовьте гроб, но не вносите, пока не скажу”, — велела женщина. Спутники мои принялись разматывать материю, а я, захватив узел с папиной одеждой, пошел за женщи-

ной. Там было помещение с мокрым цементным полом, со стоками для воды, с сосудами на полках, как в какой-нибудь лаборатории, и двумя столами из мраморной крошки. На одном столе лежал уже одетый молодой человек с недовольным выражением лица. Возле него хлопотала другая “хозяйюшка” — плотная, приземистая деваха с большой грудью, очень бойкая.

— Что, Клав, завтра отдыхаешь? — спрашивал ее какой-то мужик.

— Какой отдыхаешь, вон полну кладовку накидали, — отвечала она.

А на другом столе опять было накрыто белым, и моя “хозяйюшка” — не так, как я, но свободно и разом сдернула это и спросила: “Ну? Похож?” Я не понял ее сначала, я подумал, что она хочет, чтоб я подтвердил, что это отец, что она не перепутала, и сказал: “Да, это он...” Теперь папа лежал не так строго, как на больничной койке, а вольно раскинувшись на широком столе и подбородком упершись в грудь, потому что под голову ему было сунуто комком красное грязное одеяло. И меня снова поразило, какой он мощный, складный и подобранный, без намека на полноту, столь обычную у мужчин его возраста. Я думал, кого он мне напоминает, где я уже видел такую же позу, и вспомнил: на каком-то древнем барельефе, изображавшем борьбу богов и титанов. Поза была найдена точно: титан лежал поверженный, но упираясь подбородком в грудь, и этот крутой и упрямый наклон головы все равно выражал сопротивление... Еще я заметил на руках у папы кровавые ранки — видимо, следы уколов — а вдоль всего живота и груди шел теперь грубо перевитый шов...

— Сразу откроете окна, двери, видите, у нас все открыто, и никакого одеколona и духов, — объясняла другая “хозяйюшка” тем, кто приехал за молодым человеком.

К мраморному столу приставили скамейку, на нее гроб и перевалили туда насупленного, чем-то недовольного покойника. Стали выносить, и шедшая следом плачущая женщина обернулась и спросила:

— Сбережем ли мы его?..

Папу меж тем тоже одевали: белье, носки, сорочка, брюки... Мне показалось, что он небрит, я присмотрелся, это было не так, но почему-то я еще сказал:

— А мне показалось, он небрит.

— Как же! — возразила “хозяйюшка” и потрепала папу по щеке. — Как солдат!.. Лицо-то белое-белое, а был весь синий, — прибавила она, не без гордости за свое умение, и я теперь понял, что она имела в виду, спросив, похож ли, — это значило, похож ли на живого.

Действительно, папино лицо не выглядело сейчас таким мертвым, как два дня назад. Правда, и покоя в нем еще не было, оставалось оно суровым и сосредоточенным, но то мучительное, пугающее, предсмертное напряжение сошло... Женщина как-то по-особенному ловко вывернула пиджак, что он вроде бы сам наделся.

— Окна, двери настежь, не слушай, что старухи будут говорить. Цветы живые убрать. Они их боятся, живых цветов-то, — сказала она, кивнув на папу. — ...Вот, кладу формалин, он пятен не дает. И дома: посмотрите и закройте. И на ночь закройте...

— Да, надо мне на Лешку формалин положить, — вспомнила молодая и зашла в “кладовку”.

Я невольно заглянул. Мне бросился в глаза распростертый на полу обнаженный мужчина лет тридцати, а на нем, поперек его груди, совсем маленький мальчик, тоже голый, с раскинутыми в стороны ручками. “Вот, значит, как они тут лежат... И отец, значит, лежал так...”

— Мать-дурица! Увидала на станции: через дорогу в ларьке чего-то дают. Лешенька, говорит, сыночек, постой здесь, я сейчас... — Клава наложила на почерневшее лицо мальчика тряпку с формалином. — Лешенька постоял-постоял и потопал за мамкой. А тут электричка!.. Мать теперь в беспамятстве валяется... А я бы их самих давила, таких матерей-дур, — сказала Клава, без особой, впрочем, злости, привычно.

— Ну, тетя Груш, помочь тебе?! — крикнула она, закрывая кладовку. — Да пойдем, пока нас тут покойники не съели!..

Но тетя Груша уже заканчивала, завязывала шнурки на папиных ботинках. Я позвал своих спутников, мы уложили папу в гроб, вынесли и поставили гроб в машину. Они принялись опять заматы-

вать торец, я вернулся за необходимыми бумагами и спросил “хозяйшку”, сколько должен.

— За заморозку пять, за одевание — сколько сможете...

Я дал ей десять рублей — за то, что она заморозила и одела папу.

По дороге останавливались в каком-то поселке — папины сослуживцы захотели пить и пошли искать бочку с квасом. Правда, жара была под тридцать. Я тоже хотел пить, но не позволил себе отойти. Пока стояли, к машине подошел какой-то мужчина. Смотрел, смотрел, потом, взглядываясь в меня близко сведенными глазами, спросил:

— У вас кто умер?

— А вам на что?

— Интересно, — сказал он.

Он был не одинок, меня и потом удивлял этот непонятный жгучий интерес посторонних людей к чужой смерти. Вот и после, на кладбище: только поставили гроб возле могилы, как какая-то старуха — откуда она взялась? — кинулась, отталкивая меня и маму, заглядывая папе в лицо: “Сколько лет? Сколько лет?!”...

Когда мы подъехали к дому, я попросил спутников подождать, поднялся к нам, открыл дверь своим ключом, остановился тихо на пороге. Что-то меня томило, мне не хотелось входить. Если бы дома были только мама и сестра... Но в квартиру уже набилось полно народу: и ближних родственников, и дальних, и друзей, и знакомых, и соседей — и стол был приготовлен для гроба, и окна в этой комнате были, конечно, наглухо закрыты и завешены. Я все стоял, не двигаясь, на пороге, но вот меня заметили, и я увидел, как на всех лицах, обратившихся ко мне, сквозь горе, скорбь, сочувствие, приличную печаль, невольно проступило уже знакомое мне выражение боязливого интереса...»

## 2

Кроме дома в деревне, был еще дом в Москве. Добротный, из красного нештукатуренного кирпича, пятиэтажный, с высокими потолками, с большими трехстворчатыми окнами — такие окна назывались, кажется, «итальянскими». О толщине его стен можно было судить по глубокой, поместительной нише, устроенной под окном

нашей кухни — зимой в этой нише держали продукты... Дом стоял в соседстве многих других, точно таких же. Все эти дома выстроили в тридцатые годы, тут же назвали «Новыми», и название это держалось долго, наверное, лет сорок. Так и трамвайная остановка объявлялась: «Новые дома». Не так давно я был там, остановку наконец переименовали, однако я уверен, что для старожилов, оставшихся в тех домах, они до сих пор — «Новые»... Наши дома не походили на позднейшие унылые новостройки, не выстраивались ни в затылок друг другу, ни в безликие шеренги. Изогнутые в форме буквы «Г» или напоминающие квадратные скобки из наших школьных уравнений, они располагались так, что между ними образовывались уютные замкнутые дворики. Д в о р ы... И наша, и все близлежащие улицы были тихие, летом очень зеленые и назывались, как одна — Звенигородские, различались лишь номерами: 1-я, 2-я, 3-я... Улица, на которой жили мы, 6-я, завершала этот счет. А неподалеку проходило еще Звенигородское шоссе... И улицы, и шоссе я помню сплошь булыжными и помню, как перекапывали их траншеями, когда к нашим домам подводили газ, потом их заасфальтировали, по обочинам устроили широкие газоны, насадили тополя. Тополя эти никогда не обрезали, не превращали в кургузые метелки на толстых коротких стволах, пускали расти свободно, и сейчас они стоят вровень с домами... Совсем в раннем детстве смутно еще помнятся в окрестностях несколько больших пустырей, позже на них разбили скверы... С одной стороны у нас помещался завод «Пролетарский труд», с другой — лакокрасочный заводик, с третьей — фабрика «Трехгорная мануфактура». Несколько поодаль имелся еще сахарный завод. Вот внутри этого четырехугольника и находились наши замечательные дома. Пруды рядом с сахарным заводом звались «сахарными». Кажется мне теперь или действительно считал я в детстве, что вода в них сладкая? Не помню, не могу утверждать. Но на территории того же завода брал начало ручей, он тоже назывался «сахарным», протекал через отдаленный угол нашего районного парка культуры, впадал в «Москвареку», не замерзал всю зиму, чернел среди снега, парил, и теплый этот пар в самом деле отдавал чем-то приторным... И все это: заводы, парк с «Москваре-

кой», Ваганьковское кладбище и рынок, трамваи «Аннушка» и «22», «трамвайный круг» на Тестовке, где они делали разворот, «Застава», Большая и Малая Грузинские, Зоопарк, кинотеатр «Баррикады» — все это составляло то, что называлось Красной Пресней. С центром, разумеется, в наших «Новых домах», которые — а вовсе не всю Москву — полагаю я своей родиной.

...«Но время — ведь тоже родина!» — воскликнул недавно один наш писатель, обрадовавшись своей догадке, как озарению, и как бы забыв, что давно существует такое, например, расхожее выражение: «сын своего времени». А физики уже несколько десятилетий исследуют два понятия, как одно: пространство-время... Мне кажется, что я с самого начала, когда пробудилась даже не мысль, а только способность чувствовать, инстинктивно не разъединял эти понятия. Однажды на улице — я был еще маленький — мама указала мне на незнакомого мальчика и сказала, что я родился с ним в один день. «Его зовут Юра. Мы с его мамой лежали рядом, в одной палате». Не помню, как я отнесся к слову «родился» и вряд ли заинтересовался конкретно, что это значит, потому что сразу уловил общий и главный смысл: мы с этим мальчиком начали быть в один день, рядом. Я так и не познакомился с ним, ни тогда, ни впоследствии, он жил на соседней улице, у него был свой двор. Но я запомнил его, и, встречая, всегда внимательно рассматривал, и чувствовал между нами какую-то связь. Почти родство. Нас ведь было только двое, мне и в голову не приходило, что еще какие-то мальчики — а девочки тогда вообще не подразумевались — могли родиться в этот же день и тем более рядом. Я старался уловить, не смотрит ли и он на меня, — как знать, представлялось мне, может, и его мама однажды показала ему: вот с этим мальчиком ты родился в один день... Наше совпадение во времени и месте вызывало во мне какое-то тайное умиление и, видимо, представлялось значительным — ведь не смотрел же я с таким чувством на других мальчиков, которые наверняка родились в другие дни и в других местах... Но вот что интересно: я хорошо помню, что через некоторое время — на каком году это произошло? — мое умиление сменилось ревностью. Мне вдруг захотелось одному родиться в свой день. И я по-

нимал уже, что ни дня, ни места рождения я у того мальчика отнять не могу, но бессознательно нашел гениальный выход, Теперь при встречах я разглядывал его еще внимательнее, но с отчуждением, я отмечал в нем несходство с собою, мне было нужно, чтобы он был другим. И тогда я действительно стану — единственным... Да, сколько же лет мне тогда было?.. А еще повзрослев, я забыл, конечно, и свое умиление, и ревность, и ощущение всякой связи, хотя и продолжал узнавать Юру, но, сталкиваясь с ним где-нибудь на улице, тоже повзрослевшим, взирал на него совершенно равнодушно. Да он и в самом деле был совсем другой подросток.

А затем, в юности, мне и самому, как это обычно бывает в таком возрасте, захотелось быть «другим». Стремление это несравнимо было с мечтаниями детскими, когда переносишься в иные времена, воображаешь себя то предводителем пиратов, то атаманом шайки разбойников, то мушкетером. Отлично, кстати, помню, что я не желал походить на кого-то одного из героев Дюма, но мне хотелось быть сразу четырьмя, соединять в себе ловкость и предприимчивость д'Артаньяна, благородство и загадочность Атоса, красоту и изящество Арамиса, мощь и удасть Портоса. Хотя, если бы предложили все-таки выбрать, я остановился бы в конце концов, наверное, на Атосе. У него была роковая тайна, определившая всю его жизнь, он страдал, он был несчастен — это со временем стало привлекать меня больше, чем нерассуждающая храбрость. И, конечно, мы с кем-то сражались, кого-то побеждали, спасали. И конечно, я то и дело бывал ранен, каждый раз, конечно, смертельно, товарищи уносили меня, истекающего кровью, в укромную пещеру, увозили на необитаемый остров, прятали в неприступном замке. Я почти умирал, а то и совсем умирал, чтобы посмотреть на неподдельное горе друзей. Но тут же, разумеется, воскресал... Однако, предаваясь всем этим бедным мечтаниям — и предаваясь не без увлечения, — я всегда тем не менее чувствовал, что все это несерьезно, это «понарошке»... А вот в юности мне очень серьезно и не переносаясь ни в какие другие времена, именно «здесь-теперь» захотелось быть другим. Противоположным себе во всем. Я был здоров и силен — мне хотелось стать хрупким и слабым, я был

сосредоточен и погружен в себя — мне хотелось обратиться к жизни внешней, я любил книги и уединенные размышления, а хотел полюбить футбол и джаз, я выглядел в своих глазах до уныния «правильным», помнил все свои обязанности и исполнял их, но очень хотел бы обрести забывчивость и беспечность, мне казалось, что я мыслю и ощущаю грубо и тяжеловесно, а я мечтал стать чувствительным и тонким, при всем при этом я был до ужаса влюбчив — но это не противоречило всему складу, не свидетельствовало о легкомыслии, потому что относился я к своим влюбленностям весьма серьезно, — так вот, мне хотелось, чтоб «женщины» играли в моей жизни как можно меньшую роль... В общем, мне вдруг понадобилось стать «полегче». Наверное, я уже устал тогда от изнуряющей юношеской рефлексии. Но переменить себя полностью пока не удавалось — удавалось, может, на какой-нибудь день, а на другое утро я снова с разочарованием узнавал себя прежнего — и тогда я понял неотвратимое назначение «места». Меня начало тяготить сознание, что я родился и вырос на Пресне, среди прозы проходных дворов, грубых деревянных заборов, улиц с овощными ларьками и бочками с квасом, очередей с авоськами, в соседстве с прачечной, рынком, кладбищем, гремящим трамваем, фабричным клубом, сквером с гипсовыми фигурами. Меня угнетало, что все это наложило на меня «неизгладимый отпечаток» и я никогда теперь не смогу перемениться. Вот если бы я вырос в каком-нибудь старинном доме по ту сторону Садового кольца, где не подворотни, но арки, где бульвары, ажурные чугунные ограды, памятники, театры, рестораны, ярко освещенные по вечерам улицы, шелестящие троллейбусы — вот тогда бы, казалось мне, я, несомненно, был бы «другим»...

Но теперь, по прошествии многих лет, когда я давно уже не вижу никакой нужды переделывать себя и не хочу, да и поздно, если бы и захотел, я даже горжусь «неизгладимым отпечатком». Точнее, печатью, произведшей этот отпечаток. Я рад, что родился именно там, на Пресне, и именно там, в Новых домах. Я усматриваю теперь, когда в Москве все рушится и пересоздается — и центр не устоял, и Арбат исковеркан, и даже Пресню задело: одна сторона улицы Красная Пресня снесена напрочь и застроена очень современными домами,

которые торчат там, как выставленные на прилавок большие кубы сливочного масла... — я усматриваю благоволение судьбы и ко мне в том, что наши Новые дома остались в своей первозданности и непоколебимой тишине. И будут стоять так, наверное, долго. Чувствуется в этом своя крепость, надежность. Туда, действительно, в полном смысле можно возвращаться, обретая не только то место, но и с его помощью — хоть на миг, хоть в воображении — иллюзию того времени. Что я и делаю иногда... Вот только Звенигородские наши переименовали, назвали в честь Героев Советского Союза, погибших в войну, об этом говорится в табличках, прикрепленных к домам. Лишь одна сохранилась — 3-я Звенигородская, и хотя единственная она теперь, номер почему-то по-прежнему при ней.

### 3

Писатель, провозгласивший, что время тоже родина, не додумал... Нет, я понимаю, что и задача у него была иная, гражданственная: обращался он прежде всего к сегодняшнему интеллигенту, подрастерявшемуся, подзапутавшемуся в истории, занявшемуся игрой в перестановку времен, и, напомнив нашему интеллигенту, что время, как и родину, не выбирают, писатель призвал его осознать, что другого времени у него все равно не будет, будет только это, данное, и посему надо оставить игры с историей, оставить бесплодные домыслы типа «как обернулось бы теперь, если бы тогда...» и честно поработать для своего времени, как для отечества... Но у идеи времени-родины есть и еще ответвление, и если совсем немного продолжить, приходишь тоже к простой мысли. Как не безгранична родина в пространстве, так ограничена она и во времени. Совсем не дожидаясь конца отпущенных нам лет, наступает момент, когда родное нам время обрывается, иссякает, мы начинаем чувствовать себя словно в чужом, незнакомом времени и, даже оставаясь в родных местах, живем, по отношению к своему детству, как на чужбине... В своей книге «Другие берега» Владимир Набоков растолковывал читателю, «беспечному иностранцу»: «Моя тоска по родине лишь своеобразная гипертрофия тоски по утраченному детству».

Тоска по родине и тоска по утраченному детству у него совпадали, дополняли друг друга, усиливали и, объединяясь, порождали гипертрофированную тоску — ностальгию. Но оставайся Набоков в России, он с той же неизбежностью ощутил бы в назначенный миг, что детство у него все равно отнято — не чуждедальней стороной, но временем. Разве что не было бы тогда ностальгии, а была бы, как принято именовать у нас в подобных случаях, «светлая грусть». Да еще слишком обычное недоумение. Как сказала моя мама, вспоминая незадолго до смерти свой когда-то наполненный, веселый, дружный, работающий родительский дом, со множеством ее братьев и сестер, теперь уже покойных: «Ну, почему нельзя сделать так, чтобы снова все были?!»... Так что в определенном смысле — как писателю, как автору «Других берегов» — Набокову повезло: ничто не подвигает так человеческое сердце к обновленной любви и к самому проникновенному воспоминанию, как «гипертрофия тоски». Ведь и Бунин свою «Жизнь Арсеньева», свой «горький и сладкий сон прошлого» писал не в Орле. Зато какие удивительные слова! Недаром сказано в одной восточной книге: «Только слугам, убирающим стол и скатерть знания, известно, сколько надо выстрадать душе, чтобы придать словам соразмерность и смысл...»

Что ж до меня, то, увы, не испытываю я никакой ностальгии по ушедшему детству, ни даже «светлой грусти». И стремления «одушевить его в слове» вовсе у меня нет. Почему же я принялся за свои воспоминания? Вот я и думаю — почему?

#### 4

Во-первых, я почти ничего не помню из своего детства. Так, нечто случайное, никак меж собой не связанное, не прикрепленное ко времени и без всякого намека, по которому теперь можно было бы что-то разгадать. Правда, есть воспоминания, несомненно относящиеся к войне или к другим знаменательным событиям, поэтому сейчас, задним числом, можно установить, когда это происходило и сколько мне было лет. Но что это за воспоминания?.. Мама спешно одевает меня, маленького, и сносит с нашего четвертого этажа

вниз, в подвал рядом с соседним подъездом. (Подвал этот, бывшее бомбоубежище, до сих пор сохранился: лестница, уводящая под скошенную железную крышу, а в глубине небольшая, тоже обитая железом, всегда запертая дверь. В детстве с той крыши хорошо было кататься — как с горки...) На улице очень темно. В подвале собралось много народу. Тусклый свет. Все негромко разговаривают, и этот говор в разных углах постепенно сливается для меня в неясный убаюкивающий шум, и я задремываю на руках у мамы... Это налёт, значит, начало войны, мне, значит, два года. И это, наверное, вообще самое первое, младенческое, запомнившееся мне ощущение себя. Нет, еще одно: мы с мамой перешагиваем через множество железнодорожных путей и подходим к красному деревянному вагону. В верхнем углу вагона, страшно высоко, маленькое, незастекленное, но зарешеченное окошечко, в котором я различаю бледное пятно лица, грустно улыбающегося нам. Это дядя Ваня, мамин брат. Его увозят на фронт. (Больше мы его никогда не видели, он пропал без вести...) На этом надолго обрываются воспоминания о детстве в городе, потому что вскоре меня увезли в подмосковную деревню, где родилась и выросла мама. Сколько я там жил тогда — не помню. Война нашу деревню почти не задела. Был какой-то единственный день, когда проскочили на мотоциклах немцы — случайный, видимо, отряд, — и почти сразу, следом за ними, пришли красноармейцы. Немцы заходили в наш дом, и я, хотя никто не подсказал мне, что надо спрятаться, залез от них под кровать. А когда зашли наши солдаты, не испугался и под кровать не полез. Ничего этого я тоже не помню, а знаю потому, что впоследствии бабушка с дедушкой неоднократно пересказывали мне эту историю, заключая всякий раз одобрительно, что, значит, уже тогда я был «смышлёный». Смышлёный... Но какая такая работа мысли происходила во мне заползающем под кровать и выползающем из-под кровати?.. Затем еще одно, опять мое собственное воспоминание: отец и я на крыше нашего московского дома. Чердачная дверь в нашем подъезде заперта, мы спешим в соседний, поднимаемся по лестнице — там, к счастью, открыта. И все это быстро, бегом, потому что вот-вот должен начаться салют. Никогда после не смотрели мы салют с

крыши, но тот был самый главный, салют в честь Победы, и, наверное, отцу хотелось, чтоб я разглядел и запомнил его получше. Мне же запомнились запах и темнота пустынного чердака, где то и дело приходилось переступать через какие-то балки, и слабо брезжащее вдали слуховое окошко, сквозь которое мы наконец вылезли наружу, и просторная, слегка покатая крыша с загородочкой из железных прутьев по краям. Отец ушел за какую-то трубу, откуда было лучше видно, звал меня, а я все не решался оторваться от надежного выступа слухового окошка, потом все-таки двинулся осторожно, согнувшись, цепляясь руками за гребень крыши и боясь, что вот сейчас оступлюсь и покачусь к ее краю и никакая загородочка не удержит меня... (Странно: долгое время потом и даже во взрослом состоянии меня преследовал сон о чердаке. О чердаке именно нашего дома. Очень мне зачем-то надо на этот чердак, а лестница туда — из добротной, каменной, забранной толстыми перилами — превращается вдруг в узенькую, шаткую, деревянную, лепящуюся вдоль стены и без всяких перил. Я тем не менее карабкаюсь, а когда долезаю до середины, вижу, что впереди и ступенек нет, провал, одни голые балки. И понимаю, что и вниз не смогу спуститься... Что это — боязнь высоты? Но уезжая на лето в деревню — ведь залезал я в те же детские годы свободно и без страха на березу в нашем палисаднике, на высокие ветлы возле речки, на огромный дуб у лесной опушки...) А самого салюта не могу вспомнить. Но — конец войне, Победа, 45-й год, мне, следовательно, шесть лет... Зато помню хорошо другие салюты. Я был уже побольше и бегал в такие вечера с мальчишками в наш парк. Там, над рекой, на обрыве, устанавливалась батарея. Нестрогие военные не прогоняли нас, околачивающихся возле пушек, только советовали открывать рот во время залпа, чтоб не оглохнуть. И так, с раскрытыми ртами, мы задирали головы и следили, как струящимися дымками истаивают высоко в небе разноцветные огни, а затем в темном вечернем воздухе вокруг нас начинали сеяться красные тлеющие кружочки пыжей. Конечно же, мы ловили их...

Была еще трофейная выставка. Ее устроили в Центральном парке культуры, отец водил меня. Там, на набережной и на пустыре,

сразу налево от главного входа, вразброс стояла немецкая военная техника: пушки, минометы, самолеты и танки с крестами. По всему этому дозволялось лазить, забираться внутрь. Я облюбовал небольшой броневичок, уселся в нем. Над моей головой оказалась ручка, изогнутая совсем как у нашей мясорубки, с такой же деревянной рукояткой. С ее помощью поворачивалась башня. Я поворачивал башню, однако без особого энтузиазма — несерьезность, «невзаправдошность» механизма разочаровала меня... Вот, пожалуй, и всё из «военных» воспоминаний. Что же еще? Еще запомнился праздник 800-летия Москвы. Накануне или в этот день я зачем-то позвонил отцу на работу, не узнал его, взявшего трубку, и очень вежливо попросил: «Будьте добры Александра Ивановича». Вечером отец рассказал об этом маме, похвалил меня, и вот в поощрение моей благовоспитанности и заодно в честь праздника мне были выданы одиннадцать желтых новеньких рублей. Кажется, изображался на них тогда шахтер в каске и с отбойным молотком на плече... Гулянье в нашем районе происходило неподалеку, на пустыре, где сейчас большой сквер. Там к этому дню настроили балаганов, торговых палаток, ларьков. В нашей квартире были еще двое мальчиков, постарше меня, Валюшка и Левка, — всем нам в этот вечер разрешили погулять подольше. Приятелям моим тоже дали какие-то деньги. Мы долго кружили возле прилавков, выбирая, как бы получше, повернее истратить наши богатства, и оттягивая, продлевая этот момент, и наконец купили по ружью. Ружья выстреливали деревянными палочками с резиновыми наконечниками. К каждому ружью прилагалось по две таких палочки. Все освещенное пространство было заполнено народом, мы, чтобы пострелять, ушли в сторонку и там, в темноте, все свои палочки быстро потеряли. Это 47-й год — мне восемь лет... Примерно в том же возрасте я впервые попал на парад. Мы с отцом ходили только на демонстрации, а сосед Илья Самойлович, отец Левки, — он был журналист — получал в эти дни гостевой пропуск на Красную площадь. По такому пропуску можно было провести с собой «одного ребенка до десяти лет». Наступил год, когда Левке уже исполнилось десять, а мне еще нет, и Илья Самойлович взял меня. Мы стояли на огороженном тротуаре, на про-

тивоположной Мавзолею стороне Красной площади. Мне ничего не было видно — прямо перед нами высились спины построившихся солдат. Отец, разумеется, посадил бы меня на плечи, как всегда это делал, когда проходили мы в колонне по площади, а Илья Самойлович не догадывался или не хотел, и попросить его об этом, конечно же, я не мог. Зато я увидел, как офицер неподалеку от нас, в ответ на приветствие командующего парадом, выхватил шашку и сделал это так неловко, что поранил стоявшего рядом солдата. Солдат, пригнувшись и зажимая шею рукой, бросился мимо нас внутрь здания, где теперь ГУМ. И по руке солдата, и по шее быстро растекалась кровь. Вскоре его товарищи и тот офицер развернулись и ушли, печатая шаг под бодрые звуки оркестра, и мне стали видны и Мавзолей с досадно далекими и маленькими фигурками на нем, и площадь, и уж наверное ехали по ней и танки, и пушки, и «катюши», но я не могу утверждать, что помню именно тот парад. Скорее всего, он смешался, он растворился потом во многих других парадах. Но вот пораненного солдата запомнил хорошо. Меня поразила даже не кровь, а как он бежал — пригнувшись. И точно помню, что уже понимал тогда, что согнулся он для того, чтобы его не было видно от туда, сверху, с Мавзолея, который я, приподнимаясь на носках и вытягиваясь, все силился разглядеть из-за сплошной стены солдат...

Не бог весть, конечно, какие значительные воспоминания, а что касается «поэзии детства», все они не стоят, к примеру, единственного красного закатного блика на темной бревенчатой стене нашей избы, неведомо почему и зачем до сих пор освещающего мне из моего деревенского младенчества. Но я привожу их, первые пришедшие на ум, и записываю, скорее, для себя, чтобы хоть как-то начать, чтобы пробудить и расшевелить память. Ибо я не понимаю да и не очень верю, когда говорят «невольно вспомнил» и далее идет длинный и связный рассказ. «Невольно» вспомнить можно мгновение, а развернутое воспоминание требует усилия, это работа.

## 5

Впрочем, может быть, мои усилия — от нелюбви? А когда любишь что-то в прошлом, то и вспоминаешь об этом без напряжения, свободно? Ведь та же ностальгия — я уже сказал — предполагает соединение обостренной любви и обостренной памяти, и что в данном случае первичнее, изначальнее, любовь или память — праздный вопрос. Тут они, как сообщающиеся сосуды: из памяти переливается в любовь, из любви в память. Полон один сосуд, полон и другой... Как прекрасно, например, вспоминалось детство в деревне! Я любил и люблю там все: бабушку, дедушку, наш дом на бугре, соседских ребят, лес, речку, зеленый луг возле речки и каждую ветлу на нем... — словом, весь окружавший меня мир и себя заодно, потому что я был неотделим от того мира, я в нем растворялся. К миру городского детства — параллельному, кстати, бывшему в те же годы — я отношусь более сдержанно. (И это — во-вторых.) Не то что не люблю, но... испытываю теперь, по прошествии лет, некоторые, как говорится, «теплые чувства». И что мне кажется существенным: себя и этот другой мир я всегда, сколько помню, воспринимал раздельно. Но это не означает, что к тогдашнему себе я отношусь лучше, чем к миру. Может быть, еще сдержанней. Когда там любить, в самом деле? Вот этот белый сверток на руках у мамы, над которым она склоняется с такой трогательностью? Мама сидит на какой-то городской скамейке, сзади просвечивает сквер. Рядом отец, и тоже смотрит на меня — юношески худой, взлохмаченный, счастливый... Или вот этого упитанного младенца в ползунках, сидящего в позе плюшевого медвежонка? Ручки растопырены, на голове единственный и лихой завиток первых волос, беззубый рот радостно ощеряется, и глазки, тоже как у медвежонка, круглые, пуговичные, таращатся с бессмысленной веселостью... А вот в этом, простодушно и доверчиво взирающем, что-то есть. В руке большой молоток — откуда молоток? зачем? — палец указывает в раскрытый рот. Это, я знаю, после рассказали: попросили «показать зубки», улыбнуться то есть, вот и показал. Но сам я его не помню, как не помню и вот этого: с аккуратной челкой на лбу, из-под тубетейки,

благонравно восседающего на трехколесном велосипеде... Школа, четвертый класс, нас всех фотографируют, вызывая поочередно и усаживая за первую парту. Стриженный наголо мальчик в белой рубашке с галстуком, пионер, руки примерно сложены на крышке парты, и так же примерно глядит в объектив. Вот этого мальчика помню немного, но в общем-то не представляю себе, что там, за гладким бездумным лбом, и какое-то уныние охватывает меня при виде этой исполненной прилежания позы... Да, я и сейчас без всякого умиления смотрю на свои детские фотографии, они для меня лишь как немногие уцелевшие документы, свидетельства давнего времени, в котором мне интересно было бы разобраться. Но интерес этот скорее исследовательский и, повторяю, никак не связан с любовью.

И что там любить?.. Научился выговаривать «р», вдруг в какой-то момент сам заметил, что выговариваю, позвонил отцу и долго демонстрировал: р-р-р... р-р-р... Приснился сон про медведя, медведь какой-то ненастоящий, сильно смахивающий на игрушечного, но все равно большой, сердитый, ворчит, лезет на меня... — тут я проснулся. И говорю, блаженно потягиваясь в своей кровати, — помню и эту голубенькую металлическую кровать с веревочными сетками, которые можно было закреплять на разной высоте, и в каком месте комнаты она тогда стояла, помню и маму, тотчас подошедшую ко мне... — и говорю с облегчением: «Как хорошо, что это был только сон!..» Раз уж о «кроватьке», то вот только что вспомнилось: иногда проснешься — совсем, наверное, еще маленький — и в тот же миг с безнадежностью ощутишь, что простынка под тобой мокрая. И пребываешь в двойной тоске: лежать противно, но и встать не хочется — сразу заметят. Ругать не будут, только укорят, но в этом ли дело — самому ведь неприятно...

Были игрушки. Отец сам сделал для меня кубики, раскрасив их грани в разные цвета. Еще принес с работы черную железную коробку, и эта коробка оказалась универсальной. Могла быть уединенным островом, на котором из тех же кубиков возводился дворец. Могла превратиться в корабль... Расположение кубиков варьировалось, но одно условие оставалось почему-то неизменным:

вся постройка должна была вписаться в коробку. И обязательно всякий раз внутри сооружения оставался укромный потаенный уголок, куда запрятывался какой-нибудь солдатик. Оловянные — и, разумеется, облупившиеся — солдатики тоже были. Немного, и помню их наперечет: шагающий краснофлотец, пехотинец с винтовкой наперевес, скачущий со знаменем всадник и лежащий пулеметчик. Помню также, что мне для охраны моих крепостей не доставало часового — не поставишь же часовым бегущего пехотинца или летящего всадника... А еще имелись разные нехитрые железки, подобранные на улице: шарики, трубочки, шайбочки, болты, гайки... Был даже телефонный аппарат, разобранный до предела, Мною, конечно. Однажды отец принес его и, стоя у порога и раздеваясь, вручил мне: «Держи». Это «держи» я истолковал прямо, в том смысле, что аппарат — персонально для меня, и на другой день занялся им вплотную. В итоге в нем не осталось ни одной детали, над которой можно было бы еще потрудиться, — все было разъято на простейшие элементы. Вскрыл я и те круглые блестящие коробочки из телефонной трубки — в них обнаружился непонятный черный порошок. Этот порошок не понравился мне — пачкался и ни для чего не годился, — я спустил его в уборную. Самым же замечательным оказались чашечки звонка с молоточком между ними, а еще маленькие спаренные катушечки с тончайшей золотистой проволокой, так изумительно ровно намотанной. И проволочку я размотал. Когда же захотел намотать обратно, чтобы снова получилась такая же катушечка, у меня вышел уродливый, бесформенный проволоочный ком... Отец, придя вечером, огорчился. Оказывается, он собирался поставить этот аппарат взамен нашего старого... (И вот оттого, что отец не выбрал меня, никак не наказал, а только огорчился — так его сейчас жаль!..)

Словом, играть мне было во что, я вовсе не сетую здесь, что было у меня мало игрушек, и более того, даже считаю теперь, что отсутствие настоящих, «всамделишных» игрушек очень помогает воображению. Ведь магазинный танк — только танк, и магазинный автомобиль — только автомобиль, ни подо что другое их не приспособишь. Может быть, поэтому теперешние дети так быстро охладе-

вают к купленным для них, готовым игрушкам? А вот железная коробка, я уже говорил, могла обратиться во что угодно, и обыкновенный железный болт, прочно поставленный на свою шестигранную головку, вполне сходил за часового... Помню, я услышал однажды, как мама говорила соседке: «Он у меня спокойный. Сидит, играет себе...» Теперь я знаю, где-то прочел, что детская игра — серьезное дело, что, играя, ребенок как бы «проигрывает» варианты своей будущей, взрослой жизни и приготавливает себя для этой жизни. Да, теоретически-то я это знаю, но вот какая внутренняя работа происходила во мне, пока я «играл себе», — не могу представить. Может быть, именно и только вот эта уединенная работа воображения, которая и сделалась для меня главной работой на всю дальнейшую жизнь?..

Перед сном я складывал все свое хозяйство в ту же бесценную коробку и задвигал под кровать. Никто не приучал меня, не заставлял это делать — я сам не терпел беспорядка. Я не мог заснуть, если мои ботиночки не были составлены рядом, аккуратно, носочек к носочку. Бывало, уже улегшись, я снова приподнимался и еще раз проверял, ровно ли они стоят. И если мне казалось, что все-таки не совсем ровно, я опять вставал, поправлял и тогда уже засыпал... И это мне теперь удивительно, потому что в юности я точил карандаши над ящиком своего письменного стола и стряхивал туда же сигаретный пепел...

Как большинство, наверное, тогдашних детей, я рисовал исключительно войну и салюты. Причем салют изображался всегда канонически, композиция была выверена и заранее известна: по бокам две кремлевские башни, между ними зубчатая стена, над стеной скрещенные лучи прожекторов и снопы разноцветных огней. А вот война каждый раз импровизировалась, рисунок как бы развертывался во времени и походил на действие. (Так ведь, наверное, и древние воспроизводили свои сцены охоты — не как заранее заготовленную в уме картину — но как действие...) Впрочем, импровизация тоже бывала довольно однообразной: по земле навстречу друг другу шли наши и фашистские танки, над ними навстречу друг другу летели наши и фашистские самолеты. Наши танки и самолеты

ты были зеленые с красными звездами, фашистские — черные и с черными крестами. Наши всегда почему-то располагались справа, немцы — слева. Потом открывалась пальба. От оружейного ствола нашего танка я начинал траекторию, обозначавшуюся красными штрихами, и упирал ее точно в башню вражеского танка. К подбитому танку пририсовывал большой огонь и дым. Когда уничтожались все черные танки, наступала очередь самолетов... Однако я уже знал, что на настоящей войне так не бывает, что иногда гибнут и наши. И с каким-то замирием, но ради правды, проводил красные штрихи от единственного уцелевшего черного самолета к зеленому и скрепя сердце тоже подрисовывал к нему — правда, очень небольшое — пламя... «Алетчик все равно спасся!» — вслед за этим решал я, и под горящим самолетом появлялся парашют. И немедленно на земле устанавливалась наша зенитка, красные штрихи устремлялись вверх, и последний немецкий самолет — осмелившийся посягнуть! — тут же достигало возмездие... Рисовал я левой рукой, возможно, мне так было удобнее проводить свои траектории — справа налево. Родители заметили и стали отучать. Тогда я пустился на весьма, казалось мне, тонкую хитрость — брал по карандашу в каждую руку и, когда сидел в комнате один, продолжал рисовать левой, а когда кто-то заходил, в дело соответственно шел другой карандаш...

Мимолетное, очень смутное и тоскливое воспоминание — детский сад. Когда меня туда отдали, когда забрали? Видимо, скоро. Помещался он недалеко, за трамвайной линией, в таком же, как наш, доме, в похожей на нашу квартире. Помню, как на гулянье ставили в пары, велели взяться за руки. В коридоре вдоль стены стояли шкафчики для верхней одежды. На моем было нарисовано яблоко. Очень не хотелось ложиться в кровать после обеда — в самом деле, какой-то «мертвый» оказывался час. Но самая большая мука близилась с наступлением вечера. Все дети поужинали и играют в ожидании, когда за ними придут родители, а я один сижу в столовой над остывшей тарелкой. Из-за стола встать нельзя — то ли это наказание за то, что я не ем, то ли средство принуждения, чтоб ел. Приходит и моя мама. Не помню точно, но кажется мне теперь,

что с ее приходом мое воспитание еще какое-то время длится: мама ждет в коридоре, а я продолжаю страдать над нетронутым ужином. И побеждаю — наконец меня отпускают.

## 6

Довольно рано, еще до школы, я выучился читать. Обучила меня мама — на какое-то время, чтобы сидеть со мной, она оставила свою работу. И поначалу очень неохотно усваивал я все эти буквы, слоги. Существовавшие сами по себе, отдельно — и самостоятельность эта еще подчеркивалась в букваре чрезмерно крупным их начертанием, — они не представляли никакого интереса, ничего внятного не сообщали конкретному детскому уму и никак не подходили на то цельное, живое, захватывающее, что я слышал от мамы, когда она сама читала мне. Я честно недоумевал, зачем мне эти «Аа», «Бб»... И, например, «ма-ма» вовсе не связывалось с «мамой». Совершенно не помню — скорей всего и не заметил, — как начало связываться. Но хорошо помню, что в очередной приезд в деревню потряс деда тем, что как бы мимоходом заглянул в его газету и небрежно прочел: «СМЫЧКА»... Кстати, я долго не понимал, что означает это название районной газетки. Но и не спрашивал. Потому что я знал, что существует «скрипка», а при ней «смычок». И «смычку» я воспринимал как нечто противоположное, обратное «скрипке», как нечто такое, при чем непременно должен, следовательно, быть еще и «скрипок». Как могут выглядеть в реальности эта «смычка» и порожденный ею «скрипок» — таким вопросом я не задавался, мне было довольно самих осуществившихся в своем соединении слов... Да, мама читала мне вслух недолго; как только я постиг, что слившиеся буквы и слоги превращаются во что-то совсем иное, чем разрозненные, во что-то, обретающее стройный порядок и смысл, — с того момента я безоглядно и с радостью предался самостоятельному чтению. Читал я, разумеется, как взрослый, «про себя» — вслух только, когда спрашивали на уроке, — поэтому воспринимал в первую очередь начертания слов, и лишь откуда-то издали, с окраины замороженного чтением сознания доносилось до

меня, как они звучат. (С тех пор облик слова и значение его стали для меня неразделимы. Я и теперь напрягаюсь, когда мне что-то зачитывают. Чтобы скорей и верней понять смысл написанного, мне надо увидеть это, пробежать глазами...)

Что я читал? Точно помню, что самой первой прочитанной самостоятельно книгой была — «Как крокодил наше солнце проглотил». Ее вручила мне женщина в детской библиотеке, куда я записался. Библиотека находилась на Тестовке, за «сахарными прудами». Книжку я прочел на ходу, по дороге домой, не так уж и далеко отойдя от библиотеки. Но возвращаться и просить другую — постеснялся. К внутренней стороне книжной обложки был приклеен бумажный кармашек, а в него вложена карточка, где указывалось, за какой срок (за неделю? две?) я должен был прочесть эту книжку. И мне казалось, что женщина-библиотекарь не поверит, что я прочитал ее так быстро, а если и поверит, то все равно осудит: значит, читал невнимательно, небрежно... Очень скоро после «Крокодила» порядок моего детского чтения смешался. Известная последовательность — «для младшего школьного возраста», «для среднего...» и т.д. — еще соблюдалась, конечно, в тех книгах, которые рекомендовали мне в библиотеке, ну, а помимо библиотеки, я читал все, что подворачивалось. Дома у нас книг было мало. Родители мои совсем недавно приехали в Москву из своих деревень и познакомились здесь же, полюбили друг друга, поженились, получили комнату в коммуналке — в общем, московский наш дом только начал образовываться. Это потом отец увлечется собиранием книг, а в те годы были они случайны. (Да и во всех окрестных семьях, которые я узнал, навещая своих школьных приятелей, было так же: все книги умещались на одной полочке этажерки. Могу вспомнить лишь один дом, где они занимали целый книжный шкаф, и это — книжный шкаф — было невообразимо много...) Все взрослые читали тогда и передавали друг другу «Порт-Артур», «Угрюм-реку», «50 лет в строю», «Сагу о Форсайтах» и «Джен Эйр». Читали и мои родители, читал, следовательно, и я. Не все слова бывали мне понятны, но сам книжный мир, как только я вошел в него, обрел для меня сразу такую убедительную, безоговорочную достоверность, что непонятое, загадочное слово

не вызывало вопроса и сомнения, наоборот, придавало этому миру в моих глазах еще большую истинность и смысл. Мне не приходило в голову спрашивать у взрослых о значении непонятных слов — таинственность книжного мира возвышала его и делала реальнее, вернее жизни, окружавшей меня и хорошо знакомой...

Из первого домашнего чтения помню еще толстую книгу «Boи на Карельском перешейке», в которой были собраны рассказы участников войны с белофиннами. Запомнились истории, как наши снайперы выходили на единоборство с финскими «кукушками», — их называли так потому, что они сидели на деревьях. А особенно нравился мне там рассказ «Непредвиденный случай» — как наш танк провалился под лед невидимого, замеченного снегом озера и танкисты спасались, выныривая по очереди через люк... Каким-то образом оказалась еще в нашем доме книга об искусстве резьбы по кости — со множеством фотографий, и я любил разглядывать фигурки оленей, белых медведей, тюленей, моржей, читал непривычные для уха имена мастеров, создавших эти фигурки: Вуквутагин, Туккай, Хухутан... И необыкновенные имена, и сами скульптурки, матово светящиеся на черном фоне, заставляли воображать страшно далекую жизнь, где-то на Крайнем Севере, и белый цвет фигурок естественно связывался для меня с вечными снегами, а сплошной черный фон — с вечно царящей над теми снегами полярной ночью. Видимо, из-за географической карты полушарий, на которой все пространство, окружающее полушария — Землю, законно воспринималось мной, как небо, Крайний Север представлялся мне местом, где небо почти смыкается с землей, воображался бесконечной мерцающей заснеженной равниной с близко нависающим над ним темным небом... И как-то странно мне до сих пор, что десятка через полтора лет я вдруг очутился за двенадцать тысяч километров от своей Пресни, и именно в том поселке, где жили действительные Вуквутагин, Хухутан и Туккай, и узнал этих и многих других художников, увидел воочию их работы, и сам стал жить среди вечных снегов, полярной ночи, и увидел настоящих оленей, китов и моржей, и убедился, что был прав когда-то насчет соединившихся неба и равнины... Конечно, было бы просто сейчас сказать,

что «значит» уже тогда, в раннем детстве, «отложилось», поразило, а потом «неосознанно повлекло»... Да, проще всего было бы так предположить, но нет — все равно: странно!..

Особенно же я любил тогда две книги, также, по счастью, случившиеся у нас в доме, — «Чингисхан» и «Петр Первый». Сказать, что с их помощью я впервые постигал историю, узнавал о жизни в другие времена, было бы неверно. «Других времен» я вообще не представлял и как «исторические» эти романы не воспринимал, но все, о чем в них повествовалось, сразу, с первых строк стало мне понятно и очень близко — ближе, пожалуй, и узнаваемое, и интересней, чем, например, какие-то нескончаемые приключения Васька Трубачева и его товарищей, хотя и были этот Васек с товарищами всего на несколько лет постарше меня... «Санька соскочила с печи, задом ударила в забухшую дверь... Чада прыгали с ноги на ногу, — все были босы... Артамошка, самый маленький, едва выговорил: — Ничаво, на печке отогреемся...» Деревня, изба, печка — это был хорошо знакомый, мой мир, ведь это и мои деревенские приятели, Валька с Витькой, так же выскакивали босиком на мороз, и так же отогревались потом на печке, и так же рассказывали мы друг другу «про разные страсти». Весело было читать, как бедовый Алексахка Меньшиков торгует пирогами и учит мальчика Петра протаскивать сквозь щеку иголку, и как Петр-царь в одних портках и грязной рубашке везет тачку и стреляет горохом из пушки в помертвевшего от унижения и страха боярина... Все это воспринималось, как сказка, и даже жестокая расправа Петра с помышлявшими против него сторонниками Софьи — они ведь были злые, они ведь первые начали, ну вот по справедливости им и воздалось... И в «Чингисхане» не ощутил я никакой «страшной исторической дали» — без труда вообразил я себя в той жизни и хотел быть благородным Джелаль эд Дином, и отверженным «черным всадником», «неукротимым барсом пустыни», чтобы у меня был такой же высокий рыжий конь с серебряным ошейником и длинный меч — «кончар», и хотел быть смелым Мстиславом Удатным, чтобы за плечами у меня развевалось алое корзно и на голове сверкал золотой шлем... Эти две книги я перечитывал бесконечно, открывал на любой странице и

читал, хотя мог бы, не глядя, продолжать уже наизусть. Но мне, повторяю, нужно было видеть, доставляло удовольствие еще и еще раз увидеть знакомые слова... Я и сейчас помню: «Читатель, салам! Сокол в небе бессилён без крыльев. Человек на земле немощен без коня. Все, что ни случается, имеет свою причину, начало веревки влечет за собой конец ее. Взятый правильно путь через равнину вселенной приводит скитальца к намеченной цели, а ошибка и беспечность завлекут его на солончак гибели...». «Я изучил много наук, много перечел сказаний... Но, кроме сожаления и кроме тяжести грехов, я не вижу другого следа моих юных дней...». «Я дам тебе три черных шарика, и ты их проглотишь. Тогда ты будешь неподвижен, как мертвец, перестанешь чувствовать боль и увидишь сон, будто ты перелетел через горы в долину прохладных потоков и благоухающих роз. Там пасутся белые, как снег, кони и поют золотые птицы. И там ты снова встретишь девушку, которую любил в шестнадцать лет...» Я радовался, что мудрый дервиш Хаджи Рахим будет спасен из своей ужасной клетки, жалел только, что в книге об этом уже не рассказывается...

Однажды у нас собрались гости, и маме захотелось продемонстрировать, как хорошо я читаю. Я взял своего любимого «Петра», открыл наугад и начал: «Борис Алексеевич позвал: — Емеля... За дыбой из-за свода вышел длинный узкоплечий человек в красной рубахе до колен. Шакловитый, должно быть, не ждал его так скоро, — сел на пятки, — голова ушла в плечи, глядел на равнодушное лошадиное лицо Емельяна Свежева, — лба почти что и нет, одни надбровья, большая челюсть. Подошел, как ребенка, поднял Федьку, потряхнув — поставил на ноги. Бережливо и ловко потянул за рукава, сдернул кафтан, отстегнул жемчугом вышитый ворот; белую шелковую рубаху разорвал пальцем до пупа, сдернул, оголил до пояса... Федька хотел было честно крикнуть, — вышло хрипло, невнятно: — Господи, все скажу...» — Я читал громко, отчетливо, «с выражением». — «Бояре на скамьях враз замотали головами, бородами, щеками. Емельян завел назад Федькины руки, связал в запястьях, накинул ременную петлю и потянул за другой конец веревки...» «Хватит, хватит... Хорошо!» — дружно запросили гости,

которых, видимо, смутил этот нарастающий натурализм. Да я и сам уже ощущал, что отрывок для чтения «вслух» не совсем удачен. Но ведь сколько раз перед тем читал я эту страницу «про себя» и без всякого смущения! И, значит, была, есть разница между словами, прочитанными «про себя», и теми же самыми словами, произнесенными «вслух»?.. Но в чем эта таинственная разница, какая такая грань отделяет слово «подуманное» от слова сказанного — остается для меня загадкой до сих пор...

В общем, чтение сразу, с ранних лет сделалось страстью, и на мой собственный теперешний вопрос, что любить в детстве, можно было бы ответить: книги. Прелесть детского чтения... Но дело в том, что чтение я вообще отделяю от детства, я считаю, что это занятие вневозрастное. Хотя бы потому, что чтение и тогда, в детстве, по самой сути процесса, по степени серьезности и углубленности в него уже было взрослым, и хотя бы потому, что оно и теперь в чем-то остается наивным и детским. В чем? Может быть, в той же серьезности и углубленности...

Были, конечно, радости и удовольствия целиком ребяческие. Например, Новый год. Отец обязательно приносил елку и обязательно — до потолка. Наряжали все вместе: отец, мама, я, позже возле елки появилась еще сестра, к которой я отнесся спокойно, без всякой ревности... Каждая извлекаемая из коробки и забытая за год игрушка воспринималась как бы заново, но и с радостью узнавания. Из плотной синей бумаги мы изготавливали самодельные хлопушки, в которые насыпали собранные летом в деревне орехи. Еще мы развешивали на елке удивительные разноцветные лампочки: одна половина лампочки была красной, другая — синей, одна — желтой, другая — зеленой. Отец подключал эту гирлянду к специальному устройству, и лампочки начинали мигать попеременно своими половинками. Мы зажигали колкие и холодные бенгальские огни. Мне дарили большой детский календарь, из которого столько всего можно было вырезать и клеить!.. Да, вот Новый год, в отличие от книг, — это праздник исключительно для детства: никогда после не ощущался так остро, не ударял, не пощипывал так ноздри запах снятого с елки, очищаемого мандарина...

И все-таки общее впечатление тех лет — сумерки. «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений», — пишет Толстой. Обычные, сентиментальные и, как бы мы сейчас сказали, расхожие слова. Бунин гораздо точнее. Он говорит о печали младенчества: «Каждое младенчество печально: скуден тихий мир, в котором грезит жизнью еще не совсем пробудившаяся для жизни, всем и всему еще чуждая, робкая и нежная душа. Золотое, счастливое время? Нет, это время несчастное, болезненно-чувствительное, жалкое...» Чтобы так написать, нужно обладать особой и ранней обостренностью чувств, нужно действительно родиться с ощущением своего полного и мучительного одиночества в этом мире и навсегда запомнить его. Я же не ощущал тогда, в те первоначальные детские годы, ни такой вот заброшенности и отъединенности от всего, ни, как мальчик Николенька, чрезмерных восторгов и умиления, и потребности молиться, плакать и любить с «надеждами на светлое счастье» — чувства мои дремали. Я был недвижим, невозмутим, как маленький лесной бочажок, надежно укрытый под сенью старых деревьев. Порывит случайный ветерок, посеется дождик, слетит палый лист и, напитавшись водой, опустится на дно... — вся жизнь. И посему, вспоминая о том времени, не испытываю я ни печали, ни тем более «лучших наслаждений» — разве что сожаление. Вот, родился мальчик, и сколько еще должно пройти лет, сколько дней, унылых, серых, бог знает чем заполненных, прежде чем он начнет сознавать себя, осмысливать окружающий мир, соотносить себя с этим миром...

## 7

А пока что не только я существовал (если допустить подобное существование — без мысли) отдельно от мира, но и сам мир дробился, распадался на множество не связанных друг с другом, независимых миров.

Во-первых, была наша комната. Одно из самых ранних, навсегда соединившихся с нею впечатлений — запах свежей краски... Осень, мы возвращаемся из деревни в Москву на пикапе. Небольшая такая машинка, вроде легковой, но с открытым, низким, железным кузовом и двумя маленькими, тоже железными скамеечками вдоль бортов. Ехали долго, чуть ли не весь день, дело к ночи, я устал и задремываю на своей скамейке. Мама сидит напротив, а отец в кабине — показывает шоферу дорогу. Но вот сквозь сон до меня доходят запахи — разогревшегося за день асфальта, металла, камня, многих машин, особенный запах пыльной листвы, еще чего-то. Значит, мы въехали наконец в город, и после многих деревенских запахов, с которыми я сроднился за лето, запахи города непривычны и возбуждают. А как завершение — запах свежей масляной краски, едва мы входим в нашу комнату. Это отец, как всегда, сделал ремонт к нашему приезду. Побелил потолок, покрасил полы, батареи, оконные рамы, просторные каменные подоконники. Запах скоро выветривался, но в памяти сохранился прочно. Вообще всякие запахи в детстве действовали чрезвычайно. Примерно лет до двенадцати я не мог ездить в автобусе — не переносил, как пахнет бензин. Кружилась голова, мутило... Так что запахи в те годы были для меня, пожалуй, сутью вещей, сами же вещи — признаком запахов. Вот как автобус был признаком запаха бензина, как наша комната в первые дни по приезду — признаком запаха краски...

Комната была очень большая — теперешняя двухкомнатная квартира. (В юности, вернувшись из Сибири, я привез охотничье ружье, один ствол у которого был малокалиберный, нарезной. И вот из этого ружья я даже стрелял в нашей комнате, укрепив в одном углу самодельную мишень — толстую доску с нарисованными на ней кругами, а сам отойдя в противоположный...) И каждое лето, помимо упомянутого ремонта, отец еще разгораживал по-новому нашу комнату. Интересно было, приезжая из деревни, смотреть, как она теперь выглядит, где перегородка, как переместилась наша нехитрая мебель. Наконец, в какой-то год отец нашел окончательный вариант, так что у нас действительно образовалось что-то вроде двухкомнатной квартиры и даже с небольшой прихожей...

В доме я чаще и отчетливее всего помню себя одного. Как обычно говорили тогда — и не знаю, говорят ли сейчас: «Отец с матерью целый день на работе, ребенок предоставлен самому себе». Прекрасное, однако, было время для разного рода исследований! Взять шкаф. В двух его половинках, разделенных большим зеркалом, лежало белье и висела одежда, зато нижний выдвижной ящик был очень занимателен: в нем, неизвестно для чего, сохранялись разнородные вещи непонятного происхождения. Во-первых, настоящая буденовка с матерчатой звездой, только почему-то черной. Затем большой ранец с меховой... как назвать то, чем сверху закрывается ранец: полость? клапан? крышка? Меня удивляло, зачем мех и почему он обращен наружу? Какое может быть от него тепло, если он не прилегает к спине? И только много лет спустя, припомнив в очередной раз этот ранец, я сообразил, что был он, наверное, походный, солдатский, и если на привале приспособить его под голову мехом кверху, голове будет не так холодно и жестко. Весьма предусмотрительно... А еще были мотоциклетные очки, которые мне нравилось воображать летными, и большие кожаные, с раструбами, шоферские перчатки. Откуда все это взялось в нашем доме? Дедушки, чья пожелтевшая фотография в буденовке хранится в семейном альбоме и чья шашка висит на стене — до поры, до времени, когда пылкий молодой герой срывает ее и начинает крошить мещанский уют... — такого дедушки в нашей семье не было. (Как не было, впрочем, и мещанского уюта...) Не имелось также ни автомобиля, ни мотоцикла. Так что не знаю. И не могу сказать — не запомнил, не обратил внимания, когда и куда все эти вещи потом подевались...

Кроме шкафа, был буфет. Для посуды, продуктов. Короче, тот самый, куда в детстве залезают за вареньем. И варенье бывало, конечно. Однако к варенью я был равнодушен, а вот отдельная полка на самом верху привлекала весьма: там помещалось хозяйство отца. Кое-какой инструмент, запасные электрические пробки, олово для паяния... Там же сыскалась изогнутая коротенькая трубочка с прокуренным чубуком (опять — запах), и тоже не знаю чья — трубку отец никогда не курил. Курил, и очень помногу, папиросы,

и позже, когда резко вдруг и навсегда бросил, на полке прибавилась — для памяти, видимо — начатая пачка «Беломора». Последняя... Самым же интересным предметом было отцовское факсимиле: небольшая стальная продолговатая коробочка, а внутри печатка с обратным, зеркальным начертанием отцовской фамилии. По многу раз я мазал ее чернилами, прикладывал к бумаге — фамилия оттискивалась четко и полностью. Наверное, с тех пор я так и воспринял и запомнил — подпишись, и когда мне самому в первый раз понадобилось расписаться, расписался, не колеблясь, тоже четко и полностью. И впоследствии не изобретал никаких завитушек... А еще хранились на полке три медали: «За оборону Москвы», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и «Памяти 800-летия Москвы». (Потом, когда отца хоронили, какой-то товарищ с его службы, видно, «распорядитель» — бывают такие товарищи, которых всякий раз назначают руководить этими печальными делами, — все ходил и озабоченно твердил: «Подушечки... А где подушечки? Для наград...» Пока я не сказал ему: «У отца было три медали... Три... Не надо никаких подушечек!»)... И вот, «предоставленный самому себе», я надевал отцовский китель с синеньким кантом, со значками связиста и майорской звездой в петлицах, припиливал к нему медали, клал в карман факсимиле (род документа), надевал еще очки и душную, пропахшую нафталином буденовку, за спину — ранец, натягивал на руки шоферские перчатки, а в зубы совал трубку. Кем я воображал себя в этом фантастическом убранстве? Но все эти вроде бы несоединимые вещи на мне и во мне тем не менее соединялись, и по комнате я расхаживал с полной серьезностью. Но ведь и понимал в то же время, что в коридор в таком виде выходить не стоит...

За дверью нашей комнаты начиналась наша квартира. Там жили соседи. О «коммуналках» сказано много. Сначала их описывали как очаг нескончаемых склок, сплетен и дрызг. Затем, когда люди поразъезжались в отдельные квартиры, пошли сочинения умильные — вплоть, кажется, до того, как бывшие соседи не вынесли разлуки, затосковали и съехались опять жить вместе... Наша квартира была нормальная, средняя. Не то чтобы преувеличенно дружная,

но и не скандальная — мирная. Бывали, конечно, и ссоры, и недо-разумения, но без мелких пакостей. Соль, гвозди или что там еще в хрестоматийных рассказах про «коммуналки» — никто друг другу в борщ не сыпал. Скандалы случались редкие, локальные и возникали, как я теперь понимаю, по причинам чисто психологическим.

Расклад был такой. Через стену от нас, в комнате поменьше, чем наша, но тоже довольно большой, жили Магалифы: Илья Самойлович с женой, тетей Соней, и сыном Левкой. Не помню, год или два после войны их комната пустовала — Илья Самойлович работал в Германии, семья была при нем. Когда они вернулись, у Левки обнаружилось множество удивительных вещей. Например, шахматы в золоченом грецком орехе. Скорлупка настоящего грецкого ореха открывалась и закрывалась на крохотных петельках и запиралась крохотной защелкой. А внутри умещалась целая шахматная партия — все белые (только тут они были почему-то красные) и все черные фигуры. Доски, правда, не было, но доской мог служить клочок обыкновенного тетрадного листка в клеточку — восемь на восемь клеток. Двумя пальцами в такой тесноте фигурки никак не хватывались, но каждая завершалась специальным тонким острием и, легонько наколов на палец, ее можно было переставить... Еще он привез несколько массивных альбомов с немецкими марками, и среди них была серия с Гитлером: голубой, зеленый, фиолетовый, малиновый, розовый Гитлер... Приволок, конечно, и фашистские ордена — тяжелые, гладкие, матово-черные кресты, окаймленные узенькой светлой полоской. Помню также записную книжку немецкого офицера — что-то вроде универсального карманного справочника. Среди многих тончайших страниц, заполненных убористым шрифтом, были плотные цветные вкладки: карты всех европейских стран, знаки различия родов войск — всевозможные погоны, эмблемы, кокарды, нашивки, знамена, витые шнуры, штандарты с орлами, свастики. Имелись там и краткие разговорники, тоже для всех стран. Отыскали мы и немецко-русский — латинскими буквами было выписано: «Как называется эта местность?», «Куда ведет эта дорога?» Странички в конце были оставлены чистыми — для личных записей. Но запись в той книжке оказалась одна: всего не-

сколько строчек, черными чернилами, красивым бисерным почерком. То ли офицер был не охотник вести дневник, то ли его быстро убили... Помню, что мы, мальчишки, с удовлетворением разглядывали и эту книжку, и эти ордена: мы знали, что все это — трофейное, отнятое у побежденных фашистов, значит, теперь — законно наше...

Самой же удивительной, никогда нами не виданной, просто сказочной вещью была электрическая железная дорога. Составлялась она из отдельных звеньев. Звеньев было много, прямых, изогнутых, перекрещивающихся, разветвленных, со стрелками, и дорогу можно было сделать какую угодно: с разъездами, тупиками, запасными путями. Маленький паровозик выглядел совсем как настоящий: тяжелый, черный, с красными колесами, которые приводились в движение блестящими никелированными рычагами. К нему цеплялись вагоны — пассажирские, товарные, была и платформа. Кроме паровоза имелся еще электровоз, тоже массивный, длинный, зеленый. Внизу у него, как у паровоза, находились контакты, гладкие, желтоватые, и так они легко, но и упруго подавались под пальцами. И даже был вокзальчик!.. Странно, я так подробно описываю эту дорогу, что теперь, в воспоминании, она поражает меня гораздо сильнее, чем в детстве, а тогда мы, в общем-то, естественно восприняли, что у паровоза и вагонов есть, как положено, буферные тарелки и по-настоящему открываются дверцы, а внутри вагонов видны маленькие скамеечки, и на черные покатые крыши ведут миниатюрные лесенки... Много лет спустя я купил своим детям железную дорогу, но все в ней было уже не то: и сами пути являли элементарный круг, и паровозик с вагончиками были легонькие, упрощенные, штампованные, с нарисованными окошками — действительно игрушечные!.. А тогда... Левка нажимал кнопку, состав двигался. С помощью других кнопок и рычажков можно было убыстрять движение, останавливать и давать задний ход. Стрелки тоже переводились автоматически. Мы пускали еще электричку, она шла с мерным жужжанием. Мы увлекались. Каждый норовил нажать кнопку, стрелки щелкали. Состав залетал в тупик, вовремя удавалось затормозить его и направить обратно, на основной путь,

но к этой же стрелке попевала тяжелая электричка. Вагоны опрокидывались. Начинаясь спор — кто виноват? Тетя Соня ласково, не раздражаясь, говорила нам, что мы не умеем играть, и велела Левке разобрать дорогу... Мы переходили в нашу комнату. И у Валюшки, и у Левки были такие же железные коробки, как у меня, — отец принес на всех, — каждую из них можно было превратить в танк, хоть в паровоз, и возить прямо по полу, и сталкивать сколько угодно...

Да, для игр мы собирались в основном у меня, в нашей просторной комнате. У Левки играть было неудобно — в их комнате стояло слишком много мебели. Даже пианино. Кроме того присутствовал постоянный надзирающий глаз — тетя Соня не работала... У Валюшки можно было играть разве что в шахматы. Вдоль коридора располагались еще две комнатки, очень небольшие, узенькие, по одному окну, — о таких комнатах когда-то было сказано точно: «пеналы». В одной из них, у самого входа в квартиру, жил Валюшка со своей матерью, тетей Марусей. Отец у него погиб на фронте. Тетя Маруся была неприметная маленькая женщина, — я и лица ее толком не помню, — помню, что худенькая, светловолосая. Она работала где-то уборщицей... А в другой комнатке проживала тетя Настя, Анастасия Ивановна, с мужем Павлом Семеновичем. У них детей не было. Павел Семенович был милиционер, участковый, но не нашего, какого-то другого участка. Тетя Настя, как и тетя Соня, была домохозяйкой. В квартире Павел Семенович держался особняком, так что мужское общение осуществлялось между моим отцом и Ильей Самойловичем. Выражалось это в том, что по вечерам они курили на кухне и беседовали. Илья Самойлович уже тогда был лысым, полным и казался мне большим и важным рядом с моим худощавым, взлохмаченным отцом. Имелась у Ильи Самойловича привычка: время от времени, не разжимая зубов с зажатой в них папиросой, углом рта с шумом втягивать в себя воздух. Я пришел к выводу, что у него не хватает зуба — иначе как бы воздух проходил внутрь?.. О чем они разговаривали, я не помню. Не то что не понимал — просто не вслушивался. Но все, что говорил Илья Самойлович — вернее, как говорил, — производило впечатление чего-то очень значительного, умного. Он говорил неторопливо, не

горячась, не повышая голоса, напротив, иногда наклоняясь в сторону собеседника и доверительно понижая голос, с таким видом, что спорить против того, о чем он говорит, бесполезно, что где-то там уже горячились по этому поводу, и повышали голос, и спорили, но потом пришли к единому мнению, и сам он, Илья Самойлович, тоже не спорит сейчас с этим мнением, лишь пересказывает. Посреди фразы он любил вдруг прерваться, откинуться назад, поглядеть оттуда, прищурившись, затянуться папиросой, втянуть воздух, помолчать — не для того, чтобы собраться с мыслями, но опять же с видом, что мысли эти уже определены, выверены, и доскажет ли он их минутой раньше, минутой позже — никакого значения не имеет... Я уже упоминал, что Илья Самойлович был журналистом, но работал он даже не в газете, а в журнале, и не в простом журнале, а в каком-то главном, идейно-направляющем, так что, конечно, у него были все основания говорить столь значительно. Кроме того, он жил в Германии... Отец мой слушал, порой переспрашивал, а если и высказывался сам, то с интонацией предположительной. В ответ Илья Самойлович, помолчав с некоторой снисходительностью, покурив и втянув очередную порцию воздуха — будто бы новую порцию энергии, — вновь принимался разъяснять...

Иногда, но редко, из своей комнаты выходил Павел Семенович. Если Илья Самойлович казался мне большим (много лет спустя я встретил его: маленький старичок), то Павел Семенович был вообще... громоздким. Очень высокий, широкий, тоже лысый, но лысина у него была, как я теперь вспоминаю, не интеллигентская, как у Ильи Самойловича, не ото лба к затылку — как бы след, обозначение мучительного и неоднократного пути от мысли «передней» к мысли «задней» и наоборот, — но только вокруг лба, круглая, как поляна, какая-то простонародная, деревенская, свидетельствующая о надежном умственном и душевном равновесии... По квартире Павел Семенович ходил в белой нижней рубашке, треугольником расходившейся на его мощном животе и волосатой груди, в домашних тапочках, однако в форменном галифе. Появлялся он, чтобы проследовать в уборную или заглянуть на кухню — если Анастасия Ивановна была в этот момент на кухне, — и осведомиться об ужи-

не... И вот не знаю, не могу сказать — в детстве-то я таким вопросом, разумеется, не задавался, а теперь мне интересно, — тянуло ли Павла Семеновича присоединиться к курящим на кухне, послушать, вставить что-нибудь свое, и если да, то что в таком случае сдерживало: может быть, он был молчалив и замкнут по натуре, может быть, осторожен, что неудивительно по тем временам, а может, просто равнодушен к такого рода общению? Да он и не курил вдобавок... В общем, Павел Семенович навсегда остался для меня непонятен, я даже голоса его не могу вспомнить. Зато помню, что, когда мы, мальчишки, играли во дворе, а Павел Семенович в своей милицейской шинели и сапогах проходил через двор, с работы или на работу, он неизменно улыбался нам, тоже молча, но весьма дружелюбно, обнажая при этом сплошной ряд массивных золотых зубов... Тетя Настя была под стать мужу — тоже дородная, крупная. Как они помещались в своей комнатухе? Иногда мне доводилось туда заглядывать — когда тетя Настя зазывала угостить каким-нибудь свежеепеченным пирожком. С одной стороны там стоял громоздкий буфет — выходило совсем, как у Гоголя: «И я тоже Павел Семенович!» — с другой широкая кровать, по тогдашней моде металлическая, с навинченными на спинках никелированными шарами — «И я тоже Анастасия Ивановна!» — а посередине оставался узкий, как для кошки, проход к столу у окна... Вот голос тети Насти я помню очень хорошо: басовитый, громкий, как тогда говорили, «на всю квартиру»...

Из всех «теть» мне, безусловно, нравилась тетя Соня — она была такая ласковая, приветливая, всегда улыбалась. Да и у нас с Левкой общего было больше, чем с Валюшкой: книжки, шахматы, марки. Учились мы с Левкой в одной школе. И отцы наши сходились потолковать по вечерам. И мама моя — как-то само собой вышло — более всего была дружна с тетей Соней. При самом добром отношении ко все остальным соседям, конечно... Однако тетю Настю этот отдельный союз, видимо, задевал, уязвлял. И, в отличие от невозмутимого Павла Семеновича, она, наверное, ощущала себя отторгнутой. Теперь я понимаю, что тетя Настя тоже хотела дружить с моей мамой, но отдельно, без тети Сони. Потому что тетя Настя хорошо

чувствовала, что отторжение исходит именно от тети Сони — вежливое, внешне корректное, но со скрытым пренебрежением. Которое тоже тем не менее отчетливо ощущалось тетей Настей... Тут я хотел сказать, что в нашей квартире не было ярко выраженного лидера, но теперь вижу, что был. Точнее, были — мой отец с матерью. Не те энергичные, напористые, беспокойные лидеры, за которыми влекутся подчас — и чаще всего — помимо своей воли, но те, к кому сами инстинктивно тянутся. Я же говорил, что были они деревенские — несколько лет всего как из деревни, — с нетронутыми чувствами, простодушные, отзывчивые, кроме того, с тем врожденным внутренним тактом, который разом заменяет человеку долгий опыт общения с людьми... Вот из-за моих родителей и шло соперничество между тетей Настей и тетей Соней, внешне выражавшееся в их упорном и молчаливом неприятии друг друга. Но если тетя Соня могла жить в этом молчании сколь угодно долго, то тетя Настя, простая и горячая душа, не выдерживала, вдруг взрывалась. Думаю, что для этого достаточно было какой-нибудь мелочи. Разумеется, я — как и в разговоры отца с Ильей Самойловичем — не вслушивался в суть этой перепалки, мне было неинтересно, но и не слышать ее было просто невозможно. Вначале раздражалась долгими и громогласными обличениями тетя Настя — ей коротко отвечал тихий и смиренный голосок тети Сони. Затем опять шел пространственный гневный выпад тети Насти — и опять слышался кроткий ответ тети Сони, особенно кроткий, если на кухне в этот момент был кто-нибудь еще. Первой удалялась в свою комнату всегда тетя Настя, с шумом пронеслась по коридору, хлопала, как положено, дверью. Как воспринимали тогда мы, дети? Естественно, кто первый начал, кто громче кричит — тот и скандалит. Вот мы и воспринимали: тетя Настя опять скандалит. Справедливости ради надо сказать, что случалось это нечасто. И всю квартиру не захватывало. Мужчины, включая Павла Семеновича, никогда не вмешивались, моя мама — тоже. Тетя Маруся — та вообще не смела возникать, но молчаливо держала, уверен, сторону тети Насти...

## 8

Но как с возрастом по-новому все начинаешь понимать! Вернее, не по-новому, а просто — начинаешь понимать... Правда, и тогда, в детстве, что-то уже настораживало меня в ласковой тете Соне. Сидели мы как-то у Левки, вздумали играть в шахматы. Пока он искал их — не те, что в грецком орехе, а обычные, деревянные, — я вызвался принести свои. Но свои я обнаружил рассыпанными, раскатившимися по полу в разные углы, собирать их мне было лень, к тому же Левка, наверное, уже нашел, так я и вернулся — без шахмат. Так и объяснил — рассыпаны. Тогда тетя Соня и молвила, тихонько, как бы про себя, с коротким смешком: «О, эта бережливость!» Вот как в пьесах, в ремарках к репликам пишут в скобках: «про себя» или «в сторону» — и предполагается, что никто на сцене, кроме самого произносящего, этих слов не слышит. Но я-то слышал! Выходит, что я пожалел свои шахматы! И это было ужасно несправедливо, нечестно: и фигуры были действительно разбросаны, и действительно я поленился, а вот «бережливым», жадным то есть, не был никогда — тот же Левка мог бы подтвердить. Но и пускаться опровергать было как-то глупо и даже невежливо: ведь сказано тетей Соней было тихо и сказано вроде не мне — получилось бы, что я подслушал?.. И в то же время четко я понимал: сказано мне, в расчете на меня — вот в чем штука!.. А тут еще Левка — тоже негромко, как-то по-взрослому, упреждающе и с укором произнес: «Мама! Ма-ма!..» И интонация показалась мне такой, что он вообще-то согласен с матерью, она права, не права только в том, что высказывается в моем присутствии. Надо, мол, быть снисходительнее... И опять невозможно было ничего возразить: а что он такого сказал, кроме «Мама, мама!». Вот так они, тетя Соня и Левка, при мне и обо мне же поговорили, а я при этом вынужден был стоять, как чурбан — без слов. Что оставалось? Я сообразил сделать вид, что ничего и правда не слышал, а если и слышал, то не понял. Мы сели играть. А потом я обо всем этом напрочь забыл, конечно... Зато теперь вдруг вспомнил и думаю, что зачинщицей на кухне все-таки бывала тетя Соня. Я просто вижу и слышу, как она возле своего

стола у окна и не глядя на тетю Настю, как бы и не замечая ее, своим вкрадчивым, журчащим голоском выдает в ее адрес что-то ехидное, язвительное. А тетя Настя... — это ведь я, мальчик, мог смолчать в своей детской стеснительности и недоумении, — а вспыльчивая и прямая тетя Настя вскипала мгновенно...

Много лет спустя, в начале шестидесятых — я уже побывал в Сибири, вернулся, поступил в университет, — мы все постепенно разъехались с Пресни. По разным углам Москвы, по отдельным квартирам. О Валюшке и тете Марусе не знаю ничего, их след для меня потерялся. Левка тоже учился в университете, на искусствоведческом отделении истфака, специализировался по русской церковной архитектуре, причем по архитектуре северных церквей. Публика наша в массе еще не открыла тогда для себя русского Севера, никакой турист туда еще не стремился — может быть, лишь два-три художника со всей Москвы, никому не известных, упрямо выезжали писать свои вневременные, свои а с о ц и а л ь н ы е пейзажи с колокольнями. Да Левка шастал с фотоаппаратом: снимал в разных ракурсах эти колокольни, описывал, каталогизировал. Так что, когда Север стал модой, и жаждущие п р и о б щ и т ь с я толпами повалили во Псков, Новгород и на Соловки, и церковные купола обозначились на каждой второй картине, и замелькали очерки об этих церквях — с призывами с п а с а т ь, и пошли статьи, специальные исследования, монографии и альбомы с «видами», Левка к тому времени уже оказался редким и заметным специалистом и писал предисловия к тем альбомам и монографиям... Он рано, еще студентом женился, жил отдельно от родителей. Тетя Соня, очутившись в квартире без соседей и не находя, на кого теперь распространять свою кротость, обратила ее на доброго Илью Самойловича и затретиговала его вконец. Дошло у них до того, что они, муж и жена, живя бок о бок, совершенно не разговаривали — а как умела не разговаривать тетя Соня, я уже говорил, — и покупали отдельно продукты, и каждый готовил сам себе. Последние свои дни Илья Самойлович провел в больнице, проститься с ним тетя Соня не пришла... После его смерти тетя Соня занялась Левкиной семьей и так повела дело, что он развелся, оставил жену, детей и переехал жить к матери. Все-таки

тетя Соня была уже старой, и ей нужно было, чтобы кто-то за ней ухаживал. Она и сейчас жива, ей под восемьдесят, зимой она регулярно ходит в бассейн, а летом совершает длительные поездки на теплоходе по Волге...

Моя мама, уехав с Пресни, все равно ездила туда — на свою работу, в сберкассу. И так получилось, что новая квартира тети Насти оказалась рядом с маминой сберкассой. Сбылась ее давнишняя мечта — дружить с моей мамой отдельно. Павел Семенович тоже умер. А Анастасия Ивановна чуть ли не каждый день приходила к маме, пока и сама не померла.

...С какой-то ведь мыслью начал я описывать нашу квартиру... Да, вот с какой. Лев Толстой очень четко различал границу между детством и отрочеством. Отрочество его героя наступило лет в одиннадцать-двенадцать, когда он осознал, что, кроме него, есть другие люди. «Мне в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что не мы одни, то есть наше семейство, живем на свете, что не все интересы вертятся около нас, и что существует другая жизнь людей, ничего не имеющих общего с нами...» Вот я и хочу сказать, что, если считать по этому признаку, по этому пониманию, то моя «эпоха отрочества» началась очень рано, чуть ли не с того младенческого проблеска сознания в бомбоубежище, когда я ощутил, что я на руках у мамы, а кругом много чужих людей. Нет, это не означает, что тогда же кончилось и детство, оно продолжалось, но отрочество меж тем постоянно как бы вклинивалось в него. И, чтобы узнать, что «существует другая жизнь людей», мне, маленькому мальчику, не надо было совершать далекую поездку, не надо было даже выходить из дома — достаточно было выглянуть на кухню или в коридор.

## 9

Для полноты картины должен добавить, что свой небольшой, несложный раскладик в отношениях с нашей квартирой, с нашими соседями образовался и у меня. Конечно же, они были «другие», конечно же, выражаясь толстовскими словами, «не имели ничего общего с нами», потому что мы, мой отец, мама и я, были луч-

ше. У нас была самая большая комната. У нас, у единственных в квартире, стоял телефон, не общий, в коридоре, а у нас в комнате, и звонить все приходили к нам. Когда в квартире перегорали пробки, все сидели в темноте, ждали моего отца — только он умел починить их... Да мало ли! У нас была самая лучшая, самая красивая фамилия. Например, Валюшкина фамилия была Горюшкин, и так я ее, естественно, и воспринимал: Валюшка жил в маленькой комнатухе, вдвоем с тихой, безгласной матерью, без отца. И учился он не в нашей с Левкой нарядной школе на бугре, а в какой-то дальней, на задворках, возле Ваганьковского кладбища. Действительно: Валюшка-Горюшка, как говорила ласковая тетя Соня... У тети Насти тоже была самая простецкая фамилия — Шумова, и она тоже казалась мне вполне соответствующей: тетя Настя — шумит... Левкиной фамилии я не понимал, и вот ему-то, казалось бы, должен был завидовать. Ну, хотя бы потому, что были у него шахматы в грецком орехе, удивительная железная дорога... Но, во-первых, чувства зависти я был счастливо лишен вообще, а во-вторых, и орех и дорогу Левке выдавали крайне редко, и то со строгим условием — не выносить из комнаты. Так что играли мы все равно у меня — в кубики и коробки. Кроме того, Левку отдали в музыкальную школу, и после обычных уроков он плелся туда с болтающейся на тесемках нотной папкой и дома часами долбил на пианино что-то однообразное, скучное... Все это давало мне основание ощущать свое превосходство. Нет, разумеется, я не говорил своим товарищам: «А у нас самая большая комната, ага!» или «А у нас телефон, ага!» — я даже наверняка не думал об этом, просто вот сейчас, вспоминая те времена и размышляя задом, как формируется характер человека, от каких подчас напрочь забытых мелочей, от какого на нынешний взгляд ничтожного вздора зависят, оказывается, последующие важные, укоренившиеся черты его личности, прихожу к выводу, что в детском моем подсознании все это, наверное, тогда уже закладывалось, вырабатывалось...

Однако внутриквартирное мое самоощущение не годилось ни для двора, ни для улицы. Это тоже были самостоятельные, далекие миры. Настолько отдельные, что встречаться где-нибудь на улице или в магазинной очереди с тетей Настей или с тетей Соней было

странно: они в моем восприятии целиком принадлежали нашей квартире. Конечно, на Валюшку и Левку это не распространялось, они, как и я, естественно вписывались во двор, но во дворе мое отношение к ним претерпевало существенное изменение: я становился младше, слабее и, следовательно, зависимее... Да, вспомнил: жу́ х а л а!.. (Или как правильнее: ж у х а л о? «Жухать» означало жульничать, «отжухать», «зажухать» — то есть хитростью выманить, нечестно присвоить что-нибудь.) Это мы однажды играли с Валюшкой в шахматы. Играли мы тогда, в детстве, конечно, своеобразно. Я видел, что моя «королева» стоит под боем, но уходить с этого места мне не хотелось, это нарушало мои планы. Валюшкина «тура» тоже была под боем, и я предложил: он не будет «есть» мою «королеву», а я не буду «есть» его «туру». Валюшка согласился. Мы сделали еще хода по два, и вдруг Валюшка преспокойно мою «королеву» съел. Я возмутился — мы ведь договорились! А он сказал, что мы договорились только на «тот ход», а не на все ходы.

— Нет, на все, — доказывал я. — Я-то твою туру не ем!

— А ты съешь, — разрешил он.

— Нечестно! Если бы мы только на один ход договорились, я бы так и сказал: на один!

— А если бы мы на все ходы договаривались, ты бы должен был сказать: на все...

— А ты, если собрался есть, должен был бы объявить «гарде». По правилам.

— Зачем это я буду объявлять, если ты сам видишь?

— Жухала!

— А ты проиграл.

— А ты жухала!

— А ты проиграл.

— И вовсе я не проиграл! Мата нет!

— Давай играть, и будет.

— Не хочу я с тобой играть, потому что ты жухала!

— Потому что боишься.

— Потому что жухала!

— Потому что боишься.

Так мы препирались, и меня, помню, выводило из себя уже не то, что Валюшка зажуhal мою королеву, а то, что на все мои доводы у него был свой ответ, и в то время, как я горячился, он оставался невозмутим, непрошибаем.

— Ну, и иди отсюда! — нашел я последний довод.

— Подумаешь, и уйду. Играть не умеешь...

И с этим же невозмутимым и даже презрительно-насмешливым видом Валюшка вышел, не торопясь, из моей комнаты и пошел в свою. Тогда я крикнул вдогонку: «Баран!» Это было его дворовое прозвище. Не знаю, откуда оно пошло — от фамилии не могло, и никакого внешнего сходства не было, — но на того, кто обзывал его так, Валюшка кидался, не помня себя. Может быть, как раз нелепость, необъяснимость прозвища его и бесила. Вот и сейчас он ринулся обратно по коридору, но я успел захлопнуть и запереть дверь. Валюшка пнул в дверь ногой и ушел. Так. Его самоуверенность, его, столь раздражавшую меня невозмутимость я пробил, значит, я победил... Но странно: когда я остался один, я снова начал чувствовать постепенно нарастающее возмущение, и снова тем, что Валюшка все-таки «зажуhal», именно нагло «зажуhal» мою королеву. И в этом я его не убедил. Прав, разумеется, был я, но понимал, что противник мой ушел с убеждением, что прав он. Но прав-то был я!.. Что-то надо было сделать, как-то продолжить спор. Но не подкрадываться же к его двери, чтобы крикнуть что-то обидное и тотчас убежать в свою комнату. Это не солидно, надо как-то поубедительнее. Я сообразил. У меня нашелся маленький чистый блокнотик, и весь его я исписал и изрисовал. Не помню, конечно, что я тогда сочинил, помню только, что от начала до конца сквозило там слово «жуhала», а под конец я изобрел даже — «Всемирный Жухала». Текст перемежался рисунками: «Детство Жухалы», «Школьные голы...» и т.д. На последних же страничках я изобразил целую серию памятников «Всемирному Жухале» — во всех крупнейших городах и столицах мира. Жестокость идеи, пришедшей мне по ходу моей работы, признаюсь, заключалась в том, что на все постаменты — и в Риме, и в Париже, и в Лондоне, и «на его родине», на Пресне, — я водружал баранов. В различных видах: то в фас, то в профиль, то рисовал на-

шого деревенского Борьку, то величественного горного, которого я видел в зоопарке. (Кстати, на тогдашних, на старых воротах зоопарка среди других гипсовых зверей стоял и баран — не он ли меня и надоумил?..) Исчерпавшись, я обернул блокнотик чистым листом бумаги, заклеил и надписал невинно: В. Горюшкину. Потом прокрался тихонько по коридору и сунул блокнотик в наш общий почтовый ящик... Извлекла его тетя Соня. Но вручила не В. Горюшкину, а вечером тете Марусе. Не знаю — могла и полюбопытствовать предварительно... На кухне же состоялось обсуждение. Я, сидя в комнате, слышал. «Да он это, конечно же, это он! — восхищенно журчала тетя Соня. (Про меня.) — Это же его стиль!» (Хотя, господи, какой-такой мог у меня быть «стиль»?) «Это ты написал?» — спросила мама, придя с кухни. «Нет», — сказал я хмуро. Я не боялся, что «заругают», я считал, что родителям вмешиваться в такие дела незачем. Мама поняла и больше не спрашивала... Ответного послания Валюшка сочинять не стал. На другой день, когда я вышел во двор и остановился выжидательно в сторонке от ребят, Валюшка отделился, подошел и врезал мне по шее. (Можно считать, это был самый первый мой гонорар.) Я принял это как должное: я свой выпад сделал, свой удар нанес, теперь была его очередь. Я только изобразил на лице этакое гордое, одинокое и непонятое страдание за правду: королеву-то он все-таки «зажухал»! Валюшка правильно истолковал мое выражение и собрался врезать еще. «Будет, будет!» — примирительно сказал подошедший Левка. И снова можно было играть вместе...

Дворовое воспитание было жестким и четким. Во дворе не имело значения, какие отметки ты получаешь в школе, кто у тебя отец и есть ли он вообще. Здесь уважались твоя собственная сила, ловкость, быстрота, меткость, умение водить мяч, стоять в воротах. Проверялось все это в играх: в «козла», в «отмерного», в чехарду, футбол, казаки-разбойники. И тут выяснялось, что вовсе ты не лучший и вовсе не первый, что есть мальчишки, которые бегают быстрее, прыгают дальше, в футбол играют лучше. Но если ты и не обладал достаточной ловкостью и быстротой, то тебя могли ценить, например, за умение пересказывать книги о разных приключени-

ях. Мой авторитет во дворе был именно такого рода, и, не скрою, я чувствовал какое-то упоение, какую-то особенную свою власть, когда вокруг меня где-нибудь в укромном уголке собирались ребята, среди которых были и постарше меня, и я излагал им про Всадника без головы, про Капитана Немо, Следопыта и Зверобоя, и даже рассказывал русские народные сказки. Не те, разумеется, где Топтыгин и кумушка-лиса, но где жадный поп, простоватый барин, находчивый солдат и обязательно хитрый, но справедливый мужик. И еще в такие минуты я испытывал к своим слушателям некую благодарность — стало быть, не одинок я, не «придурочный» какой-то в своей любви к книгам! (Впоследствии, в Сибири, мой новообретенный друг, из бывших зеков и тоже москвич, заметит мне, что я, с моей памятью на прочитанное, точно не пропал бы и среди уголовников, в лагере. Там такие рассказчики тоже, оказывается, уважались...)

Кроме нашего двора, был двор соседний. Отношения с ним складывались, в общем-то, именно соседские: иногда мы враждовали, потом мирились и объединялись для общих игр. А дальше начинались чужие дворы. Заходить в них, особенно поодиночке, было рискованно. Помню, позвонила однажды с работы мама и попросила принести ей деньги. Объяснила, что лежат они в ящике буфета, под устилающей ящик газетой, что я и без нее, конечно, знал. Деньги были большие — тогдашних сто рублей. Я положил их в карман пальто, а для верности сунул в карман руку и зажал деньги в кулаке. Мамина работа была за трамвайной линией. Можно было бы пройти, огибая дома, по улице, но я шел напрямик, «по быстрянке», дворами. Мне оставалось миновать последний двор, и вот там меня обступило несколько ребят. Незнакомых. В таких случаях вначале всегда происходит взаимное «оттягивание», то есть диалог, который теперь пересказывать было бы смешно. Что-то вроде: «Парчужка», «От парчужки слышу», «Канай», «Канал бы я, только очередь твоя» и т.д. Ну, а далее как получится. Драки не возникло, не из-за чего было серьезно драться, но началось — пихание. Тебя пихнут, и ты пихнешь. Тебя посильней, и ты посильней. Тебя плечом, и ты плечом... Не знаю, чем бы все это закончилось, попихались бы, может быть, и разошлись, но ребят заинтересовало,

почему я даже в такой ситуации все не вынимаю из кармана руку. Кто-то из них, пошустрей, сам начал ее вытаскивать, я сопротивлялся. Я и сейчас вижу: зимний вечер, ранние сумерки, в некоторых окнах уже зажглись огни, и мы возимся в темном дворе, на утоптанном скользком снегу. Мимо шли прохожие, не приглядываясь, не обращая особенного внимания на нашу молчаливо пыхтящую, безобидную с виду компанию — мало ли какие у ребятни свои игры... В конце концов я потерял равновесие и упал, по-прежнему держа руку в кармане. Некоторое время ребята еще пытались выдернуть ее — бесполезно: изнутри я вцепился в свой карман намертво да еще повернулся так, что рука оказалась подо мной. Они стояли во круг, не зная, что делать дальше: даже если бы мы дрались, существовало твердое правило — «лежачего не бить», а мы тем более и не дрались. «Вставай», — сказал наконец главный среди них. Я его заметил: он не толкался и не старался вместе с другими выдирать мою руку. Я продолжал лежать — так было надежнее. «Вставай, не бе, — повторил он и прибавил как окончательный довод: — Я — Кремень». Он наклонился, протянул мне руку, я ухватился за его руку и встал. Получилось, что мы как бы обмениваемся рукопожатием. «Запомни: я — Кремень», — еще раз сказал этот мальчик, прямо глядя на меня. Ребята расступились, и я пошел... На мамину работу я постарался войти как ни в чем не бывало, но что-то, видимо, в лице моем сохранялось, какое-то напряжение, след борьбы, потому что мама, беря деньги, вдруг взгляделась и спросила: «Что с тобой?» Я молчал. «Скажи мне, что случилось?!» Я молчал. «Ну, почему ты не хочешь сказать, ведь я вижу, что-то произошло!» — встревоженно воскликнула мама, и тогда я заплакал... Нет, во мне не было пережитого страха, что отнимут деньги, — ребята эти были такие же, как я, пацаны, лет по десяти, не хулиганы, и в самом деле интересовала их только рука, непонятно и упрямо засунутая в карман, — и унижения поражения я не испытал, но когда вот так, напрямую, сталкиваются два столь разных мира: твой самостоятельный, суровый, взрослый мир двора, и твой же, еще детский, ласковый, заботливый мир дома — то что-то в таких случаях в тебе происходит... в общем, верх обычно одерживает домашний мир, побежда-

ет тебя, такого взрослого, обволакивает участием, и вдруг, помимо воли, расслабляешься и преисполняешься жалостью к себе, такому, оказывается, еще маленькому...

А с Кремнем мы, действительно, как-то вскоре после того встретились на нейтральной территории, один на один, узнали друг друга, заговорили и подружились. Его звали Толик Деркач. Мы были ровесники. Прозвище Кремень ему дали за его твердость — он всегда исполнял то, что намечал и обещал. В девятом классе он перешел в нашу школу, как раз в наш класс, и часто приходил ко мне домой — я помогал ему по математике. Математика была ему очень нужна, он уже тогда занимался в школе планеристов, уже летал и собирался стать военным летчиком, как его отец. И я вспомнил сейчас, куда девались очки из нижнего ящика нашего шкафа, — я подарил их Толику, в самом деле уверовав тогда, что они летные... После школы я потерял его из виду и не могу сказать, стал ли он летчиком. Конечно, я мог бы написать, что верю в это, но я только надеюсь, потому что знаю теперь, что такие люди, как он — очень твердые, негибкие и прямые, — самые уязвимые из всех...

О московских дворах тех времен, 40-х – начала 50-х годов, написано немало, написано хорошо, ностальгически, и добавлять что-то в таком же духе — нет смысла. Скажу только, что когда читаешь такие повести, то под законной любовью и грустью или рядом с ними обязательно чувствуешь еще отзвук бывшего темного, детского страха перед двором. Перед шпаной, хулиганами, урками, финками... Или мне это кажется? Но нет, обязательно там какая-нибудь страшноватая компания или хулиган-одиночка, злобный, коварный, жестокий, обижающий маленьких и слабых, вымогающий у них деньги и т.д. Не знаю, может быть, мне повезло с двором, но во мне такого страха не осталось, хотя и жил в самом сердце Пресни, прославленной своей шпаной (соперничала по Москве с нами только Марьяна Роца), хотя, бывало, и поколачивали меня — в основном потому, что рано оторвался от своего двора и часто пускался исследовать окрестности в одиночестве. Но мир двора запомнился мне, повторяю, без страха. Был он жестким, но не жестоким. Всей «кодлой» одного не били. «Стыкались», если доводилось,

всегда честно — один на один... Было, конечно, и в нашем доме несколько ребят, гораздо старше нас — они жили своей, далекой от нас, загадочной жизнью. Мы их знали, знали, что побывали они в колонии. Если в колонии, могу сообразить я сейчас, значит, им не исполнилось и по семнадцати, но тогда они казались нам очень взрослыми. Они носили кепки-восьмиклинки, длинные прямые пиджаки, сапоги и обязательно белое кашне, обмотанное вокруг шеи, — такая была у них тогда мода. Нас, мельтешащих во дворе, они не только не трогали, но вроде бы и не замечали, однако ореол их силы сам собою окружал и нас — возле них мы жили в безопасности, как маленькие птички рядом с гнездами больших хищных птиц. Их имена мы использовали, выясняя отношения с пацанами из других дворов: «А ты Лапшу знаешь? А ты Кольку Свиста знаешь?!» — давая тем самым понять, что Лапша и Свист, в случае чего, не замедлят явиться на твою защиту... В общем, мы взирали на этих ребят с почтением, заведомо наделяя их отвагой и бесстрашием, необходимыми для их таинственных дел. И если бы — думаю я сейчас — какие-то другие, более романтические времена... В студенчестве я начал в летние каникулы ходить на Трехгорку — работал там грузчиком. Как войдешь на территорию комбината, слева от проходной, на торцевой стене фабрики висела большая мемориальная доска — с именами погибших на пресненских баррикадах в 1905 году. Я все как-то невнимательно пробежал мимо этой доски, но однажды взгляделся, сличил даты рождения и гибели и увидел, что большинству тех героев было по пятнадцать-шестнадцать лет. Это были пресненские Гавроши, все та же пресненская наша шпана.

## 10

Улица была нейтральнее, безопаснее дворов, и уличные впечатления и воспитание были совершенно другого рода. Во дворе приходилось постоянно определять себя, отстаивать, отспаривать, кричать, «глотничать» — на улице можно было забыть о себе и раствориться. Например, в очереди. В доме напротив помещался продовольственный магазин. Этот дом, единственный среди «наших домов», был

оштукатурен, поэтому магазин назывался «Белый», он и сейчас, я знаю, называется так — «Белый магазин». По утрам я ходил туда за хлебом. Это было моей домашней обязанностью. Не помню, какие годы это были и были ли тогда карточки. Кажется, еще были, потому что эти бледно-розовые и бледно-зеленые квадратики и как их отстригают ножницами, я запомнил. Не то чтоб отчетливо, но так, смутно... Задолго до открытия, в предрассветных сумерках перед входом выстраивалась очередь. Толклись и мы, пацаны. Очередь мы никогда не занимали. Когда изнутри лязгал длинный железный крюк и отворялась дверь, при входе, как бы твердо ни держалась очередь, неизбежно образовывались завихрение, свалка. Вот в этот момент и надо было кидаться в толпу, подныривать под локти, проскальзывать чуть ли не под ногами, вклиниваться между телами, которые, цепляясь и вращаясь, как шестеренки, сами проталкивали тебя дальше и вперед. А очутившись внутри, бегом в отдел, к прилавку и для верности ухватиться еще за идущий вдоль него стальной поручень... Это называлось — «протыриться». И каждый раз так бывал горд, что «протырился!» (Думаю теперь, что взрослые все-таки жалели нас тогда, щадили в этой давке.) А вот самого хлеба, и как он выглядел, и сколько его давали, и особенного вкуса его — я не помню...

Здесь, вижу, следовало бы объясниться. Ведь в большинстве воспоминаний, подобных моему, — о военном и послевоенном детстве — обязательно читаешь о скудной еде, постоянном недоедании, даже о голоде. Конечно же, было так. А я позволяю себе писать, что в детском саду — в любом случае, значит, не позднее 45-го года, потому что в 46-м я пошел в первый класс, — да, что в детском саду томился над нетронутой тарелкой и что не помню, каким был хлеб. То есть хлеб того времени, про который написано столько драматических и проникновенных страниц. Про хлеб, «нечаянно съеденный» по дороге из магазина, или напротив, про отрываемый от себя хлеб. Матерью ради голодных детей, детьми ради больной матери. Наконец, про потерянные хлебные карточки... Кстати, и вверенные мне мамой карточки я ни разу не терял. И — как сам помню, так и пишу. Мои отец и мать были обыкновенные, рядовые служащие,

так что жили мы не лучше других. Жили, как все. И уж, наверное, проблема, как прокормиться, перед родителями стояла, и уж, конечно, «отрывали от себя» ради меня. Есть фотография отца тех лет: у него вообще было худощавое лицо, а тут совсем дошел, щеки ввалились. Впоследствии он рассказывал, как ездил в нашу деревню за картошкой, хотелось увезти побольше, набрал целый мешок, санок не было, тащил его на себе семь верст до станции зимой. Последние два километра дорога шла открытым полем, ее перемело, лезть пришлось, как по целине. И где-то неподалеку от станции отец свалился под мешком, лежал без сил в снегу и думал какое-то время, что не встанет... Вот поздний этот рассказ помню, а привезенную отцом картошку — нет... Может, будь я тогда постарше, запомнил бы? Не знаю, вряд ли. Думаю, что причина моего беспамятства заключается в ином, в том, что долгое время, и в войну, и после войны, и в детстве, и в отрочестве, я вообще ел чрезвычайно мало — «плохо», как говорили, ел — хватало мне даже тогдашней скромной еды и голода я никогда не ощущал. Выше я писал, что чувства мои дремали, дремал, видимо, и организм. Еще я, как, впрочем, все, наверное, дети, был консервативен, за те несколько ранних лет, что жил у бабушки с дедушкой, привык к деревенской пище и свободе есть, когда захочу, довольствоваться иногда целый день разной травой из-под ног, а вечером, набегавшись, кружкой козьего молока и горбушкой хлеба. Поэтому особенно «плохо» ел в городе. Мяса вообще не мог переносить, лет до восемнадцати не воспринимал ни в каком виде, от запаха котлеты меня мучило. Естественный, как я теперь понимаю, рос человек. Но представляю, как выводил я из себя, как раздражал воспитателей в том же детском саду, как расстраивались родители. В то время... А голод или по крайней мере постоянное желание есть впервые ощутил в Сибири, уже в конце пятидесятых, когда сорвался туда после школы, зачислился на первых порах учеником плотника, получал в месяц как ученик триста — теперешних тридцать — рублей, делал же все: копал землю, пилил бревна, штабелевал доски, разгружал пришедшие со стройматериалами платформы. Тогда и начал есть мясо. И не то вовсе, что я уехал один так далеко от дома, и не то, что занимаюсь по-настоящему тяжелой физической рабо-

той и живу в вагоне среди вербованных, — не это было для меня знаком, свидетельством моего повзреления, а то, что превозмог свое давнишнее отвращение и отважился съесть в столовой гуляш с макаронами... Однако денег на столовую хватало ненадолго, и вот вкус сибирского черного хлеба, с водой и солью, помню очень хорошо...

И еще. Разговорился я тут как-то со сверстником, тоже москвичом, принялись вспоминать детство — и он поднимался спозаранку за хлебом, и он, оказывается, «протыривался», — но главное, увидел я, как на лице моего собеседника по мере воспоминаний о тех утренних сражениях за хлеб стало проступать выражение этакой суровости, значительности. «Ты что — может, считаешь, что у нас было трудное детство?» — спросил я. — «А что же — счастливое, что ли?» Я засмеялся. «Да уж не говоришь ли ты своим детям: “Вот я в ваши годы...”?!» — «И говорю... А что? Живут теперь без забот, на всем готовом», — серьезно ответил он. Я тогда задумался — чем это объяснить. Может быть, жизнь моего знакомого сложилась не совсем так, как он хотел, и, разбираясь в причинах теперешних своих неудач и несчастий, он перенес их туда, уверил себя, что причина там, в его «трудном детстве»?.. А может, это просто потребность известного возраста — поучать, а поучая, ставить себя в пример? И ему, невоевавшему и даже не успевшему постоять у станка на подставленном под ноги снарядном ящике, тоже все-таки хочется выглядеть повесомее в глазах следующего поколения?.. «Вот парадокс, — думал я, — росли вроде бы в “самой счастливой стране”, и читали об этом в книжках, у того же Гайдара, и сами писали в тетрадках, и повторяли хором: “Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!” — а сейчас, кого ни слушаешь, кого ни почитаешь из сверстников, — все, как один, с детством “трудным”. Потому что он не одинок, мой знакомый, — и от других людей моего возраста я сколько раз слышал приблизительно то же. И мне кажется, что пошла уже тенденция, особенно в литературе, образовался некий трафарет, началось даже что-то вроде моды — на “трудное детство”. Чем труднее, тем подлиннее, тем ценнее, что ли?.. И если детство у тебя самое обычное, нормальное, то и не выступай — ни-

кому это не интересно. А в “счастлимом детстве” — вообще что-то недостойное, что-то даже нечестное по нашим временам... И неужели это закономерность, — продолжал размышлять я, — неужели и наши дети, которые “живут сейчас на всем готовом”, тоже когда-нибудь начнут искать, что им вспомнить с суровым и значительным выражением лица?! И что вспомнят они?..» Не знаю. Лично я не считаю свое детство «трудным». Нет, оно было, конечно, трудным, и тяжелым, и, может быть, трагическим, особенно отрочество — каким оно бывает, я уверен, у всех, во все времена — но в ином, в извечно мучительном деле внутреннего становления, а не во внешней скудости бытия...

Что же до тех очередей — возвращаюсь, — то стоять в них мне тогда даже нравилось. Особенно за мукой. Муку продавали в том же «Белом магазине», но со двора, через небольшое окошечко в железной двери, потому что сам магазин не вместил бы такую громадную толпу. Двор тот был через улицу, прямо напротив нашего окна, и сверху отлично была видна очередь — как она сначала шла, лепилась вдоль стен, по периметру двора, а потом закручивалась внутрь себя, стеснялась с каждым новым витком, образовывала к центру все меньшие и меньшие кольца, так что человек, стоящий в ее хвосте, помещался в самой середине двора. И очередь, продвигаясь к окошечку, как бы раскручивалась... должна была бы раскручиваться, если бы в центр не втягивались все новые и новые люди. Они, конечно, не стояли спокойно, отходили в сторонку, поразмяться на просторе, рыскали вдоль очереди в поисках знакомых — поговорить, пробивались в голову, разведать, х в а т и т л и, и просто поглазеть, как да ю т, — в общем, мельтешили, отчего эта людская спираль не была четкой, выглядела размытой и напоминала мне, наблюдающему сверху, какую-нибудь космическую туманность из книги Воронцова-Вельяминова «Вселенная». Книга была в супер-обложке с поражающим воображение рисунком: человек, висящий над бездной, над ним округлый краешек Земли, и он изо всех сил цепляется за ее шероховатую поверхность. Человек тот висел не мешком, все тело его было напряжено, ноги застыли в размахе, как у бегуна, — впечатление было, что он сорвался откуда-то, как ме-

теорит, и неся сквозь пространство, сквозь такую же пустоту, что под ним, с далекими звездами, и наконец повезло, пролетал мимо, схватился за Землю одними только замершими в страшном усилии пальцами, и вот пытается теперь притянуться к ней понадежнее, спастись от бездны... (Думаю, что и отца моего заинтриговал этот жуткий рисунок, когда он покупал книгу.) Еще в той книге было предисловие с категорическим заголовком: «Не читайте этого!» Разумеется, я тут же прочел. В конце его автор признавался, что именно на такое обратное воздействие своего заголовка и рассчитывал. Я оценил эту невинную уловку и обманутым себя не почувствовал. Но про человека на обложке в предисловии не говорилось, не нашел я и в книге, хотя добросовестно пролистал ее скучные для меня, слишком специальные страницы. Зато увидел и запомнил множество фотографий вот с такими, как очередь во дворе, плоскими витыми туманностями...

Однако особенно-то долго наблюдать из окна, из тепла не приходилось, потому что в любой момент какие-нибудь энтузиасты могли затеять перекличку — они шли вдоль очереди, которая с их продвижением мгновенно утрачивала свою размытость и организовывалась в стройный ряд, они выкликивали номер за номером, и если кто-то, скажем, не отзывался, он тут же безжалостно лишался места в очереди, а его номер передавался следующему. Свой номер имелся и у меня, записанный на ладони чернильным карандашом, а на другой ладони — другой, подальше, туда перекличка пока не доходила. Внутри огромной очереди по мере стояния образовывались как бы отдельные сообщества, и мне было лестно, что меня, пацана, в этом взрослом сообществе признают как равного. Потому что у меня, как и у них, был н о м е р... Тут возникал какой-то азарт — достояться, взять этот пакет муки, оттаранить его домой, вернуться, встать на другой свой номер, достояться еще. Мне это, повторяю, нравилось, было весело, походило на всеобщий праздник, но и в самом деле — муку давали тогда только в честь больших праздников, значит, мама да и вся наша квартира будет печь пироги... И еще — сколько в той очереди можно было увидеть разных людей! Помню, например, был один человек, внешне как две капли воды похожий

на Ленина. Он, конечно, и сам это знал, он это еще подчеркивал — у него был такой же пиджачок с жилетом и галстуком в крапинку, такая же кепка, борода и усы. Вокруг него собирались, особенно мы, ребята, стояли и глазели в каком-то немом остолбенении, не зная, как же отнестись к такому буквальному сходству, а он вдобавок заговаривал с нами, глядя на нас с проницательным, лукавым и добрым прищуром, и повергал тем самым в еще большее смущение. Вот только не помню, картавил он или нет, и не могу сказать, так ли похож был лоб, потому что видел этого человека всегда в кепке... Жил он, наверное, где-то в наших домах, потом я встречал его не только в очереди за мукой, но и просто на улице. Последний раз встретил его совсем старенького, одевался он так же, но уже не походил столь разительно на Ленина. А может, и походил — ведь мы не знаем, каким бы стал Владимир Ильич, если бы дожил до такого возраста. И сам этот человек не знал, привычно продолжая следовать классическому, всем известному облику...

Весною улица и двор соединялись, становились как-то ближе друг другу, даже буквально, напрямую: открывали запертое на зиму летнее парадное... Да, тогда, в детстве, было три главных приметы весны. Не листики, не солнышко, не цветочки, это все пришло потом, в сентиментальной юности, а тогда, во-первых — запахи. Вернее, запах. Лишь только сходил снег, ненадолго возникал запах влажной, отмякшей земли, запах бедного, сбитого, не дающего даже травы городского грунта, какой-то гнилостный, кисловатый, так созвучный с запахом помойки, которая также оживала в углу двора, в сарайчике, грубо сшитом из мятых, некрашенных железных листов. Кто-то из наших современных писателей остроумно определил детский возраст, как «помоечный». И действительно: сразу после снега, в той, еще не просохшей, еще не смытой дворниками из шлангов весенней грязи столько можно было всего, весьма ценного, найти! Тяжелую гайку, кусок толстой проволоки, годившийся на клюшку или на крюк, чтобы гонять колесо, шарик от подшипника, а если повезет, то и сам целехонький подшипник, который воспринимался тогда не иначе как «подшибник» и который можно было затем расколоть, чтобы извлечь те же шарики... Тогда же — и это

вторая примета — начиналась домашняя борьба за то, чтобы выходить гулять раздетым, то есть без пальто. Первый вышедший без пальто имел право смотреть на прочих, в пальто, с превосходством. Так, и в общем-то закономерно, совпадало, что первыми выходили раздетыми дворовые лидеры. Их пример — «Вон Витька Гладышев уже без пальто!» — на мою маму не действовал, скорее наоборот. Но за ними начинали выходить раздетыми и другие мальчишки, и тут борьба велась уже не за то, чтоб оказаться в числе первых, но хотя бы чтоб не быть среди последних, чтоб еще иметь возможность взглянуть на кого-то с чувством превосходства. Мама об этих тонкостях дворового самоутверждения, конечно, не подозревала, ею был определен твердый критерий — шестнадцать градусов. Почему именно шестнадцать, а, скажем, не семнадцать? Не помню: может быть, поначалу говорилось и о семнадцати, но сам же я один градус отвоевал. «Вот будет шестнадцать градусов — тогда пожалуйста!» — повторяла мама в ответ на очередной мой довод, что «даже Фимка со второго этажа — и то!»... А однажды, вольно прыгая вниз по лестнице — наконец-то! без пальто! — вдруг замечал на первом этаже свет в той стороне, куда лестница обычно вводила в темноту. И сразу поворачивал туда. Летнее парадное открыли! Это еще больше добавляло свободы, и это означало окончательное наступление весны... Интересно: «парадное» понималось тогда как любой подъезд, и черный ход со двора, которым пользовались зимой, — там еще висела железная доска со списком жильцов и с нашей фамилией тоже — также звался «парадным»... А вообще-то не «парадное», а «паратное» — так, как слышалось в детстве. И хотя ходил уже в школу и знал, как проверяется написание согласных: «парад — парады» — все равно эти «парады» существовали абстрактно, не выходили за пределы упражнений из учебника, и подъезды наши по-прежнему, и долго еще, оставались «паратными». Школа, как и наша комната, и квартира, и двор, тоже была отдельным, самим в себе миром.

## 11

...Взять хотя бы этого злосчастливого Павлика Морозова, чей поступок, чей, вернее, возможный пример стал вызывать теперь в нашей общественности столько нареканий. Кстати, не знаю, как в других районах, а у нас на Пресне Павлик очень напоминал о себе: был у нас детский парк имени Павлика Морозова, с памятником ему (если не путаю и не принимаю за памятник обычного гипсового пионера), был районный Дом пионеров, куда мы бегали заниматься в различных кружках, — тоже имени Павлика, имелась еще улица, и сама наша пионерская дружина, кажется, была его имени. И, конечно, в школе нам рассказывали про Павлика, и книгу о нем мы читали... И, может быть, — не помню, но уж наверняка — нас спрашивали, не каждого вот так, в отдельности: «Готов ли ты...», но обращаясь ко всему классу, в том еще возрасте, когда спрашивают всех разом: «Готовы ли вы поступить, как Павлик?», и все дружно, послушно и не задумываясь, отвечают: «Готовы!» Однако ручаюсь, что конкретный смысл этого ответа уже тогда был для нас, детей, очень туманен. Содержал он в себе нечто абстрактное: «Да, готовы поступить так же, по-геройски...», по-геройски в оообще, а что именно подразумевалось под этим геройством, никто из нас, думаю, не представлял. Уж больно далеко уже тогда, в конце сороковых, обретались для нас эти злобные кулаки, где-то еще там, в древности, до революции, которая их всех, как известно, победила, так что никак не связывались они с нашим временем и тем более — помыслить даже было невозможно! — с нашими собственными родителями... (Кстати, вот вопрос: не противоречим ли мы сейчас сами себе? С одной стороны, твердим о ничтожности воспитательного воздействия школы, а с другой — все опасаемся заразительности примера бедного Павлика?..) Но это я так, к слову, — об отдельности школьного мира. Я пока не о школе. Я о родителях.

Что я о них знал? Об их прошлом, об их собственном детстве, об их жизни до меня? Конкретно — почти ничего, как, впрочем, не знаю и до сих пор. У нас не водилось обыкновения собираться семейно, делиться воспоминаниями, «преданиями» — разве что в

редких родственных застольях, разве что рассказывались какие-нибудь отдельные забавные случаи... — да и не было никаких знаменательных преданий, как и в огромном количестве семей, похожих на нашу, не было истории семьи... Но я, помню, и сам не интересовался, никогда ни о чем не расспрашивал своих родителей, не делал ничего, чтобы начать эту историю. Была данность, факт, и этого было довольно: родители... Что связывалось тогда для меня с этим словом? Любил ли я их? Завидую тем, кому уже в раннем детстве было дано ощутить свою любовь к отцу, к матери, осознать ее именно как любовь, прожить с нею, потом вспомнить с отрадой и с печалью... Вот Бунин в «Жизни Арсеньева» пишет: «С матерью связана самая горькая любовь всей моей жизни». И далее: «...я с младенчества нес великое бремя моей неизменной любви к ней...» О ранней любви к матери говорит и Толстой в своем «Детстве». Правда, Толстой тут же высказывает догадку о «слезах воображения», сквозь которые мы стараемся вспомнить, воскресить «черты любимого существа». Что же, сквозь эти поздние «слезы воображения» мог бы теперь и я сказать о своей любви, но — мне хочется восстановить, что тогда, как именно тогда я чувствовал!.. Уж, наверное, случались в моем детстве непонятные дяди и тети, с их непонятным любопытством, которые начинали вдруг приставать: «Ты папу любишь?» И я кивал: «Люблю». — «А маму?» — «И маму». — «А кого, — с лукавой улыбкой взглядывая на присутствующих тут же папу и маму, — кого ты любишь больше, папу или маму?» И я, уже мрачней слегка от этой назойливости, догадывался: «Одинаково...» И еще больше мрачнел, подмечая очередную, адресованную родителям поверх меня улыбку дяди или тети. Ведь дети, даже самые маленькие, гораздо взрослей, чем их обыкновенно воспринимают. И я, наверное, уже тогда понимал или, во всяком случае, чувствовал, что добиваться от меня этих «люблю» — все равно что подводить к чему-то самоочевидному, все равно что, допустим, заставляя меня говорить: «Я люблю дышать воздухом». Но любовь ли это?..

Помню, был такой возраст, когда я очень радовался возвращению отца с работы. «Папа пришел! Ура, ура, папа пришел!» — кричал я, кидаясь к двери и повисая на шее склонившегося ко мне

отца. Повторялось ежевечерне. Радовался и отец, он-то безусловно любил меня. Но с моей стороны, было ли это изъяснением любви? Наружно выглядело так, на деле же, подозреваю теперь, я радовался тогда восстановившемуся в доме и в моем сознании порядку. Да, вернувшийся домой отец включался в тот же порядок, что и сложенные в коробку кубики, составленные перед сном ботиночки... (И, кстати, вот те встречи отца — это единственное, что запомнилось мне из детства столь бурным выражением чувств. Обычно же в нашей семье приветствовалась сдержанность. Отец по натуре был добрым, чувствительным и, как после я понял, втайне очень ранимым человеком и, видимо, поэтому наружно выработал в себе черты сдержанности и даже суровости. Этой сдержанности учил он и меня, полагая ее одним из пунктов мужского воспитания...) Так что, если говорить о моих тогдашних чувствах к родителям, надо, наверное, перестать задаваться вопросом, что такое детская любовь и вообще возможна ли она, и говорить о привязанности. В самом деле: та «любовь» вызывает теперь сомнения уже тем, что была «одинакова». А вот привязанность была разной. И если говорить о привязанности, то, конечно же, более всего, больше чем к отцу и матери, в детстве я был привязан к бабушке и деду. Где-то я читал, что, как только у вылупившихся цыплят открываются глаза, зрачки их срабатывают подобно объективу фотоаппарата, первый взгляд мгновенно и навсегда запечатлевает образ матери-курицы, и с этого момента цыплята неотступно следуют за ней. Известно также: если яйца высидела утка — бегают за уткой. Действительно, как привязанные... Думаю, что вот так же прозревает в какой-то момент и ребенок, открывается в нем душевное зрение, чтоб увидеть наконец окружающих его, любящих его и потянуться к ним, отозваться на их любовь уже более или менее осмысленно. Думаю, что случается это года в полтора-два. На мои два года, я уж говорил, пришлось как раз начало войны, меня отвезли в деревню, где я и п о т о п а л за бабушкой и дедушкой. Сохранилось воспоминание, не мое, но много раз мне пересказанное, как не хотел я уезжать, когда приехали за мной родители, дичился их, забивался в углы, не шел на руки, как плакала тогда моя мама...

А любовь к родителям — это позднейшее. Настоящая любовь к родителям, я считаю, возможна только в созревшей душе, которая сама уже многое претерпевает, научается страдать, и сострадать, и чувствовать свою вину... Недавно я перечитывал их письма друг к другу. Разлучались они редко, всего несколько раз в жизни, и ненадолго — когда отец раза два или три ездил лечиться в санаторий, да еще однажды, когда он собрался наконец побывать в свой отпуск у себя на родине, в Белоруссии. Но писем осталась большая стопка — писали, значит, часто. Отец сообщал обстоятельно, как доехал, как устроился, как с питанием, какое назначили лечение, где источник, куда он ходит пить воду. И мама отвечала подробно — о домашних делах, и что у нее на работе, и от каких родных пришли письма, и что у них. Так, в общем, мелочи, быт. Но сейчас я вдруг понял, что за этой обстоятельностью — тут не сосредоточенность на мелочах, не поглощение бытом, но тут мысль о том, кому пишешь. Любовь, забота. Чтобы он поменьше беспокоился о тебе... Мама и меня всегда просила писать подробно. А я писал очень коротко. И редко. Особенно в юности. Это соответствовало моему пониманию мужественности и сдержанности. Я даже позволял себе поиронизировать над мамиными вопросами. Действительно, что такое: «Как ты устроился с питанием, с жильем, кто твои товарищи», — что это такое в сравнении с проклятыми вопросами, которыми я мучился тогда, в сравнении с вечностью, которую ощущал тогда в себе?.. Надо, однако, сказать, что и не мог я писать подробно, это бы значило написать, что «жилье» мое — вагон, теплушка, «питание» — черный хлеб с водой, а самый близкий мой «товарищ» — на десять лет старше меня, вчерашний зек, убийца. Но все равно, вижу теперь — можно было ведь что-то и сочинить?..

Из тех писем родителей друг к другу понятно, что я опять где-то далеко, но обо мне они почти не вспоминают, так, разве что мелькнет коротко: «не пишет...» И меня, читающего эти письма много лет спустя и навсегда смирившегося за эти годы с сознанием своей вины, все-таки слегка задевало: что же это они обо мне-то ничего не говорят, ну, прибавили бы что-нибудь, ну хотя бы «как-то он там?». И снова понимал: обо мне молчат, потому что жалеют друг друга, не

хотят расстраивать... Конечно же, я их расстраивал, и сколько раз! Причинял... Как у многих родителей, не получивших высшего образования, у них была мечта — дать его мне. На меня они возлагали свои надежды. И я их поначалу оправдывал: кончил школу с золотой медалью, с ходу поступил в институт. Но потом... Через полгода бросил институт, захотел в университет. Вместо университета завербовался в Сибирь. Поскитался по Сибири, спустя год вернулся, сдал, слава богу, экзамены в университет. На третьем (или на четвертом?) затосковал, добился академического отпуска, кинулся опять в свои места, на Ангару, на Устье Илима. Приехал из Сибири, окончил университет с рекомендацией в аспирантуру — улетел надолго на Чукотку... В общем, меня и самого оторопь сейчас берет, оторопь и недоумение, как вспомню о тех метаниях, а представляю, каково было родителям. Теперь-то я понимаю. Впрочем, нет, и тогда, конечно, понимал, хорошо видел, как все это их огорчает, удручает, но что я мог с собой поделать? «Иди, юноша, в молодости твоей, куда ведет тебя сердце твое и куда глядят глаза твои!»... И это я сейчас недоумеваю, тогда же никакого сомнения не было, я твердо знал, верил, что есть некая, существующая специально для меня, специально, чтоб мной руководить, высшая сила, рассчитавшая наперед, и пусть я пока не могу постичь ее замысла, он обязательно в какой-то момент определится, обнаружится, на всю жизнь в неведении эта сила меня не оставит, надо только довериться ей... Но не родителям же было объяснять — про «высшую силу». И я бормотал что-то невнятно, в принятой в те годы терминологии: «Ну, чтобы узнать жизнь...» — что и для меня самого звучало неубедительно. Думаю, что им было бы, наверное, понятнее, проще, если бы я вообще не подавал надежд. А я — то подавал, то разрушал. То опять подавал... Или — если бы я каким-нибудь образом «сбил с пути», вышел бы из меня откровенный неудачник, «пропащий человек», и меня можно было бы жалеть. Родителям моим тогда, повторяю, было бы тяжело, но и проще. А так — я был здоров, самоуверен, самонадеян, сама мысль о жалости при взгляде на меня отметалась, а жалеть приходилось не меня, а по поводу меня: что я такой нецелеустремленный, разбрасываюсь, «сам не знаю, чего хочу»...

Отец, наверное, так и умер — с этим сожалением. Мама жила на пятнадцать лет дольше, дождалась моих книг, но все равно я чувствовал: что-то в моих занятиях по-прежнему казалось ей шатким, сомнительным, ненадежным...

Да, любовь к родителям — это уже труд сознательный, это работа души: понять, точнее, проникнуть, что же такое люди, родившие, вскормившие тебя. Почувствовать их... Для меня толчком к такой работе была вина. Но откуда, отчего вина? Оттого, что не исполнил «сыновнего долга», был черствым, невнимательным сыном, занятым только собой, своими делами, своими, пусть и возвышенными, помыслами? Я разбирался, что такое «сыновний», а поскольку сам давно отец — заодно и что такое «родительский долг». И в какой-то момент понял, что и «родительский», и «сыновний долг» — это то, чего (простите за парадокс) быть вообще не должно! Как, впрочем, и всякого «долга». Истинно, ценно лишь то, что совершается из естественной, внутренней потребности, но не «по долгу». Вот я родил своих детей — не из обязанности дать им жизнь, а для себя, себе на радость. И ухаживать за ними, оберегать, пока они были маленькие, кормить, растить — тоже было не «в долг», но в радость. Как и сейчас, когда они уже большие, когда у них своя жизнь, свои мысли, свои устремления. Они для меня по-прежнему — детишки. Но не следует мне, сказал я себе, надеяться на какой-то всегдашний их отклик, на вечную их благодарность и внимание только за то, что я родил и выходил их. И если уж говорить тут о «долге», пусть они в свой черед родят своих детей, так же пусть любят их, заботятся о них — это и будет «долг» мне... То есть вот так мудро учел и весьма логично разрешил я в отношении к своим детям то, что мучило меня в отношениях с собственными родителями. Мучило и оставалось вопросом, потому что одно дело — ты, мудрствующий, все понимающий, вполне современный, с опытом своего «сдержанного» сыновства, а другое дело — они, твои родители, не обязанные до всего этого доходить, ибо сами всю жизнь были любящими детьми... И долг не долг, и куда бы ты со своими глобальными размышлениями, «разом о всем человечестве», ни заносился, а надо было просто побольше с ними делиться, объяснять

им, рассказывать. Это же элементарно, и только это, оказывается, было и нужно. Думаю, надеюсь, что со временем это бы пришло, но — опоздало придти... А еще я понял: каким бы чутким, внимательным, заботливым сыном я ни был, всегда при родителях, вина моя все равно никуда бы не делась — хотя бы из-за одного того, что они умерли. Вот тогда, я и говорю, начинается труд по общению с ними, по возвращению их, и когда почувствуешь, что знаешь их и они тоже теперь знают и понимают тебя, когда ощутишь, что ты и они — одно, тогда вина уходит.

## 12

...Был еще только август, я стоял в огороде, смотрел, как дед выкапывает морковь, складывает ее на траву возле дорожки. Поодаль, у своих грядок, лежали уже выдернутые свекла, лук. Овощи были — для нас, в Москву. За мной приехали родители. Никогда еще не уезжал я из деревни так рано. Но в этот год мне надо было в школу. В школу я, разумеется же, хотел. Не потому, что жаждал учиться, но школа разом переводила меня в иное, более взрослое состояние. Вот и брюки мне привезли настоящие, длинные и с карманами, в которые можно было — совсем по-взрослому — засовывать руки. Так, помню, не вынимая рук из карманов, я и ходил в те дни и так — хоть и неудобно было, конечно, — ухитрялся даже протискиваться сквозь частые кольца дедовой загородки. Отец заметил, очень смеялся... Но поразительно, как рядом с детскими, глупыми возникали серьезные, действительно взрослые ощущения. Я тогда впервые в жизни почувствовал, что такое необходимость, увидел ее не только в этом конкретном, сиюминутном облике — «надо в школу», — но мне кажется, я точно почувствовал, что с этого момента буду подвластен ей уже всегда, всю жизнь... И оттого, что надо было уезжать в непривычное время, я по-иному, с каким-то особенным вниманием смотрел вокруг, на все, что до тех пор не замечалось, потому что было неотделимо от меня: на наш дом, деревья в палисаднике, речку под бугром, ветлы по ее берегам. Ощувив все это отдельно от себя, я и себя, тоже, может, впервые в жизни, осоз-

нал — отдельно. Мне было грустно, но с грустью еще соседствовала некая суровость — суровость самоотречения...

Школа, в которой я начал учиться, была из светло-серого кирпича, с огромными окнами, возвышалась торжественно на горке, всходить к ней надо было по широкой лестнице, что придавало ей еще больше значительности... Свои первые впечатления, как и вообще первые годы учебы, я помню смутно. Полная женщина с пышными рыжими волосами объявила громко, что она наша учительница, что зовут ее Марина Альфонсовна. Затем поставила нас, как в детском саду, в пары и повела в школу, в класс. Мы чинно шли по просторному коридору. Как что-то очень естественное, воспринял я запах свежей краски, он и дома у нас еще стоял... Марина Альфонсовна не успела еще довести нас до нашего класса и — исчезла навсегда. То есть я знаю, что занималась она с нами целый год, но, кроме как в первые мгновения благоговейного вступления в школу, я ее не запомнил... И все остальное — тоже обрывками, мгновениями. Например, мне оказалось все равно, где сидеть. Помню, как все кидались, захватывали парты, кто поближе, кто подальше, кто у окна, а я стоял неподвижно, смотрел и сел самый последний на оставшееся незанятым место... Еще помню разрезанные пополам тетради — трудно, наверное, тогда было с тетрадями — и «палочки», которые мы в них писали. Самая первая моя отметка была «пять с минусом» — минус за то, что залез на поля. Я довольно равнодушно, как должное, воспринял пятерку, мы с мамой уже писали эти «палочки». Но было приятно, что рады родители. И я, конечно, не знал, не мог тогда даже предположить, что эта первая пятерка обратится в нечто путеводное, станет как бы моим обязательством — получать их во все дальнейшие десять лет... Но учиться было легко: я еще до школы умел бегло читать, а тут начали с букв, слогов. Я мог считать в уме, но послушно, вместе с остальными раскладывал перед собой «палочки». Другие «палочки», счетные, их выстрогал мне отец... Вот только пение досаждало. Слух-то у меня был, и петь я в детстве любил — в деревне от бабушки научился многим ее песням, — но уроки пения в школе всегда вызывали у меня, да и сейчас, в воспоминании, вызывают тоску. Как входили мы в про-

хладный актовый зал, становились вокруг рояля, как преподавательница музыки — совершенно ее не помню — ударяла по клавишам, и мы заводили: «У дороги чи-бис! У дороги чи-бис! Он кричит, волнуется, чу-дак! А скажите, чьи вы? А скажите, чьи вы?..» Может, вспоминал я в эти минуты ироническую поговорку, которую любил повторять дед: «Рот дери, головой тряси — в хору песельник»?.. В общем, очень я не хотел, тяготился «драть рот» и «трясти головой». И кажется мне... — сколько нас мучили пением: два года? три? — и кажется мне, что все эти два-три года так и тянули мы одного этого «чибиса»...

Позже добавились история, география. Но ни один предмет не поразил меня так, как чистописание. Уже одно то, что допустили нас к нему не сразу... Целых полгода постигали мы искусство выведения палочек, крючочков, кружочков, чтобы созреть для чистописания, которым овладевали потом еще полтора года. У нас были тетради — не в линейку, а в частую косую клетку. Так они и различались: в прямую клетку — для арифметики, в косую — для письма. Нам выдали «Прописи» — недостижимый образец каллиграфии. Чья рука с таким невозможным совершенством начертала все эти буквы? Не обычная же, человеческая?.. Когда же мы сами принялись перерисовывать их, обнаружилось столько прежде сокрытых тонкостей! Каждая буква строго вписывалась в определенное количество клеток. Каждый элемент буквы также вписывался в надлежащую клетку. Надо было уловить, в какой точке — не выше и не ниже, не левее и не правее — начать завиток. Надо было уловить, где сделать нажим и где, постепенно ослабляя его, плавно перейти к волосяной линии. Где снова начинать нажим. Не говоря уж о том, что перо твое должно быть обязательно № 86... Спустя годы, повзрослев и вспоминая школу, я, естественно, иронически отнесся к тем урокам чистописания («бесполезная трата времени» и проч.), но теперь, разбираясь заново, вижу: что-то в них все-таки заключалось... Нет, не навык культурного письма закладывался — у меня сейчас такой, например, почерк, что на другой день с трудом понимаю записанное накануне. Но, может быть, это был род своеобразного эстетического воспитания? Хотя не думаю, что наши

тогдашние педагоги вкладывали в те уроки именно такой смысл. (А какой вообще смысл они в них вкладывали?) Ненужных предметов было много, но в них была хоть и видимость полезности, а чистописание — это что-то особое, какая-то мистика, что-то вовсе отвлеченное от реальной жизни, в себе оно начиналось, на себе же и заканчивалось. Помню, однажды я вознамерился написать диктант — вот так, прорисовывая каждую букву. (По чистописанию у меня тоже были пятерки.) Разумеется, очень скоро я от всех отстал. Я возился с предложением, учительница диктовала уже другое, третье, я поднимал руку, просил повторить. Наконец, она подошла посмотреть: в чем дело? чего я так ковыряюсь? И, конечно, принялась хвалить, «ставить в пример», демонстрировать всем мою тетрадь. Вот, мол, как надо писать, и все вы должны так стараться, я всегда повторяю, если кто не успевает, и т.д. Учительница стала диктовать медленнее, мне же почему-то тут же захотелось бросить свою затею, ведь она была уже наперед оценена, ведь о ней уже все знали! И в осуществлении ее уже была искусственность... В общем, чистописание — это загадка и до сих пор. Может, оно еще тогда, в детстве, подготавливало мысль об идеале, внушала ощущение идеала, невозможного в действительности? Хотел бы я сейчас взглянуть на ту «Пропись»...

Благодаря родителям сохранились все мои школьные табели и дневники, и я могу теперь видеть, что учился-то, оказывается, так себе. Весьма неровно. Получал вначале и тройки, и двойки и лишь в конце четверти, в конце года начинал «наверстывать», там косяками шли сплошные пятерки, и общая, итоговая тоже выходила «пять». Иные пятерки — сам после был учителем и могу судить — с явной натяжкой. В четвертях — 3, 4, 4, 5, экзамен — 5, годовая — 5. Я бы не поставил. Типичная четверка. Но если мы и до сих пор толкуем о «процентомании», то что ж говорить о тех звонких, победных годах? Все школы соревновались одна перед другой, щеголяли количеством отличников, медалистов, а наша вдобавок числилась в «образцово-показательных». Можно, конечно, долго теперь рассуждать, осуждать. Но это — с нынешним знанием. Меня интересует другое — я пытаюсь вспомнить, как мы сами, ученики, тогда к

этому относились, как относился я, тот же «отличник»?.. Наверное, не сразу, но постепенно, классе в шестом или седьмом, стал ясен этот «механизм»: сначала ты пошалопайничаешь немного, подзапустишь, а потом «подтянешься», и учитель обязательно тебя «переспросит». Потому что у тебя должны быть «круглые пятерки». Не знаю, как другие отличники, а я воспринимал это с законным удовлетворением: я действительно начинал изо всех сил стараться, допоздна сидел над учебниками и действительно нагонял и все знал. Так что заключительная пятерка была естественной наградой за труд. Но возникало еще ощущение своей исключительности, может быть, не совсем осознанное. Может быть, даже напротив — бессознательно изгоняемое. Воспитывались-то в духе товарищества, дружбы, и обязательно «всем классом», в духе помощи отстающим, и была честная уверенность, что, если позаниматься как следует с этим отстающим, он непременно будет учиться так же хорошо, как ты... И тем не менее как-то само собой происходило расслоение класса. Внешне не очень заметное, еще нечеткое, но реальное. Отличники в основном общались между собою, к ним старались приобщиться прочие хорошие ученики, середняки держались друг друга, у двоечников тоже была своя компания. Существовали, впрочем, исключения. Помню, что моим лучшим приятелем долго был отъявленный второгодник, хулиган из соседнего двора Парфенов. Парфен. И сидели всегда за одной партой. Кого из нас тянуло больше друг к другу: его или меня?..

Вообще-то странно, конечно, заглядывать сейчас туда... — во все неизвестную страну, где все непонятно, и обычаи, и язык, можно постепенно, со временем начать узнавать, понимать, а собственное детство давно немо, со временем оно еще безмолвнее, глуше, и не к кому обратиться, никто ничего теперь не объяснит... Есть люди счастливые, для них минувшее детство — это нечто законченное, бесспорное, и единственный вопрос, который такие люди задают о детстве: «А помнишь?..» «А помнишь?» — вопрошает один, «Помню!» — радостно отвечает другой, и всё, и детство снова обозначено и исчерпано. Встречаю и я иногда, очень редко и случайно, свидетелей своего детства, и мы тоже заводим привычно: «А помнишь?» — но вскоре эти вопросы — может, только для меня? — на-

чинают звучать все беспомощнее, ненатуральнее, и наконец вовсе иссякают, и, отрезвев, я вижу перед собой вдруг совсем незнакомого человека. Сейчас, такой, как есть, он для меня не загадка — значит, он знаком мне, тогдашнему. Но, следовательно, и сам я тогдашний — нечто совершенно иное, чем теперь?..

Вот явная подчистка в табеле. За четвертый класс... Не знаю, существуют ли сейчас такие табели и в каком виде, но те, оказывается, были очень грозными. Сразу, как развернешь, — крупными буквами и жирным шрифтом: «УЧАЩИЙСЯ ОБЯЗАН!» После обязанностей буквами помельче, но тоже четко: «За потерю табеля учащийся подлежит наказанию». На следующее страничке опять крупными буквами: «УКАЗАНИЯ». Внизу снова помельче: «О порядке ведения табеля». Пункт 6: «Никаких исправлений и помарок в табеле не допускается». Не знаю, вчитывался ли я тогда во всё это и если да, то с каким чувством, ощущал ли я тогда такой же трепет, какой ощущаю сейчас?.. Но подтерто откровенно, в графе против иностранного языка. Неужели никто тогда не заметил?.. И еще против географии — тут я перестарался и протер до дыры. Рядом с дырой моей рукой, не так небрежно, как писали нам учителя, но каллиграфически выведена «пара». Ход мысли того несчастного четвероклассника я сейчас, при виде этой дыры и «пары», вспоминаю совершенно точно. Дыру, конечно, заметят. Если спросят, скажу, что поставил в этом месте кляксу. Нечаянно. Стал стирать и протер. А в аша двойка вот, рядом... Но я не помню, пришлось мне все это врать или нет, может, никто великодушно не спросил. Ведь и учителям, и родителям тоже, наверное, сразу делался ясен ход моей мысли... Но чего я боялся? За двойки меня родители не наказывали. Правда, очень огорчались. И естественно было бы сейчас предположить, что я не хотел их огорчать. Или самому огорчаться при виде их огорчения. Но это, думаю, слишком. Думаю, что стер я эти двойки просто импульсивно. То есть не могу объяснить, за чем... И больше, кстати, не стирал...

Да, проще всего, конечно, сказать себе, что тогда, что тот мальчик был не я. Вот Ромен Роллан говорит: «Я вижу перед собой странного мальчика, носящего мое имя и похожего — нет, не

на меня (я не узнаю в нем себя!), а на кого-то другого, мне знакомого... Кто же он?..» Вот и любимый мой Бунин в любимом моем рассказе «Поздний час» пишет: «Да, входил в эти ворота сперва стриженный под гребенку первоклассник в новеньком синем картузе с серебряными пальмочками над козырьком и в новой шинельке с серебряными пуговицами, потом худой юноша в серой куртке и в щегольских панталонах со штрипками; но разве это был я?..» А кто же, действительно? Выходит, мы живем, оставляя позади себя многие наши прошлые, рассеянные во времени «я», вернее, уже и «не я»?.. Но так отстраняться проще всего. Я уверен в обратном: все эти разрозненные «я», потрудившись, можно понять и соединить, вопрос только — для чего? Целым народам, согласен, надо помнить собственное прошлое и разбираться в нем, чтобы разбираться в настоящем и не ошибиться, так сказать, в историческом своем предназначении. Но для чего отдельному человеку? Чтоб задаться вдруг весьма серьезным вопросом: а не способен ли ты когда-нибудь вновь «подделать табель»? Как это пугали нас тогда, в детстве, некоторые педагоги? «Сегодня ты соврал учителю, завтра обманешь всю школу, а послезавтра...» — бог знает, что им мерещилось! — «...предашь Родину!» Может, тогда это воздействовало надлежащим образом на наши младенческие умы, но теперь, спустя сорок лет, ведь смешно?

...И из чего собирать? Та же школа — по крайней мере, первые ее семь-восемь лет — это тоже впечатление сумерек, вполне реальных, зимних. Учились то в первую, то во вторую смену, вставали затемно, шли по скудно освещенным — светом из окон — заснеженным улочкам, в школьных окнах тоже горел свет. Или затемно уходили, и опять все классы были освещены, а на снег ложились желтоватые отблески окон. Почему-то вовсе не вспоминаются — хотя были же они — яркие, солнечные, морозные утра, дни. Видимо, само школьное существование представлялось как поток вот таких дней, серых, скучных, невыразительных, и этот сплошной поток нес вас всех вместе, неотличимых друг от друга, и себя можешь вспомнить только в те редкие мгновения, когда был почему-либо

выхвачен из этой массы, этого потока... Вот в каком-то классе — в первом? втором? — вы читаете рассказ про мальчика, которого где-то застал буран, но мальчик не растерялся, зарылся в снег и так спасся. Учительница спрашивает, можно ли считать, что мальчик проявил мужество, и вы подтверждаете: «Да». Тогда она спрашивает, как вы понимаете, что такое мужество. Ты поднимаешь руку и, удивленный, что это надо объяснять, отвечаешь: «Быть мужественным — значит в любой, даже самый опасный момент сохранять присутствие духа». На перемене учительница берет тебя за руку, подводит к высокому толстому человеку и просит тебя повторить, что же такое мужество. И с некоторым внутренним сопротивлением — потому что смутно теперь ощущаешь какую-то свою «подопытность», — но и послушно ты повторяешь. Наверное, именно из-за этого повтора и запомнил — про «присутствие духа»... Теперь заодно можно вспомнить и высокого толстого человека, он тоже связывается с сумерками и толкотней в гардеробе, потому что часто стоит там, наблюдает, как мы раздеваемся и одеваемся, приходим и уходим. Это директор, Аркадий Львович. С первого класса известно нам и его прозвище среди учеников — Аркан. Известно еще, что вместо одной ноги у него протез, и, когда директор, величественно возвышаясь над нами, неторопливо проходит на перемене по школьному коридору, заметно, что он прихрамывает. Мы же в эти мгновения тут же прекращаем свое мельтешение и беготню и прижимаемся, кто к стене, кто к широкому подоконнику — кого где застигло появление Аркана. Потому что учительница в первый же день нам рассказала, что на перемене мы должны вести себя примерно, прохаживаться не спеша, не отходя далеко от своего класса, а если стоять, то вот так — или у стены, или у окна. И на каждый день назначается дежурный из нас же, учеников, чтобы следить за этим... Сказать, что мы боимся директора, будет неверно, это гораздо сильнее и непонятнее элементарного страха, это какой-то высший трепет, который может внушать только существо необыкновенное, загадочное и недостижимое для наших умов. Помню, однажды кто-то из нас, первоклассников, не успел заметить Аркадия Львовича и, разогнавшись по коридору, влетел ему головой прямо

в живот. Мы оцепенели — и внешне, и внутренне. А директор придержал его за плечо, отодвинул слегка от себя и... пошутил: «Тебя что — арканом ловить?!» И на целый день нам после хватило — шепотом сообщать друг другу и тихонько хихикать: «Аркан сказал: “Тебя что, арканом ловить?!”» Так мало, оказывается, нужно нам было тогда для робкого нашего веселья...

Но как действительно становилось не то чтобы страшно, но как-то очень тоскливо, когда удаляли из класса. Огромные коридоры пусты, за всеми дверями безмятежные голоса объясняющих учителей, отвечающих учеников, они там — все вместе, а ты здесь, один. И главное, кто-нибудь может пройти и тебя увидеть: директор, завуч, другой учитель. Можно, конечно, было спрятаться в уборной, но там еще хуже, там как в ловушке, ведь и туда они могут зайти тоже. И обязательно спросят фамилию, из какого класса, за что выгнали. А то — что вовсе ужасно — отведут в учительскую, поставят там стоять под неодобрительными взглядами свободных от уроков учителей... И какое возникало чувство облегчения, когда удавалось остаться никем не замеченным и звенел наконец звонок с урока, и ты мог смешаться с хлынувшей из классов толпой, стать, как они... Но вот что сейчас интересно: понимали ли тогда наши простодушные учителя истинный смысл этого наказания? Действовали они сознательно, или интуитивно, или просто выгоняли мешающего ученика, потому что так поступают и все другие учителя? Не знаю. Но скрытый, глубинный, воспитующий смысл всех тех наказаний один — в отъединении, в отделении от всех. «Встань в угол, лицом к стене», «Выйди к доске, повернись лицом к классу и стой так», «Выйди из класса», «Останься после уроков»... Отъединение ведь никогда не выглядело как поощрение, никакому ведь педагогу, насколько я помню, ни разу не взбрело в голову сказать: «Ты, — допустим, — быстрее всех решил задачу, ты ответил на пять, можешь идти и погулять до конца урока...» В одиночестве ученику надлежало лишь «подумать» и «осознать», насколько он «хуже всех»... И если, в самом деле, пытаться теперь собирать многие «я», то можно, наверное, предположить, что уже тогда, с ранних лет, закладывалась в нас боязнь отделиться, «противопоставить

себя коллективу», высказать мнение, не совпадающее с «мнением всех». Уже тогда, почти на уровне рефлекса, воспитывалось в нас стремление быть «со всеми» и «как все»...

Теперь я вижу, как мне повезло, что на лето меня отправляли в деревню, а не в пионерский лагерь, где воспитание такого рода, несомненно бы, продолжилось. В деревне же школа — с ее правилами, и предписаниями, и боязнями — позабывалась напрочь. Лишь одно лето было слегка испорчено, после четвертого класса. В тот год нам дали «летнее задание». Не говорю про гербарий, коллекцию насекомых, календарь погоды — это бы ладно, это как обычно, но, кроме того, задали написать какие-то сочинения, выполнить множество упражнений по русскому и перерешать невероятное количество задач. Конечно же, я — да и никто, кажется, — ничего этого не сделал. Никто и не спросил с нас нашего задания, потому что в пятом классе пришли совсем другие учителя. Но помню, как все это висело, как угнетало сознание, что до сих пор «не брался», как по вечерам, перед сном, давал себе слово, что «с завтрашнего дня обязательно», и высчитывал, по сколько задач в день надо решать, чтобы успеть. В последние дни лета выходило, кажется, задач по пятьдесят. Но для чего это было нужно, чья умная голова додумалась до такого эксперимента?..

В том же четвертом классе нас приняли в пионеры. Да, еще прежде — в октябрюта. И в октябрюта, и в пионеры принимали по одной схеме: сначала нескольких, кто отлично учится и примерно себя ведет, через некоторое время — всех остальных. Галстуки были шелковые и из какого-то другого материала, попроще. Мне не нравился шелковый галстук, узел его скользил и развязывался сам собой. Но родители купили мне шелковый. Появилась масса должностей: звеньевой, член совета отряда, председатель совета отряда, член совета дружины, председатель совета дружины. Нашивки: одна, две, три. Мама вырезала их из картонки, обтягивала красной материей и пришивала к рукаву моей курточки... Помню, как на выборах в совет дружины ко мне подошел незнакомый старшеклассник, сказал, что он из комсомольского бюро и ему поручено меня рекомендовать. Спросил, как меня зовут и из какого я класса.

А через несколько минут, когда он вышел на сцену нашего актового зала, я с удивлением услышал, что он знает меня, оказывается, еще с первого класса и все эти годы я подаю пример в учебе и в поведении, помогаю отстающим. Меня выбрали. Старшеклассника я запомнил и потом, сталкиваясь с ним в школьных коридорах, всегда с любопытством смотрел на него, но он не обращал на меня внимания — наверное, сразу забыл. Более того, несколько лет спустя я встретил его в университетском двореке, курили рядом на лавочке. Я тотчас узнал его и спросил, помнит ли он, как рекомендовал меня в совет дружины. Он не помнил...

Что ж еще из тех мгновений?.. Ну, конечно же, еще «мальчик» — «мальчик из одной школы». Узнали мы про него от Юрия Арнольдovichа, он вел у нас конституцию в седьмом классе, а позже историю СССР. Он нам нравился, потому что обращался с нами, как со взрослыми, и говорил, и глядел всегда серьезно и доверительно. Как-то, придя на урок, он рассказал нам, вот так же серьезно и доверительно, что по московским школам ходит американская делегация, что гости из Америки всем интересуются и обо всем расспрашивают. Например, в «одной школе» они подошли к «одному мальчику» и спросили, что он ел сегодня за завтраком. И мальчик — а он, знаете, такой бледный, худенький и одет очень просто, они, вы понимаете, конечно, специально выбрали такого мальчика, и, знаете, к а к он им ответил? «Я, — сказал он, не задумываясь, — съел сегодня два яйца всмятку, два бутерброда с маслом и красной икрой и выпил два стакана какао...» Класс наш бурно заинтересовался этой историей, стали спрашивать, какая школа и когда американцы придут к нам, а кто-то даже задал наивный вопрос, правду ли сказал мальчик. На все это Юрий Арнольдович, тонко улыбаясь, отвечал, что больше ему ничего не известно, что к нам американцы, может, тоже придут, а может, и не придут, но что его дело было рассказать нам этот случай, а наше дело — подумать... Эх, как повезло этому «одному мальчику»! Не помню, сколько вечеров я предавался мечтам, как они окажутся в нашей школе и подойдут именно ко мне и именно с тем же вопросом, и придумывал, что я им отвечу! Но они так и не пришли... Нет, вряд ли это было в седьмом классе,

седьмой класс — это все-таки уже четырнадцать лет. Думаю, что это было раньше, и Юрий Арнольдович еще ничего не вел у нас тогда, просто это было ему, наверное, поручено — побывать во всех классах и рассказать... А много лет спустя из разговоров со сверстниками, учившимися в то же время, но по другим углам Москвы, узнал я, что этот мифический «один мальчик» прошелся, оказывается, и по их школам, а в школах женских он превращался в «одну девочку». И ни в одну из этих школ американцы тоже не пришли... Узнал я и то, что был далеко не одинок в своих патриотических мечтах...

### 13

Да, единодушие в патриотизме было, это уж точно...

Кто-то из нашего класса незадолго до Ноябрьского праздника сказал, что на Красной площади поздно вечером происходит репетиция парада и можно посмотреть. Не помню, как другие, а я решил, что это «параша». Репетируют пьесу в театре, репетируем и мы — свой концерт художественной самодеятельности, но само сочетание «репетиция парада» казалось мне невозможным. Репетиция — это же повторение. «Répétez», — говорила нам Анна Макаровна на уроках французского: «Повторите...» Как же можно повторить парад, да еще на Красной площади, как вообще можно повторить что-то величественное, торжественное, грандиозное? Да, он будет снова, через полгода, 1 Мая, но это будет другой парад, и тоже единственный, без повтора... Разумеется, они тренируются где-то там, за городом, отдельно танки, пушки, самолеты, солдаты, но это же не парад и не репетиция, это учения, а вот когда они съедутся и сойдутся все вместе на Красной площади (танки поедут по нашей Пресне, мы сколько раз смотрели), это будет парад... «Скажешь, может, что и демонстрацию репетируют?» — уничтожающе спросил я. Однако приятель не ответил, глянул только и тоже уничтожающе... Однако компания составила, вечером мы пошли. Репетиция была. Никого перед площадью не задерживали. Мы стояли там же, где когда-то я с Ильей Самойловичем, — на тротуаре перед тепрешним ГУМом. И как-то странно было смотреть. Без музыки, без

этих поднимающих, будоражащих маршей, без возгласов, без «ура» и «да здравствует», без привычного дикторского, ликующего: «Вот вступает на площадь наша прославленная в боях, краснознаменная, гвардейская, ордена... имени...» — все совершалось в тишине. И оттого, что не было всего этого, знакомого, праздничного обрамления, кажется мне теперь, в воспоминании, что в полной тишине — что без лязга гусениц, без рева моторов, бесшумно двигались тяжелые машины по темной площади, слабо освещенной лишь несколькими прожекторами. И зрителей оказалось почему-то мало... В общем, удивительное было впечатление, нереальное. И поражало по-своему не меньше, чем парад...

К себе на Пресню мы вернулись далеко за полночь. У меня остался невыученным помянутый французский, и было четкое предчувствие, что должны спросить. Подходило по времени. Но я махнул рукой и лег спать. Назавтра Анна Макаровна меня точно вызвала, я, не выходя к доске и не пытаясь что-то изобразить, честно сказал, что не выучил, и получил свою законную «пару»... Это-то все просто, неинтересно. Если бы этим кончилось. Но когда мне вдруг припомнился этот случай — припомнился не теперь, а несколько лет назад, — всплыла там еще одна деталь, и в ней была загадка. Дело в том, что после звонка, на перемене, мы с Анной Макаровной поговорили, и тут очень важно было бы еще вспомнить, кто к кому подошел. Она ли меня окликнула, выйдя из класса, — или, может, только глянула укоризненно, проходя мимо, в учительскую, и я подошел — или я сам дождался, когда она выйдет, и подошел? Увы, этого, самого-то главного, сейчас и не восстановить. Но — на ее ли вопрос: «В чем дело? Что произошло?» или сам — я объяснил, что был допоздна на Красной площади, смотрел парад, репетицию парада, оттого и не успел выучить. И вдруг в глазах Анны Макаровны я увидел испуг. Не прямой, откровенный испуг, а промелькнувший лишь на мгновение, на долю секунды, в глубине ее глаз и сразу исчезнувший. Но я уловил... «Очень вас понимаю... (К каждому из нас, шалопаев, начиная с третьего класса, как только ввели язык, француженка стала обращаться исключительно на «вы».) Понимаю вас. И если бы вы предупредили меня до начала урока, этого бы

недоразумения не произошло. Но вы, я надеюсь, все-таки выучите?» — ровно, сдержанно, как всегда, проговорила Анна Макаровна и пошла...

Спустя годы я начал жалеть, да и теперь всегда жалею о некоторых людях, которые пришлось на нашу жизнь слишком рано. Если бы попозже, если бы сейчас, когда с нами уже можно о чем-то поговорить, когда мы и сами в состоянии что-то более-менее внятно промолвить! Но тогда?... Анна Макаровна очень не похожа была на других наших учителей. Другие учителя были проще, доступнее нашему пониманию: могли пошутить, могли рассердиться, выгнать из класса, простить. Они были как-то «подомашнее», многие и жили в наших домах, и мы встречались иногда в очередях в магазинах... А французенка держалась всегда словно на расстоянии, голоса не повышала, никого не наказывала — уже одно ее «вы», обращенное к ученику, сколько нас изумляло, пока не привыкли. Но и «воблой засушенной» она не была, мы видели — когда кто-то из нас или общий шум в классе начинали уж очень ей мешать, Анна Макаровна опять не позволяла себе на нас прикрикнуть, лишь тонкие ее брови как-то страдальчески и недоуменно сдвигались. Словом, в ней чувствовалось воспитание, нам непонятное, оценить которое мы, дети, конечно, не умели, мы были в том возрасте, когда непонятное — непонятное именно в человеке — не пробуждает любопытства и стремления разгадать, но, напротив, оставляет равнодушным... Теперь я могу вспомнить ее: хрупкая, изящная женщина лет тридцати, с большими серо-зелеными глазами, с рыжеватыми волосами, причесанными гладко, просто, по-старинному и открывающими прекрасный, интеллигентный лоб. Но это — теперь, а тогда... Что нам за дело было до того, как выглядели наши учителя, и вообще, что они были за люди — судили мы о них на уровне: «добрый — сердитый — злой»... На ее уроках я обычно лоботрясничал: если на чистописании все-таки пробуждался какой-то азарт — написать так же красиво, — то французский казался вовсе ненужным: для чего нам мог пригодиться язык каких-то там далеких французов? Однако Анна Макаровна, несмотря на это, относилась ко мне хорошо, моим родителям на собраниях она внушала, что из меня

может получиться способный переводчик. Литературный переводчик. Ей нравилось, как я перевожу художественные тексты...

Так что очень может быть, что моя двойка ее огорчила, и она сама окликнула меня на перемене, и сама поинтересовалась. Но я не уверен, вот в чем дело. Отсюда и вопросы. Меня не оставляет мысль, что уже накануне, вечером, я отлично сознавал, что причина у меня — уважительная, оттого и не стал учить. Спокойно ведь мог бы выучить — за каких-нибудь полчаса... Но я вдобавок еще нарочно не стал подходить перед уроком. Вот спросят, получу свою «пару», тогда и объясню. Выходит, я заранее предвидел или, как сейчас любят выражаться, «проигрывал ситуацию»? Не знаю, не могу теперь утверждать. Но если это так, то твердо знаю, что не предвидел испуга. Испуг учительницы меня тогда поразила, я его не понял. Теперь понимаю, конечно... А тогда я, наверное, ожидал умиления. «Как же — мальчик, все бросил, пошел на Красную площадь, смотреть... и т.д.» А от двойки, оказывается, несправедливо поставленной этому мальчику, умиление должно было вообще... должно было перейти в некое свехумиление. И, разумеется, в ощущение вины перед ним... Но разбираться в этом можно теперь до бесконечности. И будут возникать все новые варианты. Например, можно было и не подходить самому, а попасться на глаза — с несчастным видом... Но все это бесполезно и не даст ответа. Потому что точно я не помню. Я скорей всего вообще не вспомнил бы эту историю, если бы несколько лет назад, в начале восьмидесятых, не прочел в какой-то газете, как у одной молоденькой учительницы ученики всем классом прогуляли урок, а после заявили ей, что ходили класть цветы к памятнику погибшим воинам. Вот эти-то новые дети совершенно определенно экспериментировали со своей учительницей и откровенно упирали на уважительность причины, но — ошиблись. Новая учительница причину уважительной не сочла и не испугалась твердо им ответить. В том смысле, что эти воины для того и полегли, чтобы вы сейчас учились, а вы — дезертиры, потому идите и заберите ваши цветы обратно, возлагать их вы недостойны!.. С необходимым, конечно, в воспитательных целях нажимом и пафосом, но и по сути верно.

Тогда-то я и вспомнил мимолетный испуг в глазах Анны Макаровны и почувствовал свою невольную перед ней вину. Но вот еще что удивительно. Узнав об этом случае, я припомнил свой, и переместился в наше с Анной Макаровой время и остался там, и глядел оттуда — как бы в будущее. И в этом ином, новом по духу будущем я различал только одну молоденькую учительницу, а ее класс виделся мне, словно опять в нашем, в старом времени. Будто пучок незримых, но мощных силовых линий вышел из нашего времени, и миновал, изгибаясь и расходясь, эту учительницу, и, снова сойдясь, пронизал, захватил ее учеников...

Но как я, оказывается, сам того не подозревая, недалек был от истины, иронически предположив когда-то насчет «репетиции демонстрации». Много лет спустя после школы случилось мне проходить вблизи Красной площади. Опять был один из первых ноябрьских вечеров. Москва готовилась к очередному торжеству, повсюду развешивались портреты Брежнева, Подгорного, Суслова... С площади доносился чей-то голос, усиленный динамиком. Там что-то происходило. Я подошел. С краю площади собралась небольшая толпа любопытствующих. Так же, как тогда, давно, светили несколько прожекторов, рассекая темноту поверху и в разных направлениях. Один был установлен на трибуне Мавзолея, с краю. Оттого что сеялся мелкий дождь, казалось, что лучи вращались вдоль своей оси. Они почти не освещали огромную площадь, наоборот, как бы еще сильнее сгущали мглу, слепя, приковывая к себе глаза и не давая разглядеть, что вокруг. Лишь мокрая брусчатка блестела. Но постепенно я присмотрелся. По всей площади, в направлении от Исторического музея к храму Василия Блаженного, редкими параллельными цепочками стояли люди. Я разглядел ближних: в шапках, в пальто, в куртках — с виду такие же люди, как и мы, прохожие.

— Что это? — спросил я, как спрашивают в толпе, — ни к кому в отдельности не обращаясь.

— Линейные коридоры. Репетиция, — тотчас отозвался голос сбоку.

А между тем с трибуны, откуда бил свет прожектора, кто-то, совсем невидимый, но, несомненно, властный, через динамик на всю площадь внушал:

— При лозунге «Слава советскому народу!» — направо и четыре шага вперед, за возглавляющим четверку! В ответ троекратное «Слава, слава, слава!» и «Ура!» Тянуть дольше! Включить фонограмму демонстрации!..

Из динамика грянуло: «Слава советскому народу!», люди на площади повернулись, как было велено, сделали четыре шага и закричали: «Слава! Слава! Слава! Ура-а-а-а...» Прозвучало пока слабовато. Видимо, предусматривалось, что подхватит весь народ.

— Здесь на площадь вступят спортсмены! — сказал невидимый на трибуне.

— Динамовцы. Динамовский поршень, — комментировал тот же голос сбоку.

— Почему «поршень»? — спросил я.

— Выталкивает остаток демонстрации, — пояснил сосед.

Я мельком взглянул. Очки, борода. Обычный, неприметный человек, неприметное лицо.

— Откуда вы знаете?

Он тоже глянул и тоже не слишком меня рассматривал.

— Живу недалеко. Всегда прихожу. Очень помогает...

— За лозунгом идет песня: «Вперед, заре навстречу, товарищи в борьбе!» При слове «товарищи» все налево и шагом марш! — четко продолжал тот, с трибуны. — Фонограмму!.. Так... Хорошо. Повторим еще раз!..

После третьего повтора я повернулся было идти, но сосед мой порекомендовал:

— Подождите.

— А сейчас будет проведено дополнительное мероприятие! — раскатилось над площадью.

И уже не по фонограмме, а по какому-то другому, не увиденному и не услышанному нами сигналу распахнулись вдруг двери ГУМа, не те, что для покупателей, а выходящие на площадь и обычно закрытые, и из них поперек цепочек, в направлении кремлевской

стены тоже цепочками побежали солдаты с автоматами на груди. И когда через несколько секунд они замерли, вся площадь оказалась рассеченной на небольшие ровные квадраты. Со сторонами из тех людей в штатском и солдат. Произошло мгновенно. Но что-то, видимо, не удовлетворило распорядителя, и он скомандовал: «Еще раз!»

— Да. Очень, знаете, помогает... — повторил неожиданный мой собеседник.

— В чем же?

— В размышлениях о современности, конечно!

Теперь он повернулся и пошел, а я остался — посмотреть еще на «дополнительное мероприятие»...

С площади я уходил с каким-то неопределенным, грустным чувством. Нет, увиденное здесь не поразило меня, как поразило когда-то в детстве порезанный солдат на фоне всеобщего ликования, как поразило после бесшумный парад. За это время я стал, что называется, «взрослым», порядочно поездил, повидал, подумал. И эта «репетиция» даже не удивила и не навела ни на какие новые мысли о «современности», как наводила, должно быть, моего соседа по толпе, — я воспринял ее как нечто естественное. Она — соответствовала... В том институте, из которого я так скоро ушел, я все-таки успел усвоить кое-что из математики — например, если знаешь общую формулу данной кривой, незачем подтверждать эту формулу в каждой отдельной точке... Но мне было как-то жаль. Жаль тех, кто стоял там и бегал, и того, громкоголосого и властного на трибуне, почтительно прилепившегося сбоку, жаль тех, кто встанет через несколько дней на эту трибуну, и тех, кто со знаменами, транспарантами и с портретами стоящих на трибуне пойдет мимо, сквозь «линейные коридоры», вблизи засевших в магазине солдат... Но больше всего мне было жаль своего, нашего общего, взрослого, серьезного детства. Ибо только дети по-настоящему взрослые и предельно серьезны во всем, но стоит лишь «повзрослеть» — принимаются «играть в игры»...

## 14

...В том году я учился в седьмом классе. Была ранняя весна, не отличимая еще от зимы, — самое начало марта. Я проснулся на своем диване. Отец уже сидел за столом, завтракал. «Умер», — сказал он. Я отвернулся к спинке дивана и заплакал... Что Сталин умрет, я во все эти дни, пока говорили о его болезни, знал. Не помню, страшился себе в этом признаться или нет, — но во всяком случае чувствовал точно. Уж слишком нагнетались день ото дня всеобщая подавленность и тревога. А еще — мне хотелось, чтоб он умер. Герой толстовского «Детства» признается в связи со смертью матери: «Прежде и после погребения я не переставал плакать и был грустен, но мне совестно вспомнить эту грусть, потому что к ней всегда примешивалось какое-нибудь самолюбивое чувство: то желание показать, что я огорчен больше всех, то заботы о действии, которое я произвожу на других, то бесцельное любопытство, которое заставляло делать наблюдения над чепцом Мими и лицами присутствующих... Сверх того я испытывал какое-то наслаждение, зная, что я несчастлив, старался возбуждать сознание несчастья...» Вот и я воображал в те дни, какое это будет потрясение, какое горе, скорбь и для меня и для всех других людей, как все соединятся в этом огромном, непереносимом горе, какой будет всеобщий плач. И мне хотелось увидеть, ощутить все это в действительности. Я только боялся, сумею ли сам я должным образом выразить свое чувство. Поэтому в то утро я заплакал и в искреннем горе, и с облегчением. «Ну, будет, будет. Что ж теперь?..» — как-то довольно спокойно и слегка жалеючи сказал отец. Жалеючи, как показалось мне тогда же, в основном почему-то меня, а не Сталина... В школе нас, «хороших» учеников, сразу же начали по очереди вызывать с уроков — стоять в почетном карауле возле портрета. Портрет был установлен внизу, в вестибюле. Кроме нас, караула, там никого не было. Незаметно мы отвлекались, начинали переговариваться, привычно острить — не по поводу смерти, конечно! — даже смеялись, потом спохватывались и вновь «застывали»... Однако в Дом союзов смотреть Сталина я почему-то не пошел. Почему-то не стремился.

Может быть, мне было достаточно осуществившейся мысли о всеобщей скорби и отдельные подробности были уже неинтересны?.. Но сообразительные ребята у нас нашлись. Дня два или три спустя Аркадий Львович собрал всю школу в актовом зале и объявил, что обнаружили, к сожалению, в нашем коллективе несколько учащихся — фамилии он не называет, — которые прогуляли эти дни и пытались оправдаться тем, что стояли в очереди в Колонный зал. А их, между тем, видел и на катке. И это в то время, когда вся наша страна... вместе с трудящимися всего мира... глубоко... Так что он строжайшим образом должен нас предупредить... В общем, прененская наша шпана, как всегда, не растерялась... Вот, собственно, и все, что я конкретно помню о смерти Сталина. Еще помню, что сам, осознав, что событие историческое, решил сохранить траурную газету. Давно, правда, не попадалась на глаза, но где-то лежит... И мог ли я тогда предполагать, что всего через четыре года, в 57-м, очутившись в Сибири, узнаю о совсем другой его смерти. Расскажет мне мой отсидевший друг Анфилов, как подошел к нему в зоне приятель, такой же лагерник, только политический (Анфилов был хотя и уголовник, но с политическими дружил, набирался от них ума-разума), и тихонько шепнул, что «Усатый загнулся!». И как они собрались было тут же пойти, «обрадовать еще Мишу», но сообразили, что вот так сразу нельзя, что надо его как-то подготовить, «потому что у Миши большое сердце»... «А наутро, — расскажет далее Анфилов, — все они там построились, начальник речь толкает, плачет, и все они плачут, а мы подглядываем из-за угла барака и ну прямо уссываемся от смеху!..»

Что я знал о Сталине? И как воспринимал его? Важно бы вспомнить это, постаравшись отрешиться от всего, что все мы прочитали и услышали теперь, — да, важно вспомнить бы, как относился к нему именно тогда, в детстве и отрочестве, хотя бы потому, что начало моего сознательного возраста пришлось как раз на ту пору, когда он достиг предела своего могущества, когда всех победил... И что я мог знать? Если некий наш писатель, уже повидавший тогда войну, поспевавший всегда в гущу самых главных событий, столь-

ко раз наблюдавший его, разговаривавший с ним, пишет в своих воспоминаниях, что «жил, как глухой», то что говорить о мальчике, мир которого замыкался школой и тихим пресненским двором? Все страшное прошло мимо. Дом наш стоял далеко от «набережной». В нашей семье никого не репрессировали. В квартире тоже. Не было внезапных ночных стуков в дверь, обысков, арестов. Да и во всем доме их, видимо, не было — ребята во дворе обязательно бы рассказали. И в школе — я не помню вот этих собраний и линеек, перед которыми заставляли отречься от отцов... Даже деда моего в свое время не раскулачили, хотя понимаю сейчас, что по всем признакам могли бы: перед самой коллективизацией выбился он из бедняков в крепкие хозяева, поставил новый большой дом под железной крышей, новую ригу, обзавелся племенным жеребцом, были и еще лошади и прочий скот. Правда, все это он сразу сдал в колхоз, но оставался ведь дом с железной крышей — говорят теперь, что раскулачивали за одну только железную крышу... И сын его, мой дядя, который в самом начале войны попал в плен и провел четыре года в концлагере, не поехал, как Иван Денисович, из Германии сразу в Сибирь, но был отпущен домой и снова вернулся к своей учительской работе. И я, так радостно встретивший его «с войны», конечно же, не подозревал, что могло быть как-то иначе...

В 49-м развернулась, оказывается, кампания против «космополитов». А для «всего народа» это был год 70-летия вождя, и мы с отцом ходили смотреть подарки ему. Мне было десять лет. Выставка подарков размещалась в Музее Революции, но для меня, да и не только, наверное, для меня, эта выставка и музей как-то сами собой соединились — в «музей подарков Сталину». Я запомнил нож, небольшой перочинный ножичек, но в нем было сто различных предметов! И все эти крохотные лезвия и миниатюрные ножницы, пилки, шильца, буравчики и бог знает что еще были вытащены и развернуты так, что каждый предмет можно было видеть в отдельности, и сам ножик, лежа под стеклом, походил на ошетинившегося сверкающего ежа... И еще мне понравился велосипед — я уже начал тогда мечтать о велосипеде. Велосипед для Сталина тоже весь сверкал, все его части, кроме разве седла и шин, были нике-

лированы. Прочие подарки: ковры, вазы, кубки, картины, многочисленные портреты Сталина — и был, кажется, даже портрет из пшеничных зерен — не столь поразили меня и забылись, но когда, лет пятнадцать назад, случилось мне побывать в запасниках музея, некоторые из них я увидел и узнал. Но во что они превратились! Это были сваленные как попало осколки, обрывки и обломки, это был теперь никому не нужный хлам и мишура...

Совершенно не помню я и «дела врачей». Газет я тогда не читал — как, впрочем, не читал их и много лет после, — дома у нас об этом не говорили, а может, и говорили, даже наверняка отец с Ильей Самойловичем обсуждали, сойдясь, по обыкновению, покурить на кухне, но мне, повторяю, это было неинтересно. Мне было интересно, как Эдмон Дантес приходит неузнанный в дом своей бывшей невесты Мерседес, как Робинзон Крузо устраивает и укрепляет свое жилище, как капитан Немо незримо помогает обитателям таинственного острова, меня волновало, женится ли в конце концов Зверобой на Джудит, дочери старого Тома Хаттера... — да мало ли! И думаю, я был не одинок среди сверстников в своей полной отрешенности от жизни взрослых. (Не знаю, было ли кем-нибудь замечено, что жестокое время порождает, как ни странно, целое поколение высоких, абсолютно не от мира сего романтиков. Они весьма болезненно переживают борьбу добра и зла, но добра и зла вымышленных, они мечтают выступить бок о бок со своими излюбленными героями против этого вымышленного зла и положить там жизнь, а действительного, настоящего зла вокруг себя они не замечают, если же замечают случайно, мельком, остаются к нему равнодушны. И это не сознательный, взрослый уход от суровой реальности — такое поколение определяется сразу, с младенчества...) Поэтому я спрашиваю сейчас себя: ну, услышал бы я тогда про «врачей-убийц», про «космополитов», «генетиков» и прочих «врагов народа» — поселило бы это во мне хоть какой-то вопрос, перевернулось бы что-то в моем, замороженном собственным миром сознании? Нет, все осталось бы так, как и должно быть: существовали предатели и негодяи, имена их известны, это граф де Морсер, Негоро, Сильвер, капитан Кассий Колхаун и другие, но коз-

ни их и злые умыслы разоблачены, и всех их настигло заслуженное возмездие...

Однако помню, что я не поверил в арест Берии. Было лето, я уже уехал в деревню, и сообщила мне про арест наша соседка Паня, мать моих деревенских приятелей. Она сама якобы слышала по радио, как сказали, что Берия — «враг народа» и «шпион». «Нет! Этого не может быть!» — заявил я уверенно. Хотя — что мне было до Берии, что я о нем знал?.. Нет, я имею в виду не сегодняшний, а тогдашний уровень нашего знания. Ну, представлял себе, что это один из «верных подвижников Сталина», и все. Но мне в тот момент скорей всего очень не понравилось, как сказала об этом Паня, а сказала она с какой-то ехидной улыбкой, со злорадством — вот, мол, что творится у вас там, в Москве, поразводили шпионов! Но с чего же тут было злорадствовать-то?.. Да и вообще я не любил нашу соседку: над своими детьми, моими товарищами, она измывалась, за малейшую провинность лупила, не давала есть... Думаю, что, если бы кто-то другой сказал мне про Берию, например, мой дед, я бы, конечно, поверил... Но что такое было мое детское «Не может быть!» в сравнении... Сколько-то лет спустя, на Колыме я услышал удивительную историю про одного геолога. Точнее, про геологов. Они жили и работали далеко от Магадана, в глухом приисковом поселочке, в стороне от трассы. И одному из них в те июльские дни 53-го года случилось быть по делам в Магадане. Там он и узнал про арест. Добрался на попутках до своего поселка, ввалился среди ночи в дом, где жил вместе с товарищами, и прямо с порога закричал, что Берия — агент иностранной разведки. А товарищи в ответ дружно кинулись его бить. Хорошо, он догадался захватить газету. (Называлась, кстати, газета по тем временам замечательно: «Колымская правда»...) Ему удалось вырваться, достать из мешка и сунуть им эту газету. И тогда товарищи стали умолять его простить их... Я долго думал — что же это такое? И не нашел никакого другого объяснения, кроме самого простого — кроме страха. Коллективного страха. Хотя им-то чего было бояться, не они же крикнули, что Берия — враг? Но это был страх уже иррациональный, страх, сделавшийся природой человека. Им нужно было тут же отделиться, как-

то обособиться от возможного «provokatora» и «клеветника», да победительнее, и инстинктивно они нашли способ. А когда прочли газету, испугались еще больше: заступались за врага народа... Эти люди не сидели, они были «вольные», но все равно они были — духовные зеки. А мы до сих пор мучаемся вопросом: как «народ допустил»? Вот так и допустил. И не только допустил, но и «помог»... В этом, конечно, не весь ответ, но и в этом ответ тоже...

Сталину удалось загипнотизировать целое поколение — наших отцов. Но думаю, что мое поколение выросло уже свободным от этого безумного апофеоза любви, преданности, обожания, страха и ужаса. Нас спасало, во-первых, беспечное неведение детства, а во-вторых, нас такими, как ни парадоксально это звучит, тоже «вырастил Сталин». Ведь это благодаря ему нам с младенчества втолковывали, что у нас «самое счастливое детство», что живем мы в «самой свободной, самой справедливой, самой прекрасной стране», что идем «от победы к победе», и мы так уверились в этом, так положились на него, «думающего за нас за всех», что совершенно не вникали в жизнь реальную (да и по возрасту было рано), но сосредоточились, повторяю, на жизни внутренней, и от первоначального запойного детского чтения перешли бы потом — и перешли — к книгам серьезным, и из них узнали о подлинной свободе, справедливости, человечности и добре. Наконец мы перечитали бы заново, внимательным взглядом те прекрасные вещи, вкус к которым, казалось бы, напрочь, навсегда должна была отбить у нас школа, — например, «Капитанскую дочку», и теперь мы бы не пропустили слова, обращенные и к нам тоже, более всего, наверное, к нам: «Молодой человек! если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений...» Да, а когда со временем неизбежно оглянулись бы на действительность, то, конечно, сразу распознали бы несообразность и подделку. И если бы Сталин к тому времени еще оставался жить, загипнотизировать и это, вошедшее в разум, поколение ему было бы уже не под силу... Мы вовсе не потому сделались непохожими на «отцов», что умер Сталин, но мне кажется, Сталин умер потому, что народилось и н о е

поколение. И когда мы узнали — да и теперь все продолжаем узнавать — о другой его смерти, не той, с всеобщим плачем и стенанием, но о другой, с торжеством, ликованием, облегчением, чувством свободы, радостным смехом, тогда же узнали мы, что было у нас, оказывается, еще и другое детство, в котором пришлось разбираться заново. Хотя бы потому, что бывший в прежнем детстве детский вопрос: «А как бы ты повел себя, если бы случайно оказался в плену, на допросе у немцев?» — в другом детстве превратился во взрослый вопрос: «А как бы ты повел себя в 37-м году? В 49-м году?..» И я теперь думаю: может быть, мой отец оттого и жалел меня плачущего о Сталине, что знал о моем другом, пока неведомом мне детстве, которое мне еще предстоит постигать?..

...Вдруг я вспомнил, что посреди нашего двора стоял его бюст. Огромный, серый, аляповатый, как все гипсовые бюсты, и на таком же сером, оштукатуренном постаменте. Потом он исчез. Потом на этот же постамент водрузили вазу, тоже гипсовую, широкую, плоскую, рифленую, похожую на половинку зефира. Кажется, в нее насыпали земли и летом сажали цветы. А вскоре я узнал, куда делся бюст. Как-то я зашел к тетке, к маминой сестре, она тоже жила на Пресне, в трех трамвайных остановках от нас. Сейчас этого старого дома нет, на этом месте те самые «сливочные кубы», о которых я говорил. Исчез наверняка и тот небольшой пустырь внизу, прямо под окном тети Шуриной комнатухи. А тогда я неожиданно увидел его, подойдя в рассеянности к окну. Весь он был огорожен высоким грубым дощатым забором, в углу прилепился какой-то сарай. И вся эта унылая территория была забита, заставлена, завалена бюстами Сталина. Вернее, тем, что оставалось от них. Отдельно валялись сталинские головы, сами по себе существовали крутые парадные торсы, иные бюсты вообще обратились в груды серых черепков. Среди этих изуродованных Сталиных, мне показалось, узнал я и нашего: он стоял, прислоненный к забору, теперь без постамента, прямо на земле, относительно целый — только череп был проломлен... А ведь всего каких-то три года прошло — после «невосполнимой утраты»... И хотя не ново это в истории, но почему-то никогда не перестанут быть для нас загадкой вот такие мгновенные пере-

ходы — от небывалого величия к столь же небывалому падению. В особенности если совершаются они на наших глазах... Да, потом начинают разбираться: по-своему историки, по-своему философы, и теперь к ним добавились еще экономисты и всякий пишущий люд... — но все равно под видимым нагромождением разумных, беспристрастных или проклинающих слов не сыщешь в итоге ничего, кроме непреходящего изумления и так и не разрешенного вопроса. И что тут можно вообще решить и высказать нового?

И вы, цари, вот так падете,  
Как с древа поздний лист падет,  
И вы когда-нибудь умрете,  
Как ваш последний раб умрет.

Все, что можно сказать, уже было сказано...

Не занимаемся ли мы сейчас тем, что продолжаем до сих пор крушить гипсовые бюсты? А сам Сталин ускользнул. При великом множестве черт он — без черт. Он и сам теперь — словно бюст, только неподдающийся, бронзовый... Да, и я какое-то время думал, что загадка не в нем лично, просто на нем, как на конкретном историческом примере, сошлись, обозначились многие глобальные, вековечные проблемы: народ и власть, личность и общество, герой и толпа, маленький человек и царь, природа тирании, гуманизм и бесчеловечность, необходимость и случайность, добро и зло... — вся запутанная диалектика тут. Оттого и разбираемся, и бьемся. Ответов же на эти стародавние вопросы по-прежнему пока не предвидится, для нас всякий раз может быть только новый ответ, то есть новое отношение к вопросу... Но при всей очевидности и доказанности злодеяний Сталина, при теперешней категорической его оценке нас тем не менее разжигает: а что же он все-таки себе думал? что чувствовал? Ведь он как-никак был человек? А вот на это-то нет и, наверное, не будет никогда ответа. Разве что изобретут когда-нибудь машину, которая сумеет восстановить, уловить в минувшем времени и пространстве канувшие туда мысли и чувства... Недавно я сказал одному своему товарищу: «Вот если бы я мог хотя бы поглядеть на него, даже не поговорить, а хотя бы не-

сколько дней просто посидеть незримо где-нибудь в уголке его кабинета, послушать, подсмотреть его наедине с собой...» Товарищ мой гораздо старше меня, прошел войну, побывал на весьма важных постах и слетел с них, пишет философские труды. Он посмотрел на меня как-то очень серьезно и воскликнул: «Ты бы сошел с ума от ужаса!...» Тоже не знаю...

А что до нашего теперешнего — нет, не вечного вопроса о деспоте, но сиюминутного, на сущного вопроса о Сталине... Понятно, нам хочется поскорей его разрешить, мы призываем дойти в этом «до конца», «не бояться всей правды» и видим в решении залог нашего «дальнейшего движения» и гарантию, что прошлое «не повторится». Но мне кажется, что и сегодняшний наш вопрос о Сталине не должен быть решен, что лучше остаться ему нерешенным. Ибо решим, выведем формулу Сталина — и успокоимся: вот ответ, вот залог и гарантия. Теперь, мол, знаем, теперь-то все пойдет по-другому. А он возьмет и вернется каким-нибудь совсем иным способом. Бывает ведь даже у самой простенькой арифметической задачки несколько вариантов решения... Нет, только нерешенный, но постоянно решаемый вопрос будет висеть, и напоминать о себе, и заставлять людей бодрствовать и думать...

Когда принимался я за свою повесть, очень почему-то захотелось мне посмотреть газету, вышедшую в день моего рождения. Нет, не для того, чтоб «ощутить дыхание времени» и «оживить приметы тех лет». Не знаю почему. Всего один номер. Но в библиотеке мне выдали полную подшивку «Правды» за 39-й год. И пока я пролистывал ее, добираясь до своего дня, «дыхание» тем не менее чувствовалось и «приметы» мелькали. «Польша довела до сведения Германии, что она не может пойти на какую-либо территориальную уступку или территориальный обмен...» «Германия готовится захватить Клайпеду...» В. Катаев обвинил В. Луговского в «идеологическом вредительстве»... Мастер мехцеха Кудряшов выступил против «уравниловки» в зарплате... Прокурор СССР Вышинский приказал всем прокурорам привлекать к уголовной ответственности руководителей, оставляющих безнаказанными нарушителей трудовой дисциплины...

плины... Афганский король Захир-шах в речи на сессии Народного совета сказал, что отношения Афганистана со своими соседями «продолжают оставаться сердечными...». На траурном заседании, посвященном 15-й годовщине со дня смерти В.И. Ленина, А.С. Щербаков в своем докладе сказал: «Предстоят бои с капиталистическим окружением, и в первую очередь с фашистским агрессором, готовящим нападение на Советский Союз...» Весть о созыве XVIII съезда ВКП(б)... Тезисы доклада Молотова о третьем пятилетнем плане: «На основе победоносного выполнения второго пятилетнего плана и достигнутых успехов социализма СССР вступил в третьей пятилетке в новую полосу развития, в полосу завершения построения бесклассового социалистического общества и постепенного перехода от социализма к коммунизму...» «Польша и Германия обязуются улаживать возникшие между ними разногласия полюбовно...»...

Что меня удивило: фотографий Сталина, славословий ему — в «Правде» не было. Мелькнул разок в президиуме на траурном заседании, и то где-то сбоку, рядом с Бадаевым. Поэтому внутренне я как-то даже вздрогнул от неожиданности, открыв «свой» номер. На первой его странице помещалось большое фото: улыбающийся Иосиф Виссарионович в светлом френче, с приветственно поднятой рукой. Вернее, не приветственно, а напутственно, ибо подпись гласила: «Тов. Сталин прощается с делегацией железнодорожников, приветствовавших XVIII-й съезд ВКП(б)». Рядом крупно: «Вчера XVIII-й съезд ВКП(б) закончил свою работу. Выборы Центрального Комитета на съезде партии превратились в колоссальной силы демонстрацию единства, монолитности партии Ленина–Сталина. Весь зал, стоя, приветствовал тов. Сталина, Сталинский Центральный Комитет ВКП(б), несмолкаемые крики “Ура”, возгласы на многих языках “Да здравствует товарищ Сталин!”, “Великому Сталину — ‘ура!’ ” — мощными раскатами гремят в зале. Охваченные единым порывом делегаты съезда поют “Интернационал”...» Еще пониже из заметки со съезда: «...Да здравствует товарищ Сталин, “ура”, — воскликнул тов. Андреев. Бурные аплодисменты, переходящие в овацию небывалой силы и мощи. Весь зал, стоя, приветствует товарища Сталина, Сталинский Центральный Комитет ВКП(б)»...

Заглянул я и в следующий номер. Праздник «демонстрации единства» докипал, раздавались награды. Фото: «М.И. Калинин вручает орден Трудового Красного Знамени Н.С. Хрущеву». Хрущев молодой, на голове еще какое-то подобие прически... Еще фото: Сталин и Хрущев рядом, по бокам Калинин и Молотов... Я смотрел на эти тексты, на эти фотографии с тем же примерно чувством, что и тридцать с лишним лет назад — на обезглавленные бюсты... И пусть за эти десятилетия все мы страшно поумнели, повзрослели социально и многое объяснили себе. А посмотришь вот на такую газету — и опять ничего не понятно!.. Ну, разве мелькнет: если историческими процессами, в самом деле, движет какая-то энергия и окончательная цель ее — разумное устройство судьбы человечества, то для чего на своем пути эта энергия так разбрасывается, так зря и бездарно расходует себя? И в таком случае — разумна ли она?.. Но и это не мысль, а так — что-то вроде тупого недоумения...

## 15

Теперь, посреди хлынувшей литературы о тех временах... Теперь, когда свидетельства очевидцев и жертв постепенно уже сменяются воспоминаниями людей, знакомых с теми очевидцами и слышавших от жертв... Когда уже «дети» принялись писать о пострадавших «отцах»... Я вдруг подумал — если бы я собрался написать что-то в этом же роде, мне теперь пришлось бы сразу сказать, что моему лирическому герою не повезло: его отец не был безвинно арестован, не сгинул где-то в лагере, не был затем реабилитирован и т.д. Наконец, он не погиб и не был даже на фронте, если не считать тех дней, когда фронт сам подходил к Москве... У отца была служба, которая не то что «освобождала», но с которой не отпускали на фронт и не эвакуировали в тыл: телефонная связь в городе. Писал ли он заявления об отправке на передовую? С его совестью и честностью — я уверен, что, конечно, писал. Но я ни разу не спросил его об этом... Одно время мне очень хотелось, чтобы он воевал. Нет, не в детстве, когда бездумно хвалятся «отцом-военным», а позже. Мне это вдруг в какой-то момент стало нужно...

Это было время, которое наш великий писатель точно определил как «пустыню отрочества», которую в воспоминании «невольно хочется поскорее пробежать». Я бы добавил, что это возраст, который особенно не хотелось бы пережить заново. В самом деле, ибо все в том времени как-то пусто, бесплодно и тяжело. Прежде, в детстве, ты существовал, появляясь лишь на мгновения и тут же вновь исчезая, снова надолго забывая о себе, но постепенно эти мгновения — ощущения себя в отдельности от всего — возникают все чаще, и вдруг наступает момент, когда они, как дождевые капли на оконном стекле, соединяются в непрерывность, в поток, в постоянное сознание, что «я — есть», а вслед за этим сознанием... нет, пожалуй, не след, а тут же, в тот же миг с осознанием «я — есть» встает вопрос «кто я?»... И думаю даже, что не одновременно, что вопрос «кто, какой я?» несколько опережает, что он-то и есть первый толчок к размышлению о себе — к тому неустанному, бесконечному всматриванию в себя, какое возможно только в отрочестве, — а следовательно, и условие постоянного ощущения себя... И вот начинаешь разбираться с собой... Впрочем, написано об этом необозримо много, не помню только, обращал ли кто внимание на то, что такой разбор — вовсе не самоутверждение, что занятие это заведомо, всегда обречено на самоотрицание, на «обличение себя». Берешь ведь совершенно абстрактные определения: «умный», «глубокий», «решительный», «волевой», «добрый», «отзывчивый» и проч. — и столь же абстрактно примеряешь их к себе. И даже если и есть у тебя какие-то задатки ума, и в чем-то можешь проявить настойчивость, и можешь заставить себя работать, и в чем-то ты, безусловно, добр и отзывчив — все равно при «беспристрастном», при «беспощадном» самоанализе все это как-то забывается, не принимается в расчет, и выходит у тебя категорично, что ты неумен, ленив, нерешителен, неспособен к глубокому, серьезному чувству, «самовлюбленный эгоист»...

Ты уже по одному тому «самовлюбленный эгоист», что так много размышляешь о себе. Ведь совсем недавно ты был «со всеми» и «как все» — во дворе, в классе, — а теперь вдруг и, главное, неожиданно для себя обособился, сам того не желая, отъединился, и

ощущение это новое, пока непривычное, тягостное, будто тебя, как когда-то, мальчиком, выгнали из класса, только уже не до конца урока, а навсегда. Значит, ты — «хуже всех»! Хуже кого конкретно и в чем? Но вот именно, что этот вопрос даже не приходит тебе в голову, а довольно одного ощущения — что «хуже всех»... И совершенно далек ты также от мысли, что кто-то из твоих сверстников, из твоих же товарищей, что наконец все они порознь могут испытывать то же, что и ты. Напротив, они-то все, видишь ты, остались такими же, прежними — так же беззаветно гоняют в футбол или сговариваются вечером на каток или на очередную серию «Тарзана» — и ты с ними, конечно, и так возникает у тебя вдобавок двойная жизнь. Честная, сказал бы я, и непонятная тебе самому, угнетающая тебя двойная жизнь. Потому что в одной жизни ты по-прежнему стараешься честно быть «со всеми», там ты вроде бы неплохой товарищ, активист, редактор стенной газеты, весь в гуще общественных поручений и дел, но стоит выйти из школы, расстаться на углу с приятелем, повернуть к своему дому, как снова обращаешься к себе, а в себе снова — честное ощущение, что ты «хуже всех». И что ты — один... (Проще всего было бы, разумеется, опять же предположить, что и с твоего приятеля, с которым только что простился, слетела его обычная веселость и беззаботность, что и в нем теперь такие же растерянность, неведение себя и одиночество, но... это, казалось бы, естественное предположение — не для подростка, оно для иного, более позднего возраста, для более искушенного ума...) И, может быть, к тому же наступала еще какая-то неосознанная потребность одиночества? Может быть, не таким уж вовсе бесплодным, но для чего-то в будущем необходимым был тот первоначальный труд и опыт самообличения?.. В общем, этот короткий, года в два-три, период отрочества я считаю самым тяжелым, самым напряженным и самым поистине трагическим из всех периодов человеческой жизни. В дальнейшем-то хоть и наваливается там «сама жизнь», и бывает, может быть, и потяжелее, и побезысходнее, но мы и сами уже посильнее, поопытнее, ум наш изощрен, натура гибче, и научаемся уже лукавить сами с собой, играть, видеть вокруг так и х же, как мы, ссылаться на обстоятельства, прощать себе, жалеть

себя, идти на компромисс, соглашаться на явную видимость и замену счастья, мы ведаем об «отдушинах», мы знаем, как уклониться от борьбы без особого ущерба для своих правильных убеждений, мы в конце концов умеем потерпеть поражение и не ощутить себя побежденными... А в те четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать лет — вся борьба внутри, там столкновение не с жизнью, но с собой, причем с собой, о котором еще ничего не знаешь, суждения там прямолинейные, выводы беспощадные, отчаяние одинокое, все там впервые, все очень серьезно, там мысль о собственной никчемности равнозначна гибели, там... — ну, словом, понятно. И я сейчас даже не об отрочестве, не об этих терзаниях отрочества, которые действительно не хочется вспоминать, — я об отце.

...Потому что именно в это время начались сложности в отношении к отцу. Столь же напряженно, как в себя, я стал всматриваться и в отца, пытаюсь понять, какой он. Все говорили, что я — его «копия»: лицо, сложение, походка, жесты... Не помню, рассказывали нам в школе или нет — допустим, на уроках ботаники или зоологии — про генетику, объясняли, нет ли, что это «буржуазная лженаука», но если и объясняли, все это прошло мимо моих ушей, ибо «реакционную» суть ее я сам тогда открыл для себя и поверил в нее непреложно. Я ничего не слыхивал о «наследственном веществе», о «генетическом коде», но выводил буквально: «Если я внешне копия отца, то и по характеру, по внутреннему складу должен быть копией?» Через отца я надеялся постичь себя. («...И никто не знает Сына, кроме Отца...» — как прочел я позже.) Но что я мог тогда в нем разглядеть? И тем более — понять?.. С детства изо дня в день я привык видеть, как он уходит на работу, еще раньше, чем я в школу. Было время, когда возвращался он регулярно далеко за полночь — причина этого повального ночного бдения в кабинетах теперь известна: по ночам не спал вождь. Мне тогда это даже нравилось: вот какая у папы важная работа!.. Дома по вечерам, по воскресеньям он не мог сидеть без дела, постоянно что-то мастерил, совершенствовал в нашей комнате да и в квартире по просьбе соседей тоже. Он все умел: паять, сверлить, выпиливать, прибивать, клеить, красить. У него, единственного из мужчин нашей квартиры, были и н с т р у -

менты. И все выходило у него так ловко, красиво! Учителя уже привыкли, что нехитрые поделки, заданные нам на дом — палочки для счета, «касса» для азбуки, какой-нибудь картонный кубик, шкатулка, — у меня всегда лучшие в классе. А вершиной — для меня, тогда — были, конечно, «пробки»: никто ведь, кроме отца, не умел починить их. Помню — гаснул свет в квартире, и Илья Самойлович, или Павел Семенович, или оба по очереди взбирались со свечой в руке на подставленный в углу коридора стул и, постояв там со значительным видом, но ни к чему не прикасаясь, спускались обратно. И все мы сидели в темноте, пока не приходил отец... Он всегда чем-то увлекался: комнатными цветами, фотографированием, вышиванием. Как все мы веселились однажды, когда, вышивая гладью, он пришил к пальцу носовой платок! На большом пальце у него от разнообразной работы образовался толстый нарост кожи, и отец не почувствовал, что игла прошла сквозь кожу... Вдруг он решил попробовать сшить рубашку. И сшил, себе и мне. Илья Самойлович, и без того замученный, что тетя Соня то и дело ставит моего отца ему в пример, как-то зашел к нам, увидел его за швейной машинкой и очень серьезно сказал: «Ну уж вот это ты брось!..» Я до сих пор помню те наши с отцом одинаковые рубашки, из толстой мягкой теплой материи — из фланели или из байки, я их не различал...

Теперь-то я могу понять: это в нем жила память об истинной работе. Его отец, мой дед, был крестьянин. Он умер рано, я его никогда не видел и ничего о нем не знал. Но зато я хорошо знал другого моего деда, по материнской линии, видел его хозяйство, видел, что это за труд — на земле, и понимаю, что из моего отца вышел бы замечательный крестьянин. Он был прирожденный вечный труженик, прирожденный добрый семьянин, с прекрасным практическим умом, и если говорить о наилучшем, об идеальном воплощении его сути в этой жизни, то никем, кроме крестьянина, я его не представляю. Уверен: когда бы не все эти беспрестанные тогдашние подвижки в нашем обществе, начавшие перемешивать всё и всех, так бы и вышло. Или — подзадержись эти подвижки, эти катаклизмы хотя бы на какое-то время, чтобы он успел зацепиться за хозяйство, за землю... Но в молодости отца занесло в город, а что

мог дать ему город? Для его души, для рук? Служба в связи, которой он отдал всю жизнь, комната в коммуналке, потом квартира, которую он тоже кинулся обустроить с присущим ему самозабвением. Всяческие полки, стеллажи, шкафчики, циклевка пола, кафель в ванной, другую раковину на кухню, другие смесители, выключатели... Любимым его магазином стал «Тысяча мелочей» на Ленинском проспекте, тогда как раз только что открывшийся. Отец захаживал в него, возвращаясь с работы, благо по дороге, а то бывало и так: приходил домой, ужинал, глядел недолго в телевизор и говорил: «Схожу-ка я в “Тысячу мелочей”...» Но все это была — подмена... Незадолго до выхода на пенсию ему выделили участочек в садоводческом товариществе, мы выкорчевали там пни, отец завез строительные материалы для домика, но — больше ничего не успел... И вот я, не столь давно сам распознавший вкус и азарт ко всякой подобной работе... — и во мне, хотя никогда специально не обучался, открылись вдруг умение и страсть пилить, копать землю, сажать деревья, выращивать овощи, цветы и доходить своим умом еще до множества незнакомых мне прежде дел... — вот я теперь и думаю об отце: «Эх, как славно мы бы с ним вдвоем работали!» Однажды мне и сон такой приснился: что-то мы с ним ладим на кухне, в той квартире, на Ленинском проспекте, но только у отца, на удивление, ничего не получается, все выходит не так, и он такой грустный. И мне до невозможности жалко его, и во сне же я понимаю: это у него оттого не получается, что он — умер...

Да, но все это после, спустя годы, теперь. А тогда, в отрочестве, я начал смотреть на отца отстраненным, изучающим взглядом, и его увлечения казались мне мелкой, «недостойной» суетой. А его доброта, его мягкость в обращении с людьми в моих глазах оброчивались, разумеется, слабостью. Из беспорядочного чтения, из множества прочитанных книг у меня уже выводился свой идеал человека, смутный еще, правда, но в любом случае иной, безусловно, высокий. Была в этом идеале дикая смесь, оставались в нем еще доблестные рыцари, благородные разбойники, гордые одинокие изгнанники, но появлялись уже Печорин, Болконский... Так что какие уж там цветочки на подоконнике, какие носовые платки?..

И насчет отстраненного взгляда на отца не совсем точно: был он отстраненный, но был и пристрастный. Сейчас я вижу, что в моем первоначальном отроческом постижении себя образовывался какой-то очень сложный ход: я не просто через отца пытался узнать о себе, но свои предполагаемые и не нравящиеся мне черты старался отыскать в нем, а отыскав, вновь переносил на себя, как уже «подтвержденные и неизбежные»... Я помню отчаяние, которое охватило меня при мысли, что я стану похож, уже похож на отца. И, конечно, я пробовал разрушить, преодолеть эту похожесть. То и дело подвергал я себя различным проверкам: все заставлял себя что-то совершать, чего-то, наоборот, не совершать. Это без особого труда удавалось мне, но не приносило удовлетворения — ведь я все время как бы глядел на себя со стороны, я видел намеренность, несерьезность, и искусственность таких испытаний. Мне бы хотелось какого-то настоящего, окончательного испытания, которое выпало бы мне помимо моей воли, и внешне, и не оставило бы места сомнениям на свой счет. В детстве я как-то не очень увлекался игрой в войну, теперь я огорчился, что не успел повоювать. Не потому, что вдруг преисполнился, «вскипел ненавистью к врагам», — я был полон вражды к себе. Это была бы война против меня, для меня. Со смертью бы, думал я, или с победой, но со мной все стало бы ясно... Вот тогда... — да, и если в детстве меня почему-то не очень занимало, воевал отец, не воевал, и почему не воевал, — но вот тогда-то я и начал жалеть, что он не был на фронте. (Понимаю теперь, что отца с его полной невоинственностью, но с исключительной добросовестностью наверняка почти сразу бы убили...) А в то время мне понадобился, мне очень помог бы его ореол воина, героя — мне было бы на что опереться. Еще понимаю, что бессознательно я, видимо, хотел облегчить себе свое самопознание...

Но мог ли я тогда предполагать, как со временем все переменится, мог ли я думать, что наступит момент, когда не себя через отца, но с тою же страстью примусь я через себя постигать отца?.. Я повзрослею, сам стану отцом, а отец умрет, не в кого будет вглядываться с новым пониманием, останется только прошлое с его невыговоренностью, останется надежда на наше сходство, на то,

что я — сын. «...И Отца не знает никто, кроме Сына...» — сказано было дальше, и я бы добавил для себя: никто не знает отца, кроме отца. Потому что уже с радостью я начал узнавать его в себе — когда, устав от погони за всевозможными «смыслами», я сам почувствовал прелесть семьи, прелесть сосредоточения на доме, на детях и на всей той «суете», которую раньше столь презирал... То есть я вернулся к тому, чем отец жил и значал. И я осознал наконец, как мне повезло, что с детства на меня не давил заведомый ореол его «геройства» или его «безвинного мученичества», но что мне пришлось разбираться с ним в чистоте, в обыкновенности находить человека. Теперь, в воспоминании, особенное значение заново обрели мелочи, и теперь любой мелочи бывало мне достаточно, потому что я уже ощущал отца изнутри. Я уходил на работу, жена с маленькой дочерью смотрели в окно мне вслед, я оборачивался, махал им, а они мне, и вдруг я вспоминал, что точно так же мы с мамой смотрели вслед отцу, и он точно так же останавливался, и мы махали друг другу, и если раньше, я уже говорил, одно предчувствие такого буквального повтора привело бы меня в отчаяние, то теперь наоборот — сообщалось какое-то спокойствие, надежность... Я еще раз вчитывался в его письма к маме — нигде о себе, о том, что он чувствует, думает, переживает. Только однажды мелькнуло коротко и тем более пронзило своей сдержанностью: «Так пусто, и в лесу и в сердце...» Это — из Белоруссии, с родины, куда он наконец, спустя лет тридцать, поехал. И мне пришлось восстанавливать и понимать: мало ведь веселья от встречи с местами детства через столько времени. Родители давно умерли, оставшиеся старший брат и сестра и прочая многочисленная родня помнят и любят, выросли племянники и племянницы, у них уже свои дети, и все они тоже рады тебе, но от этого безыскусного родственного приветствия еще грустнее, еще более напоминает он об ушедшем, о жизни вдалеке друг от друга. А товарищей-сверстников вовсе разнесло в разные края, и кто-то погиб, друг, с которым в юности вместе ухаживали за одной девушкой, застрелился... Еще отец надеялся побродить по знакомым лесам — к тому же грибник он был страстный, — я потом тоже побывал в тех лесах и знаю: мокрые низины со сплошным сумрачным ельником

сменяются там отрадными сухими песчаными буграми, с редкими соснами, с полянами вереска, с островками мягкого зеленого и серого ломкого мха, и вот такие бугры бывают усеяны боровиками — не двигаясь с места, а только поворачиваясь во все стороны, можно насчитать с добрую сотню! И все они такие маленькие, литые, светлые, будто выгоревшие на солнце, и такие у них плотно подвернутые шляпки, что вычистить из-под них захваченный ими песок невозможно, песчинки обязательно остаются и похрустывают потом на зубах... Но та осень, когда был там отец, оказалась на редкость не грибной, и даже за этим занятием не довелось отвлечься, вот и бродил он в одиночестве с пустой корзиной и с грустными мыслями, вот и посетовал тихонько жене в нескольких всего словах, удивительно соединив «лес» и «сердце»...

При всей его обостренной чувствительности и уязвимости отец вообще не склонен был жаловаться. Чувствительность его была вышней, запятанной внутрь. Да и в других не любил он ничего чрезмерного, наружного, показного, не переносил никаких «бурных страстей». Хорошо помню, как всякий раз он досадливо кричал, махал рукой и выключал радио, когда шла там какая-нибудь пьеса, когда герои ее уж слишком начинали вопить — все равно, от горя или от радости... В последние свои несколько месяцев отец был очень расстроен. Много лет он проработал заместителем начальника управления всей телефонной связи города, и вот начальник сменился. Новый, молодой руководитель стал набирать, как принято сейчас выражаться, «свою команду». Отцу под предлогом, что у него нет инженерного образования, предложили пойти на районный узел, то есть вернуться туда, где он начинал. Всего за год до пенсии!.. Представляю, как все это было для отца горько, тяжело. Это ведь мы после, неоднократно удостоверившись в циническом безразличии «системы», соответственно, чтобы вот так же не обмануться, настраивали себя в лучшем случае на равнодушие к ней, служили ей «постольку-поскольку», а то и вовсе старались не служить. А поколение, к которому принадлежал отец, привыкло в большинстве загонять себя в работу — до предела... Но он опять не жаловался, не негодовал, наружно оставался спокоен, лишь об-

ронил как-то: «Видно, мне скоро придется перейти на другую работу...» В тот июньский выходной отец, как и во всякий год в начале лета, уехал на очередное открытие пионерского лагеря. Лагерь этот я тоже помню, вернее, самое начало его: просторное зеленое поле где-то под Звенигородом. Меня, еще маленького, отец взял в тот весенний день с собой — он и его сослуживцы копали тогда ямы, ставили столбы, огораживали отведенную под лагерь территорию... Вот и сейчас он поехал, не чувствуя, не зная еще, что перетираются в нем какие-то последние волокна. Мне не известны подробности, да и не было их, особенных подробностей. Наверняка не обошлось без «торжественной части», наверняка речь держал новый начальник. Думаю, что он сказал какие-то добрые слова про отца, «который вложил столько сил...» — у нас ведь любят, наплевав на человека, отделившись от него, как от ненужной более вещи, сказать в его адрес добрые, теплые, благодарственные слова. И это, скорей всего, довершило. Потому что одна подробность, очень существенная для меня, все-таки была, дошла потом в пересказе бухгалтерши из управления. Рассказала она, что сидела как раз рядом с отцом и он вдруг, посреди речи, как-то резко поднялся, сказал: «Ну, все!» — и стал уходить. Бухгалтерша еще удивилась про себя: «Как все? Еще концерт...» — и тут отец упал... Нет, вовсе не хочу обвинить я того начальника. Потому что сам-то я... Помню, в раннем детстве что-то у меня болело — то ли зуб резался, то ли в ухе стреляло, — я страдал, родители, глядя на меня, страдали тоже. Отец взял меня на руки, носил по комнате и приговаривал: «Плюнь-ка ты, сынку, на это дело с четвертого этажа!» Усердно я плевал, и вроде бы делалось легче... Вот и мне бы в те дни как-то поддержать его, сказать бы ему: «Плюнь ты, отец, на все это с четвертого этажа!..» Мне ведь было уже под тридцать, и считал я, что понимаю уже кое-что в этом мире, в его ценностях, «истинных и мнимых». Но во всю жизнь, исключая, может быть, то раннее детство, в нашем общении друг с другом была какая-то обоюдная скованность, зажатость... К тому же я так был тогда занят собой, своими делами. После долгого отсутствия я вернулся в Москву и полон был честолюбивых замыслов, полон был стремления завоевывать, навевать, немедленно заявлять о себе...

Когда умирает очень близкий, очень родной человек, мы почему-то избегаем сразу осмысливать это, а начинаем спасительным образом отвлекаться на всякие мелочи, на вздор, поражаемся каким-то внешним совпадениям и в них пытаемся отыскать намеки, знаки и тот смысл, которого не можем увидеть непосредственно в самой смерти. Я, например, в те первые дни сопоставил: отец почти всю свою жизнь в Москве прожил на Звенигородской улице, а умер в Звенигороде — и это совпадение показалось мне вдруг ужасно значительным, загадочным, но и сообщающим смерти отца некую определенность, очерчивающим в его судьбе некий круг... И его фотография, которую я люблю, сделана там же, в Звенигороде: отец стоит возле старой толстой липы, над его головой табличка, прикрепленная прямо к стволу. На табличке, я знаю, написано: «Под этой липой любил отдыхать...», но фотография обрезана так, что осталось только: «...он Павлович Чехов, проживавший в Звенигороде в 1884 году». Проживая в Звенигороде, Чехов основал там больницу, из морга этой старой чеховской больницы я и забирал отца... (Интересно — до сих пор, вспоминая ту больницу, я, вроде бы современный человек, ловлю себя на каком-то бессознательном раздражении против врача-писателя, на каком-то досадном чувстве, выводя прямо по-первобытному, обратным движением мысли: не будь в Звенигороде той больницы, того морга, отец бы — не умер...) А на фотографии — лето, отец без пиджака, в одной сорочке с галстуком, на его лице тень от листвы и солнечные блики, он улыбается, скрестив руки на груди. Ему лет сорок, до смерти далеко, но уже на этом снимке видно, что он может умереть от инфаркта. Хотя на сердце, как и вообще на здоровье, он никогда не жаловался и даже в последний год, если в подъезде бывал занят лифт, не ждал его и бежал в свою квартиру — на седьмой этаж через две ступеньки. Но после его смерти я некоторое время усиленно интересовался всякой литературой про «ишемию», «сердечную недостаточность» и т.д. и в какой-то книге вычитал, что человека, расположенного к сердечным заболеваниям, можно распознать по тому, как он складывает на груди руки. Правая рука при этом всегда инстинктивно идет внутрь, под левую, к сердцу. Вот и у отца на той фотографии

руки сложены именно так... (Узнав про «руки», я, конечно, попытался определить, как сам делаю это, и не сумел: и так, и так они вроде бы складывались естественно. А как у меня получалось раньше, непреднамеренно, я не помнил. Одно время, после той книжки, я нарочно следил, чтобы они складывались наоборот, чтобы правая рука оставалась сверху, но потом — и тоже нарочно — стал складывать, как отец...)

Он не вел никаких сугубо личных записей, после его смерти я нашел только несколько общих тетрадей с повседневными планами: что сделать по дому, по ремонту, что купить, кому позвонить и проч. Одна такая тетрадь осталась еще чистой, я безотчетно взял ее себе. А еще через некоторое время понял, для чего понадобилась мне эта отцовская тетрадь: я стал писать в нее все то, что думал о нем, вспоминал. Записывал и сны, когда я видел его. Удивительные иногда случались сны! Чувствовалось в них такое явное, физически и духовно осязаемое присутствие отца, что поутру, с пробуждением, долго сохранялось ощущение, что он где-то здесь, рядом, и нужно только какое-то незначительное завершающее усилие, чтобы понять, как вызволить его, сделать так, чтобы снова он был... Порой будто что-то толкало — я доставал тетрадь, проставлял число и видел: скоро или сегодня очередная годовщина его смерти. Или день рождения. Я записывал, что случилось за минувшее время, что я сделал, что собираюсь делать. Получалось что-то вроде отдельного дневника для отца, отчета ему, сообщения с ним. Ибо, как было уже возвещено и как выписал я в эту же тетрадь: «...и никтоже знает Сына, токмо Отець; ни Отца кто знает, токмо Сынъ...»

## 16

Отрочество, как и детство, как и другие отрезки человеческой жизни — как и юность, и зрелость, и старость, — это не столько возраст, это состояние. Когда-то я написал повесть о детстве в деревне и написал там, что параллелью ему было детство в городе. Именно параллелью, потому что они существовали, не пересекаясь, не проникая друг в друга. И вот эту, вторую повесть я так и собирался на-

звать: «Детство в городе». Но теперь я вижу, что в городе было отрочество. И они, детство в деревне и отрочество в городе, также существовали одновременно и независимо. Я уезжал в деревню — вновь наступало детство. Возвращался в город — опять возобновлялось отрочество. В городе я всегда становился как бы старше. В деревне я бывал беспечен, доверчив, открыт, чувствовал свое родство со всем, что окружало меня, спокойно принимал мир как он есть. В городе я начинал ощущать одиночество, тревогу, напряжение, недовольство собой, всевозможные запреты и страхи, окружающее не удовлетворяло меня, я обращался внутрь себя, делался мечтателем, замкнут в своих мечтаниях... Думаю, однако, что источники, причины этих различных чувствований — не именно в «деревне» и не именно в «городе». Для меня мои детство и отрочество обозначались так. А для кого-нибудь они, возможно, противопоставлялись как-то по-иному. Допустим, «дом — школа». Но об одновременности собственного детства и отрочества может, вероятно, свидетельствовать каждый... И думаю еще, что эти две параллели, как и положено им, со временем все-таки соединяются — в зрелости, и наша взрослая жизнь во многом зависит от того, какая из линий в ней возобладает. Прекрасно, хотя и сложно — забрать с собой побольше из детства, а еще труднее — суметь вовремя и навсегда расстаться с отрочеством. В большинстве мы этого не умеем, и вот как раз из отрочества забираем, и тащим за собой всю жизнь, и не можем никак повзрослеть. Черта эта — не только нынешняя, еще, кажется, философ Н. Федоров писал о «ребячестве», о «вечном несовершенном-летии» современного ему общества...

Преследует меня иногда один и тот же сон: я снова учусь в школе, в десятом классе, надвигаются выпускные экзамены. Но и я, и мои товарищи — во сне я их не различаю в отдельности, ощущаю как «всех»... — все мы уже взрослые, теперешние, вот в чем дело! И тем не менее почему-то надо опять учиться и опять сдавать за десятый класс. И все так серьезно к этому относятся, так стараются, добросовестно зубрят. А я прогуливаю, все запустил, все забыл, а экзамены все ближе, и я с тоской понимаю, что мне уже не наверстать... Сон этот никак не завершается, но прокручивается за

ночь по несколько раз, и время от времени меня вдруг озаряет: «А зачем?!.. Ведь у меня уже есть аттестат, есть даже университетский диплом — зачем снова сдавать экзамены?!» Но эта простая мысль успокаивает лишь ненадолго, я опять вижу, как «все» деловиты, озабочены, усиленно занимаются, и опять чувствую мучение и тоску... Еще примечательно, что во сне же я вспоминаю, что прежде мне уже снились подобные сны, но говорю себе: да, то действительно были сны, а вот теперь не сон, теперь-то — настоящая явь... Сон этот мне странен — ведь ученьем, насколько могу припомнить, я никогда не тяготился, так называемые «знания» давались мне легко. А в десятом классе вообще стало повеселее: близился конец ученью, учителя, даже самые строгие, сделались как-то добрее, снисходительнее к нам, и сами мы — посвободнее в обращении с ними, научились вдруг не только «отвечать урок», но и высказывать какие-то свои соображения, почувствовали прелесть отвлеченной мысли и спора. Кроме того, вот уже второй год мы учились вместе с девочками, начались влюбленности, мы постигли страдание и безотчетную грусть, ощутили дух соперничества, вооружились иронией, принялись сочинять стихи, на уроках пересылали друг другу загадочные записочки, с подписями и без... Вдобавок год на дворе был — 56-й, сам, казалось, воздух напитывался какой-то вольностью, непривычной раскрепощенностью — даже мы, заточенные в школьных стенах, в заботах выпускного класса, не могли этого не замечать... Помню, Елизавета Андреевна, любимая учительница литературы, попросила меня сделать доклад — на примере какого-нибудь исторического романа — о роли народа и личности в истории. Я остановился все на том же, читанном когда-то и перечитанном «Петре Первом». Перед тем как приняться мне за работу, мы с Елизаветой Андреевной поговорили и дружно сошлись, что основная движущая сила в истории — разумеется, народ. О, я и сам уже размышлял над этим, более того — народ выходил у меня не только основной, но и единственной силой. А личность, считал я, — это так, это что-то вроде бирки, вроде этикетки, навешиваемой на эпоху, для удобства и краткости ее обозначения... Правда, когда я заново пересмотрел роман, то несколько смутился — все в нем упиралось в Петра. Но добросовестно

отыскал я на его страницах какого-то беглого, закованного в цепи мужика Федьку, по прозвищу Умойся Грязью, который дубовой кувалдой заколачивал сваи под будущий Питербурх, — Федька и вышел у меня «движущей силой»... Но как бы жил этот народ, не будь Петра, полез бы этот Федька добровольно бить сваи в неведомых ему болотах, существовало ли вообще в те времена и, в частности, для Петра само понятие «народ», или же были только «людишки» и «воры», с которыми он, как всякий самодержец с идеей, делал что хотел, — такими вопросами я тогда, конечно, еще не задавался...

...Да, в школе я по-прежнему оставался деятелен, оживлен, но хорошо также помню, что раздвоенность моя не исчезла — напротив, она, кажется, еще усугубилась. Наедине с собой я сосредоточивался — до угрюмости. Я вдруг ощутил ужасную ответственность за себя, за свою начинающуюся личность, за того, кто из меня, в терминологии наших учителей, «может получиться». Близился выход в жизнь, о котором нас столько предупреждали, к которому так готовили. И если раньше просто было неопределенное недовольство собой, то теперь я хорошо знал, что мне не нравилось в себе. Мне, например, очень не нравилось мое везение, успех, легкость, с которой давалась мне учеба. Говорю об этом серьезно... И все предвещало, что так будет и впредь. Но под этим успехом я не чувствовал прочности, надежности, истинности. «Как можно пользоваться своим везением, — рассуждал я, — ведь все стоящее, подлинное достигается только упорным трудом, победа одерживается после длительных неудач, счастье добывается ценой страданий... Нет, они, разумеется, придут, и победа, и счастье, но пусть они будут заработаны честно, только тогда я и смогу со спокойной совестью принять их...» (Думаю, что шло все это, конечно, от тогдашнего нашего воспитания, от школы, от «литературы»...) Справедливости ради должен сказать, что мысли мои не остались абстракцией: я почти перестал заниматься, не готовился к контрольным, к экзаменам. И это было последовательно, никак не противоречило идее «упорного труда» — ведь для того, чтобы заново добиваться всего упорным трудом, надо было сначала потерять, отказаться от того, чего уже достиг без труда?.. А кончилось тем, что я даже ушел с выпускного

экзамена по литературе. Первым вопросом были у меня «признаки соцреализма», и я четко перечислил их, все пять или сколько там, уж не помню, признаков. Вторым — образ Пьера. Или, кажется, так: нравственные искания Пьера... Лучше бы, конечно, достался мне образ князя Андрея, в школе он мне больше нравился как тип, нравился склад его ума, его внутренняя четкость, сдержанность и в то же время нервность, его мечты о славе... — это впоследствии пришел я к Пьеру, но и тогда рассказать о нем мог. «С Пьером Безуховым, одним из главных героев бессмертного романа Толстого “Война и мир”, мы встречаемся впервые в блистательном, великосветском салоне мадам Шерер, — начал я. — С едкой иронией, с убийственным сарказмом изображает гениальный писатель весь этот бездушный, пустой “свет”, все эти “приличьем стянутые маски”. Но тем большую симпатию вызывает у нас молодой, внешне неуклюжий человек...» Я глянул на учителей, привычно, как взглядывает ученик, проверяя действие своего ответа, — учителя смотрели по-доброму, кивали, поощрительно улыбались мне: я «шел на медаль», и они не сомневались в моем успехе. И вот тут я вдруг замолк, постоял так немного, махнул рукой и пошел — из класса, из школы, потом по улице, просто так, куда глаза глядят. Без мыслей в тот момент, без переживаний, что медали теперь уж наверняка мне не видать, но с каким-то, напротив, спокойствием, с удовлетворением от своего поступка, хотя и за секунду до него не подозревал, что поступлю так... Однако мою пятерку мне все равно поставили. После, на выпускном вечере, Елизавета Андреевна спросила, добродушно и проникательно улыбаясь: «Признайся, не знал ведь вопроса?» Ну как я мог ей объяснить? Елизавету Андреевну мы все, особенно наша, сплотившаяся вокруг нее компания, любили и любили собираться по вечерам у нее дома, где она была для нас не учителем, а старшим умным товарищем, мы доверялись ей, разговаривали обо всем откровенно... Но что я мог тут сказать? Что вдруг, в какой-то момент, все во мне воспротивилось — собственной, что ли, определенности, заданности, воспротивилось той уверенности во мне, с какой глядели на меня экзаменаторы?.. Пробормотав что-то невнятное в ответ — даже не на вопрос, скорее на шутку Елизаветы Андреевны, я, наверное, впер-

вые почувствовал тогда, что мои идеи — непременных несчастий, неудач, долгого честного труда и т.д. — не выговариваются в слух, что самое для тебя важное невозможно, оказывается, высказать даже близкому человеку, потому что, едва начнешь выговаривать это вслух, так и сам увидишь, какое это еще детство... (Но только лет двадцать спустя один мой герой, умудренный жизнью настолько, что все эти понятия: «успех», «неудача», «победа», «поражение», «счастье», «несчастье» и т.д. — утеряли для него всякое содержание и смысл, воспринимались в лучшем случае с иронией, подведет вот такой итог: «Отказавшись для себя от дающегося тебе в руки легкого успеха, отказавшись от своего счастливого характера — ты оскорбил судьбу! Потому что истинным через упорный, кропотливый труд оказывается в конце концов лишь он сам — упорный кропотливый труд, истинным с помощью страдания остается одно страдание, и после длительных неудач не приходит желанный “успех”, а верна тебе пребывает все та же неудача... Истинный же успех сопутствует только успеху, крылатое вдохновение не терпит кропотливого труда, и настоящее, не вымученное счастье увенчивает в итоге только того, кто и всю жизнь умел быть счастливым...») Да, видимо, это было уже не детство...

Историк В. Ключевский где-то заметил: «Кто, напрягая нравственные силы в толпе, добром поминает свою школу, тот, значит, считает эту школу не безучастной в пробуждении этих сил, признает ее своей доброй пособницей в житейской борьбе». Думаю, однако, что это — в прекрасном идеале. А в действительности — кто же это и когда, «напрягая нравственные силы в толпе», поминал свою школу «добром»?.. Напротив, очень многие, столкнувшись после школы в упор с «самой жизнью», испытав первые разочарования, начинают ее попрекать, обвинять. Во все времена и примерно в одних и тех же грехах, в одних и тех же словах. Уверен, что, порывшись и в античных авторах, нашел бы подходящую цитату. Но беру из того, что поближе и под рукой. Вот, например, и В. Розанов отозвался некогда: «До тех пор, пока вы не подчинитесь школе и покорно дадите ей переделать себя в не годного никуда человека, до тех пор вас никуда не пустят, никуда не примут, не дадут никакого

места, не допустят ни до какой работы». А мы будто только что и заново догадались, что школа «нивелирует личность», и полагаем, что это только наша, сегодняшняя школа... Не знаю. Что до меня, то я свою — эту, казалось бы, вовсе уж зажатую, забитую, жестко регламентированную, казенную школу 40–50-х годов — не виню. (Как, впрочем, не приходит также в голову и нить детства, отрочество, обстоятельства, среду, «эпоху»...) Конечно, выйдя из школы, пускаешься почти сразу разбираться с нею, опровергать, отрицать — в первое время по мелочам — и делаешь это даже с удовольствием, потому что для тебя это знак, что сам ты становишься умнее, взрослее. Потом, действительно, повзрослев, начинаешь трезво всматриваться в нее, размышлять... Однажды, не столь давно, когда в обществе нашем вспыхнуло очередное желание заняться школой — желание такое вспыхивает всегда внезапно, порывами, ведь общество наше (близкое сравнение) совсем как тот папаша, чрезвычайно перегруженный ответственной работой, так что недосуг уделить внимание своему чаду-школе, но вот когда чадо его окончательно погрязнет в двойках, тут папаша спохватывается, и к учителю идет, посоветоваться, и за задачки сам садится, напрягается вспомнить, как их решать, а то и за ремень берется, но все опять ненадолго, до следующего такого короткого налета на школу... — да, так вот, в один из таких взрывов всеобщего радения о нашем просвещении я тоже задумался о школе, и о своей, конечно, школе. Я даже что-то вроде простенькой таблички составил, обозначив в одной графе «минусы», в другой — «плюсы». В «минусы» записал я все те дружные нападки: забивает голову черт-те чем, «нивелирует» опять же личность, растит инфантильными, не prepares к практической жизни и т.д. Но вот что забавно: когда я стал искать, что записать в графу напротив, то все «минусы» обратились у меня в «плюсы». Школа оторвалась от жизни? И хорошо: не выпускает трезвых прагматиков, «специалистов», готовых послушно влезть в первый подставленный хомут и тянуть в нем без оглядки до самой смерти... Растит инфантильными? Тоже не очень страшно: никто, кроме человека еще не созревшего, не вглядывается с такой страстью в окружающую его жизнь, не осмысливает ее с таким напряжением, не воспринимает так горячо ее недостатки,

не чувствует так красоту. Люди же взрослые, как мы знаем, склонны успокаиваться... «Нивелирует» личность? Ну, это как сказать — все ведь мы воспитаны так, что препятствия и всякое давление извне лишь укрепляют личность, лишь подвигают ее на преодоление этих препятствий... А если серьезно, то додумались мы ведь в конце концов до той простой мысли, что какво общество, такова и школа, а разве наше общество само не инфантильно, не «нивелировано», не оторвано от практической жизни? С него, с общества, значит, и надобно начинать. Опять же Василий Осипович Ключевский сказал: «Вообще люди много думали о том, как приспособить школу к жизни, и очень мало задумывались над тем, как бы жизнь свою устроить так, чтобы к ней могла приспособиться школа...» О своей же школе могу закончить, что она была хороша уже тем, что задала многие вопросы. И понималось, что разрешить их, оставаясь в кругу привычной жизни, оставаясь в Москве, невозможно. Надо было выбиваться из тех клеточек, в которые приучили вписываться на уроках чистописания, надо было не «узнавать жизнь», а узнавать совсем иную жизнь. Родись я в начале прошлого века, я отправился бы на Кавказ. А в мое время иной жизнью мерещилась Сибирь. В Сибирь я и уехал...

## 17

*«28 февраля 1983 г.*

...Может, ты уже знаешь? 11 февраля мы взяли маму из больницы, а вчера, 27-го, она умерла. Всю ночь она мучилась. Раньше я всегда жалел, что ты умер так мгновенно и не в окружении родных, ничего нам не сказав, не приутопившись к смерти, но теперь, когда я видел, как умирала мама... Ей было не до нашего окружения... Приехала «Скорая». Написали: «Смерть до приезда '03' ». Сестра просила их о морге. «Я одна, мужа нет, ребенок маленький, я не знаю, что мне делать!» Я знал, что мама не хотела в морг, но здесь был дом сестры, и ребенок, правда, был маленький, нервный — я не имел права возражать. Ей выписали наряд на перевозку, сказали — звонить после девяти вечера... Объясни ты мне, отчего со смертью, таким великим и важным для человека событием, всегда связаны

еще какие-то нелепые, унижительные для умершего и его близких процедуры? И сразу начинается происходить что-то дикое и безобразное? Я пошел за справкой о смерти в районную поликлинику. Врача не было, справку не дали. “03” по нашему звонку сказала, что наряда с таким номером у них нет, перевозить они не будут. Жена моя ругалась с ними и опять пошла в поликлинику. В мамин паспорт, который жена положила в сумку, случайно завалилась десятка, врач увидела, сказала: “Это не надо, это не положено”, — но десятка исчезла, как сгинула. Жена еще подумала, не обронила ли. Зато врач стала звонить по разным телефонам и сказала, что “это сейчас очень сложно — устроить в морг”. Наконец она дозвонилась и дала направление. Потом приехали двое — одинаково невзрачные, в одинаковых кроличьих шапках и черных шинелях — как у проводников вагонов. Один стал читать бумажку и сказал, что на ней нет печати. Сестра дала ему пятерку. Тогда он сказал, что завтра надо будет приехать в морг и договориться о заморозке. “Потому что, пока вы не приедете, с ней заниматься не станут. Будет валяться, и всё”, — доходчиво объяснил он. В это время другой что-то писал на бумажке, спросив перед этим: “Колец, драгоценностей, золотых зубов нет? Претензий нет?” — и возле слова “Родственник” я расписался.

Потом они сходили за носилками. Я думал, что это будут обычные носилки, с ручками, но ты знаешь, это оказалось что-то вроде лодки! Красная пластмассовая лодка с прорезями в бортах. Они поставили ее рядом с диваном, на котором лежала мама. Лицо ее уже начало определяться в новом, смертном своем состоянии. И тут я почувствовал, что мамина душа возмутилась. Сестра не могла смотреть, ушла. А я стоял и видел, как они, соединив над мамой края простыни, на которой она лежала, перенесли ее на дно лодки. Мама слишком маленькой казалась посреди этой красной ладьи. Ты глядел со стены. Эти двое (запах одеколona, запах морга исходил от них) затянули прорези шнуром, подняли легко и понесли. Один вошел в лифт, другой вдвинул туда нижний конец лодки, поднял стоймя, вошел сам, и они провалились с мамой. В этот момент сверху стали спускаться люди. “А почему мы спускаемся пешком?” — спро-

сила женщина. “Да тут какие-то туристы заняли лифт”, — ответил ее спутник. Сестра открыла форточку и стала прибираться...

### *9 марта*

Вчера весь день что-то меня безотчетно томило, вечером я вышел на улицу, побрел по улице с тем же неопределенным чувством, потом сел в автобус — и оказался у нас на Пресне. Ходил по нашим бывшим Звенигородским, вокруг «Новых домов» и возле нашего дома тоже. Поднялся по лестнице на четвертый этаж, постоял у нашей двери. Нет, в квартиру заходить я не хотел. Но, уходя, я остановился на другой стороне улицы, там, где останавливался ты, когда махал нам с мамой. Окна нашей комнаты светились. “Боже мой, — думал я, — как же им там живется, среди наших мыслей и чувств, среди наших теней и шепота? Да ведь и я сам так живу, чувствуя только свое ‘сегодня’, в своей новой, но тоже старой, тоже населенной многими тенями квартире... Вот в деревнях — на месте чьей-то бывлой усадьбы никто не селился, каждый избирал себе новое место, а селились уж тогда, когда позарастало пепелище и сама память исчезала, что здесь жили когда-то. А мы вселяемся на чужие места мгновенно, без смущения, и туда, где еще стоит кровать с умирающей старухой, громоздим шкаф, в угол, где играют дети — телевизор, там, где только что расчистили местечко, чтобы потанцевать, ставим стол, в укромный уголок возле двери, где обнимаются и целуются, втискиваем вешалку и закидываем шубами. Мы глухи, слепы и ведем себя так, будто вокруг нас никого нет...”

Еще я думал, что прошлое нельзя покидать просто так, как безвозвратно ушедшее. Нет, ты же понимаешь, что я не простую память о прошлом имею в виду. Ибо прошлое продолжает существовать так же, как, я в это верю, продолжаете существовать ты и мама...

Так встретились вы или должно пройти еще какое-то время, чтобы ее допустили к тебе?..»

---

## ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

«Весна на железной дороге», 1973. В журналах не публиковалась... Тут, наверное, следует пояснить. Основное чтение в те годы связывалось с журналами, на них сосредоточивался читательский интерес, поэтому редактора журналов были для писателей первыми и главными цензорами. Отчего не хотели печатать «Весну...» — понятно. Вроде бы Сибирь, тайга, сопки, молодой романтический герой, но... нет «великой стройки коммунизма», комсомольских бригад, соцсоревнований, повышенных обязательств и проч. Есть глухая железнодорожная станция, однообразный убогий быт, пьянство и драки соседей по общежитию, среди которых вдруг возникает для героя интересный человек — отсидевший за убийство зек со своей историей... Почему лет через пять-шесть решились опубликовать сразу в книге — не помню. Может, где-то был напечатан отрывок из повести (о поездке героя в Братск) с тем же названием «Весна на железной дороге». Может, автор уже примелькался... Затем даже перепечатывали. Итак, в издательствах, в моих книгах, с редакторскими сокращениями и правкой: «Весна на железной дороге» (М.: Советский писатель, 1979; тираж 30 000), «Для дерева есть надежда» (М.: Советский писатель, 1983; тираж 100 000), «Слова» (М.: Советская Россия, 1986; тираж 100 000). В полном виде, т.е. без издательских купюр, в моей книге «Заря космической эры, или Русская Атлантида» (Тобольск, 2010. — 679 с.). Тираж не обозначен и мне не известен. Здесь текст «Весны...» — по тобольскому изданию, т.е. в первоначальном виде.

«Детство в деревне», 1977. Ведущие журналы опять не брали. Претензии редакторов были: «Но он же у вас должен быть пионер! А в повести об этом нигде не говорится...» Или: «Кому интересно детство данного автора?» И т.п. Решился отдать наконец в «Наш современник», слывший «деревенским», там ребята прочли, прониклись и уже поздравляли, но потом попало к главному (как его фамилия, не

помню, какой-то поэт, из «вологодских»), он и зарубил, не объясняясь, без слов. Что руководило тогда главным редактором — для меня до сих пор тайна. Сейчас бы я просто пришел и напрямик спросил, но он уже умер... А тогда пришлось распечатывать по «мелким» журналам вроде «Работницы», «Студенческого меридиана» и т.п., в отрывках, в виде отдельных рассказов: «Бабушкины песни», «Ночные страхи», «Путешествие» и т.д. Полностью впервые опять только в «Весне на железной дороге», затем в «Для дерева есть надежда». Но что выходили в сумме эти тысячи книг против миллионных тиражей тогдашних журналов?.. А читатели, повторяю, кидались в те времена в основном на журналы.

«Отрочество в городе», 1989. Опубликовано лишь в журнале «Октябрь» (1990. № 3; тираж 335 000 экз.).

Книга «Детство в деревне. Отрочество в городе», уже подписанная в печать в издательстве «Советский писатель», выйти не успела, год наступил достопамятный, 1992-й. Так что трилогии моей как бы и нет, никто из редких читателей не связывал воедино эти, разбросанные во времени и по разным изданиям, вещи. Да мне и самому только сейчас почему-то показалось важным соединить их.

*2 октября 2013*

---

## СОДЕРЖАНИЕ

Весна на железной дороге

3

Детство в деревне

84

Отрочество в городе

188

*Вместо послесловия*

300

---

## ОБ АВТОРЕ

**Борис Александрович Василевский** родился в 1939 году в Москве. Окончил филологический факультет МГУ в 1964 году. Несколько лет работал учителем в поселке Уэлен на Чукотке. Первые его рассказы и очерки печатались в «Учительской газете», журнале «Вокруг света». Первый сборник рассказов «Где Север?» вышел в Москве в 1974 году (на англ. яз.: «Where is the North», 1977).

Автор книг «Цвет и линия Севера» (1978), «Весна на железной дороге» (1979; на польск. яз.: «Wiosna na kolei», 1984), «Длинная дорога в Уэлен» (1980), «Окна» (1981), «Для дерева есть надежда» (1983), «Отчет» (1983), «Слова» (1986), «Снега былых времен» (1987), «Конечная Земля» (1988), «Урна с прахом» (2000), «Русский Робинзон, или Шло бы оно всё» (2003), «Заря космической эры, или Русская Атлантида» (2010) и др.

Рассказы и очерки публиковались также в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Историк и художник», «Мир Севера» и др.

Член Союза писателей с 1975 года.

### Тексты в «Журнальном зале»:

Ностальгия по ностальгии // Дружба народов. 1997. № 11

Коктейль у президента // Дружба народов. 1998. № 12

Русский Робинзон, или Шло бы оно всё... // Дружба народов. 2000. № 5

Новый Цинциннат, или Много ли слону яблок надо // Дружба народов. 2002. № 5

Заря космической эры, или Русская Атлантида // Дружба народов. 2003. № 8; 2005. № 8

Последняя охота (Кое-что из жизни грибов, а заодно и людей) // Дружба народов. 2004. № 7

Другая жизнь и город дальний // Дружба народов. 2006. № 4

Кот, спящий на Хемингуэе // Дружба народов. 2009. № 6

Уэленский дневник // Мир Севера. 2012. № 3; 2013. № 2

URL: <http://magazines.russ.ru/authors/v/bvasilevskij/>

---

Литературно-художественное издание

**Василевский Борис Александрович**

**ВЕСНА НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ**

**ДЕТСТВО В ДЕРЕВНЕ**

**ОТРОЧЕСТВО В ГОРОДЕ**

*Повести*

Технический редактор: *Т.Л. Белкина*

Корректор: *А.З. Лазуткина*

Верстка: *Л.А. Фирсова*

Подписано в печать 04.03.2014. Формат 60х90/16.

Тираж 70 экз.

ООО «Книжница»

125009, г. Москва, Газетный пер., д. 1/12, стр. 6, оф. 64

Тел.: +7 (495) 915-27-97

E-mail: [info@rp-net.ru](mailto:info@rp-net.ru)

Сайт: [www.rp-net.ru](http://www.rp-net.ru)

Сайт магазина «Русское Зарубежье»: [www.kmrz.ru](http://www.kmrz.ru)

Отпечатано в типографии ООО «Белый ветер»

115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 28

Тел.: +7 (495) 651-84-56, 740-97-93

Сайт: <http://wwprint.ru/>

E-mail: [wwprint@mail.ru](mailto:wwprint@mail.ru)

Настоящая любовь к родителям, я считаю, возможна только в созревшей душе, которая сама уже многое претерпевает, научается страдать и сострадать, и чувствовать свою вину...

Недавно я перечитывал их письма друг к другу. Разлучались они редко, всего несколько раз в жизни, и ненадолго... Но писем осталась большая стопка... Так, в общем, мелочи, быт. Но сейчас я вдруг понял, что за этой обстоятельностью — тут не сосредоточенность на мелочах, не поглощение бытом, но тут мысль о том, кому пишешь. Любовь, забота. Чтобы он поменьше беспокоился о тебе...

Мама и меня всегда просила писать подробно. А я писал очень коротко. И редко. Особенно в юности. Это соответствовало моему пониманию мужественности и сдержанности. Я даже позволял себе поиронизировать над мамиными вопросами. Действительно, что такое: «Как ты устроился с питанием, с жильем, кто твои товарищи», — что это такое в сравнении с проклятыми вопросами, которыми я мучился тогда, в сравнении с вечностью, которую ощущал тогда в себе?.. Надо, однако, сказать, что и не мог я писать подробно, это бы значило написать, что «жилье» мое — вагон, теплушка, «питание» — черный хлеб с водой, а самый близкий мой «товарищ» — на десять лет старше меня, вчерашний зек, убийца. Но все равно, вижу теперь — можно было ведь что-то и сочинить?..



ISBN 978-5-903081-34-9



9 785903 081349